НЁМАН

2/2016
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

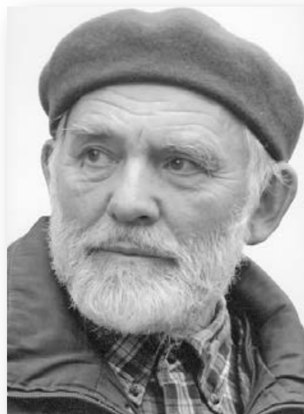
Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 09.02.2016. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,62 . Тираж 1926. Заказ .

Цена номера в розницу 24 700 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

Проза



Леонид ЛЕВАНОВИЧ

Беседь течет в океан[*]

Роман

О, вы, што будзеце ісці з дзяўчынай
Пад тымі ж клёнамі праз сотню год,
Ці зразумееце, што мы кахалі,
Што зніклі так, як знікніце і вы,
Што векавечны толькі край і далеч
І жоўты ліст на зелені травы...

Владимир КОРОТКЕВИЧ

Чтобы нашему роду —
Не было переводу.
А наши реки чтобы текли повеки.

Из народного

I

Хроника БЕЛТА и ТАСС. 1980 г.

9 сентября. Минск. Труженики колхоза имени Гастелло Минского района, претворяя в жизнь решения июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС и развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI съезда КПСС, завершили уборку колосовых культур, намолотив с каждого гектара по 37,2 центнера.

13 сентября. Варшава. События последних недель, драматические для всего польского народа, со всей силой поставили на первый план проблемы идеологической борьбы, пишет газета «Жыццё Варшавы».

18 сентября. Свердловск. В Свердловской области находился кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР М. С. Соломенцев. В поездке по районам его сопровождал первый секретарь Свердловского обкома Б. Н. Ельцин.

25 сентября. Минск. Вчера состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию комсомола Беларуси. С речью выступил товарищ П. М. Машеров.

В то утро Михаил Долгалев проснулся рано. Поднялся, сел на кровати, рядом тихо посапывала жена. Включил ночничок, стоявший на тумбочке возле кровати, взглянул на часы — стрелки показывали без четверти шесть. Вспомнил, что на работу ему ехать не надо, почувствовал, как ноет израненная нога, но к этой боли он давно притерпелся. А вот почему шея болит? Видимо, где-то прохватило сквозняком. Взял кульбу-кий, которая всегда ночью стояла на своем месте — между кроватью и тумбочкой, тихо, чтобы

---

[*] Журнальный вариант.

никого не разбудить, направился на кухню, напился воды, ее с вечера набирала на чай жена Люся.

Вернулся в спальню. Жена спала на животе, подогнув одну ногу. Другая, прямая, высунулась из-под одеяла и была видна аж выше колена, где она становилась толще, круглее. «Бабуля, а спит, как дитя», — улыбнулся сам себе. Долгалев снова посмотрел на жену, и вдруг ему сильно захотелось ее приласкать. На это в последнее время он отваживался нечасто, потому что случались осечки: ничего не поделаешь, не молод уже, да и жизнь не щадила. Выключил свет, лег, обнял жену, она проснулась.

— Который час уже?

— Еще рано. Шести нет.

Люся сладко потянулась, мягкой теплой рукой обняла мужа...

Потом они молча лежали, разгоряченные, Долгалев шумно дышал.

— Ну, вот видишь? Кинул пить водку — мужчиной стал, — счастливо улыбалась Люся и вдруг профессиональным тоном медика спросила: — Как ты себя чувствуешь?

— Нормально. Правда, что-то шея болит. Где-то продуло.

— А в каком месте болит?

— На стыке с позвоночником. Между лопатками. Будто клин сидит. Может, пошаруй троху.

Люся подняла выше широкую ночную рубаху в мелкие цветочки, села на спину мужу, теплыми коленками прижалась к его бокам, ласково и в то же время довольно сильно начала массировать шею, плечи.

— Ну как? Может, тяжело тебе?

— Нет, милая моя. Разве может быть тяжелым тело любимой жены?

— Хорошо. Терпи, казак. Я могу долго...

Фраза «могу долго» прозвучала как озорной упрек мужу.

— Ну что? Полегчало? Боль отпустила?

— Полегчало, но не совсем.

— Вечером спиртом натру.

— Я не о том. Разогрела ты меня. Если б помоложе был, еще бы попросил...

— Ничего. В другой раз. Не стоит петушиться, — Люся легла рядом.

— Хочу сегодня баньку истопить. Поможешь воды наносить? Остальное я сделаю сам. Может, Вася приедет. Попаримся.

— Помогу. Я до трех на работе. И сразу домой.

Долгалеву понравилось, что Люся охотно согласилась помочь принести воды, не упрекала, что он не может провести воду в баню, и массаж делала от души, и целовала горячо и нежно. Перед глазами предстала ее поза во сне, нога из-под одеяла... Выплыло из памяти далекое воспоминание, когда весной сорок третьего в военном госпитале города Сарапула он, израненный капитан-артиллерист, предложил руку и сердце молоденькой медсестре Люсе. Она сразу согласилась, хотя и понимала, что нога молодого капитана никогда не будет сгибаться и покружиться в вальсе с мужем ей не придется. И вот пролетело с той поры тридцать семь лет. Вырастили детей, дождались внуков. Все хорошо, но как быстро летит время!

Люся зашевелилась рядом, поднялась, зевнула.

— Пойду на кухню. Надо что-то готовить на завтрак. Может, блинов испечь?

— Ну, ежели заработал, буду есть со смаком. Твои блины люблю.

— Заработал, работничек мой милый, — Люся чмокнула мужа в небритую щеку. — Полежи еще. Торопиться некуда.

Долгалев повернулся к стене, радостный, счастливый, и нога перестала ныть, и шея успокоилась. Спать не хотелось, лежал, думал. Нелегкая судьба выпала на его долю, мог давно погибнуть. Сколько его ровесников полегло на войне! А он живет. Сколько должностей имел ответственных, и любой хомут — или председателя районной плановой комиссии, или первого секретаря райкома партии, — он тянул с полной отдачей, изо всех сил. Это не шутка: почти десять лет отбарабанил партийным лидером, судьба шестидесяти тысяч жителей района была на его плечах.

Вспомнились конфликты с Чепиковым, которого он, Долгалев, вывел в люди, усадил в кресло председателя райисполкома, а тот начал корчить из себя реформатора. Тогда после каждого заседания бюро Долгалеву хотелось напиться от обиды. Понемногу они притерлись, да и сам великий реформатор Никита Хрущев молча сошел со сцены. Потом Чепикова взяли в обком. С новым председателем конфликтов не было, про него вскоре стали поговаривать: без команды райкома в туалет не сходит.

И хотя заседания бюро теперь проходили спокойно, конфликты случались редко, Долгалев начал выпивать еще чаще. Немало слез выплакала Люся, не раз на нее замахивался кием, будучи подшофе, и Катька с Васей натерпелись. Можно сказать, спас его... нос. Постепенно он начал краснеть, сначала самый кончик, затем крылья ноздрей зарозовелись, а потом нос посинел, как слива. Долгалев с ужасом смотрел в зеркало, когда утром брился. Люся прятала от него водку, но в каждом колхозе угощали…

По району поползли слухи: первый секретарь совсем спился. Да и на лице это написано, стыдно ехать в область, в Минск. Он ловил на себе и язвительные, и сочувственные взгляды коллег из других районов, и начальство, особенно обкомовское, косилось. Дошло до него, что ввели в курс дела Машерова, мол, лидер партийной организации района позорит своим видом звание коммуниста. Машеров вроде сказал: «Своими делами он никого не позорит. Не трогайте его, пусть работает. Я сам хочу с ним поговорить».

Однажды утром, еще не было и восьми, настойчиво зазвонил телефон.

— Приветствую, Михаил Касьянович! Это Машеров. Как дела? Как житье-бытье?

— Ну, так, Петр Миронович, дела идут. Хотелось бы и лучше... Но не всегда получается.

Долгалев от неожиданности даже растерялся, но быстро овладел собой, рассказал про сенокос, о подготовке к жатве — за окном было начало июля.

— Как здоровье? Когда планируете отпуск?

— И здоровье могло лучше быть. Отпуск планирую на осень. Раньше, видимо, не получится.

— Вы смотрите, если есть необходимость поехать сейчас в санаторий, так надо ехать. Хочу к вам заглянуть. Пока не получается... Ну, крепитесь. До свидания!

Долгалев долго не решался положить трубку, словно надеялся услышать что-то еще, а в груди гулко тахкало сердце.

Он познакомился с Машеровым, когда тот был вторым секретарем ЦК. Как член ревизионной комиссии Долгалев присутствовал на всех пленумах, партийных активах, бывал и в кабинете Петра Мироновича. Говорили не только о хозяйственных и партийных делах, вспоминали и войну.

Через некоторое время после телефонного разговора пригласил Долгалева на беседу первый секретарь обкома: как живется, как работается, как здоровье? Спрашивал и довольно хмуро глядел в лицо собеседнику.

— Знаете что, не будем играть в кошки-мышки. Неважнецкие дела. Не

думайте, что я большой пьяница. Другие берут на грудь побольше. Короче, устал я. Укатали сивку крутые горки. Ищите замену.

— Может, в санаторий съезди. Подлечись.

— Сдам дела, тогда и поеду. Подлечиться надо. Нога частенько ноет, как собаки ее рвут... А потом, есть у меня давняя мечта. Дороги хочу строить. Надоело бездорожье. Разбитые калюги, грязища, лужи... Машины буксуют, люди мучаются.

— Поддержим, — пообещал первый. — А пока работай. Береги здоровье.

Долгалев понимал, что советоваться первый будет не «тут», а в Минске. Через месяц собрали пленум райкома, первым секретарем избрали нового человека — заведующего отделом обкома. Но он долго не засиделся в Лобановке, через пару лет вернулся в Могилев.

И тогда в Лобановку приехал «ржавый тазик». Снова жизнь свела Долгалева с Валерием Рудаком, с тем самым комсомольским лидером, которого некогда он сплавил на учебу — не мог простить ему анонимную кляузу о комсомольской свадьбе Андрея Сахуты. После высшей партийной школы Рудак работал заместителем председателя райисполкома в одном из районов Могилевщины, затем председателем, и наконец, дорос до первого секретаря.

Долгалев после лечения в санатории, благодаря стараниям Люси, понемногу возвращался к трезвой жизни, и нос его постепенно приобретал естественный вид. Начальство слово сдержало: назначили его руководителем передвижной механизированной колонны: хочешь строить дороги — строй, даем зеленую улицу. И этот хомут он тянул исправно. Как любил он проехать по новой, блестяще-серой, ровной и гладкой асфальтированной дороге! Душа радовалась, сердце пело, новой работой Долгалев был доволен. Рудак к нему относился терпимо, если когда и критиковал ПМК, фамилию начальника не называл, донимал парторга.

Но годы подпирали, да и здоровье все чаще подводило: то ныла израненная нога, то давление подскакивало, то голова кружилась. Нынешней весной Долгалеву стукнуло шестьдесят, и он попросился, как говорится, на заслуженный отдых.

И вот пришел в райком, в тот кабинет, который был для него родным почти десять лет. Сел, осмотрелся, почувствовал, как сжалось сердце, в горле будто застрял ком. Столько дней, от темна до темна, провел он здесь. Сколько людей проходило здесь за день. Сколько исповедей выслушал он! Иногда заменял и попа, и прокурора, и отца, и учителя. А сколько перепалок случалось на заседаниях бюро! И не только с реформатором Чепиковым. Первый секретарь учил людей жить и сам учился, учился слушать каждого человека, уважать мнение каждого подчиненного.

Теперь за столом кабинета сидел другой, и стол был не тот, массивный, прямоугольный, под зеленым сукном, с тяжелым чернильным прибором под гранит, — а новый, полукруглый, с блестящей, как стекло, полировкой. И шкаф был новый, и телефонные аппараты другие. И запах был здесь иной: то ли духи, то ли пудра. Но за столом не женщина, а мордастый, здоровый мужик.

— Валерий Александрович, вы, конечно, видели на кузовах машин на заднем борту такую надпись: «Устал — на обочину!»

— Ну, видел, — ухмыльнулся Рудак, и его широкое лицо расплылось еще шире, серо-оловянные глаза под белесыми ресницами блеснули неприкрытой радостью. — Ну, и что из этого? Вы же не шофер.

— Устал я, старый конь, хочу свернуть в кусты. Хомут натирает шею.

— Что ж, я вас понимаю, Михаил Касьянович. Вы действительно заслужили право на отдых. Хотя мне, признаться, жаль вас отпускать.

«Хитрый, шельма. А сам давно замену подготовил. Ждал этого дня. Все-таки это он тогда накропал анонимку. Нутром чую...» — подумал Долгалев.

— Ежели какие возникнут вопросы, проблемы, заходите. Чем можем — поможем. В ПМК проведем собрание. Организуем все торжественно.

Пожали руки, обнялись на прощание. На крыльце Долгалев остановился, осмотрелся вокруг, словно навсегда прощался с этим желто-серым двухэтажным строением, что стоят почти в каждом сельском райцентре. Сердце гулко стучало в груди, в горле будто застрял ком, но в глубине души росло, поднималось неизведанное чувство свободы — он вольный казак, никакой не начальник — только над Люсей командир. Он вздохнул и, тяжело опираясь на кий, пошел по улице. И с каждым шагом росло чувство свободы и легкости — словно гора свалилась с плеч.

Мелькнула крамольная мысль: кто дал право Рудаку вершить судьбы людей? Кто его выбирал? Но некогда и его, Долгалева, выбирали таким же образом — на пленуме райкома. Вспомнился давний спор с Чепиковым: «Меня, председателя райисполкома, избирает народ, депутаты. А кто тебя? Кучка партийных функционеров», — горячился Чепиков. «А ты разве не знаешь, как выбираются депутаты? Разве есть выбор, альтернатива? Дороженький мой, если ты так будешь говорить еще кому, не усидишь в председательском кресле. И я не смогу выручить. Так же, как меня, выбирают и генсека. Усек, голова садовая?»

В последнее время Долгалев все чаще думал о жизни, вспоминал, как обещали коммунизм через двадцать лет. И он, тогда молодой партийный лидер, верил этим словам, хотя в глубине души — души мужицкого сына, человека от земли, и возникали сомнения: не мифическая ли это идея? Гнал сомнения прочь и делал то, что требовала партия.

Пошел в отставку Хрущев — самый говорливый в мире лидер, сошел со сцены, не сказав ни слова на прощание: не дали товарищи-соратники. Ему прощали всяческие фокусы, бестолковые, сумбурные реформы, но когда замахнулся на партию, располовинил ее на сельскую и городскую, подорвал ее руководящую роль — это ему не простили.

— Ты еще спишь? Блины уже готовы, — подала голос Люся и вернула его на грешную землю.

— Хорошо, встаю, — бодро, с радостью ответил он.

И эта тихая радость грела его почти весь день. После обеда Люся сообщила ему: звонил Вася, приехать не сможет, работы много. Димка приболел.

— Ну что они там? Одно дитя досмотреть не могут, — проворчал Долгалев.

Направился в дом, позвонил земляку Миколе Шандобыле, который сидел теперь в кресле председателя райисполкома (он, Долгалев, выводил Миколу в начальство), пригласил в баню.

— Ой, Касьянович, спасибо за приглашение. Трудновато выбраться. Хотя и суббота, а забот полон рот. Во сколько ты планируешь?

— Часиков в семь.

— Хорошо. Постараюсь подъехать.

— Вот не хочешь ты баньки на двоих, — озорно сверкнули глаза Люси. — Я ж и попарить могу...

— Моя дороженькая, ты классная массажистка. А парильщица так себе. Тут нужна мужская рука, и голова — тоже.

Была и еще причина пригласить гостя. После баньки Долгалев и чарочку себе позволял, лучше, когда было с кем, тогда Люся не ворчала. А еще хотелось поговорить с земляком-начальником. Как-то с Миколой они спорили про обещанный коммунизм. Тот отбоярился анекдотом: коммунизм — это как горизонт. Ты идешь, а он все отдаляется и отдаляется.

Потом Долгалев снова копошился то во дворе, то в бане. Сухие березовые дрова горели весело, ярко, пламя освещало небольшую, но очень аккуратную баньку. Глядя на огонь, вспомнил Люсины слова о бане на двоих. От, бабуся, еще озорница, подумал с теплотой о жене. И тут же другое чувство овладело им: случалось, на подпитии обижал Люсю, а она ж у него единственная женщина, как и он у нее. Хотя полностью в этом никто не может быть уверенным, но за много лет совместной жизни он убедился, что Люся-Долгалиха, как шутливо ее называли соседи, вела себя достойно, никто никогда не сказал о ней плохого слова. Да и он, имея молодых секретарш, подчиненных партийных женщин, не стремился к интимным отношениям с ними. А он знал, что выделывали его коллеги в соседних районах. Теперь пошла мода: каждый начальник кроме молодой секретарши в приемной, положенной ему штатным расписанием, имел и секретаря парткома, молодую коммунистку без комплексов. Приятно с ней поехать на пленум райкома или обкома, поужинать в гостинице, переночевать вместе. Да в любой день партайдама может задержаться на работе, если того пожелает шеф. И даже самый ревнивый муж не имеет права ее упрекнуть: работа такая. От нее часто зависит материальное благополучие семьи, ибо своим языком, задницей и «передком» она зарабатывает больше, чем дипломированный муж с руками и головой.

Долгалев иногда завидовал коллегам-гулякам, лежа на холодной гостиничной кровати, но находил и утешение: не всем так повезло с женой, как ему, потому что его Люся умеет все: и вкусный обед приготовить, и приласкать, и спину в баньке помассировать, и песню белорусскую исполнить, хотя родилась и училась под Ленинградом. От добра добра не ищут?

С годами Долгалев все больше убеждался: кто спал с многими женщинами, тот познал женщин, а кто живет в любви и согласии с одной, тот познал Любовь. И может считать себя счастливым человеком.

Подумал о Люсе, и тут же она появилась, позвала в дом: звонил Микола Шандобыла, сейчас будет звонить еще. «Снова что-то стряслось. Наверное, не сможет приехать», — с грустью подумал он. Только уселся в кресло, как зазвонил телефон.

— Михаил Касьянович, плохая, ужасная новость. Погиб Машеров... Автоавария...

Долгалев сидел у стола, сжимая в руке телефонную трубку, и качался из стороны в сторону, словно пьяный. Злость, жалость, обида, беспомощность и чувство непоправимости беды бушевали в душе, как расплавленная лава вулкана.

Баня для него утратила всякий интерес.

Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.

4 октября. София. Вчера в столице Болгарии открылась Международная встреча на тему «Ленин и социальное развитие современного мира».

6 октября. Минск. Правительственная комиссия сообщает: гроб с телом Петра Мироновича Машерова будет установлен в Доме правительства. Похороны состоятся 8 октября в 16 часов на кладбище по Московскому шоссе.

16 октября. Тегеран. Военные сообщения свидетельствуют о том, что за последние двое суток бои между иранскими и иракскими войсками приобрели особенно жестокий характер.

28 октября. Гомель. Задачи областной партийной организации по выполнению решений октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, указаний и выводов, высказанных в речи товарища Л. И. Брежнева, обсуждены на пленуме обкома партии.

II

День кончался. Андрей Сахута почувствовал, что очень устал, голова разболелась, аж покалывало в висках, во рту было сухо и горько. И ему так захотелось кинуть-ринуть все — кабинет с табличкой на двери: «Первый секретарь райкома», с мягким толстым ковром на паркете, с множеством телефонов на приставном столике, проститься с секретаршей и удрать в лес, вырваться, будто птица из клетки. И быть там одному, никого не слышать, не видеть.

Наверное, оттого такая усталость, что не был еще в отпуске. Летом и у него, и у Ады было столько забот на работе, что выбраться не удалось, а хотелось поехать вместе. Недавно Андрей взял путевки на озеро Нарочь в надежде, что удастся ухватить за хвост бабье лето, походить по грибы, надышаться осенним лесом.

Затрещал один из телефонов, он автоматически глянул на часы над входной дверью — короткая толстая стрелка приближалась к пяти, успел подумать, снимая трубку: сегодня не было ни одного приятного звонка.

— Сахута слушает!

— Внимательно он слушает или нет?

— Почему же нет? Абсолютно внимательно! Чтоб ты был здоров, Петро! Чтоб тебя кабеты любили! Я за день оглох от телефонов. Голова распухла. Ну, думаю, еще кто-то прорвался в конце дня.

— Хорошо, что застал тебя на месте. Хочу напомнить: завтра ждем, с женой, с детьми. Посидим по-семейному. Это ж черт знает что! Друзья детства живут в одном городе и видятся, по-нашему говоря: гады ў рады.

— Такова, братец, жизнь. Одни заботы и проблемы. Иногда жалею, как в том стихотворении: «І чаму не стаў я леснiком, лес мой, брат мой... Быў бы я тваiм замком i тваёю брамай...»

— Как же не стал? Ты ж лесничий по диплому. Парадоксы жизни. Мой отец, лесник, так хотел, чтобы я пошел по его стопам. А меня потянуло в небо. Приземлился на телевидении. Зато тебя потянуло в лес.

— Да, но, к сожалению, я там долго не задержался. Послушай, что дальше в том стихотворении. Давай оторвемся от жизненной прозы. Так вот:

Ходзяць многiя на твой парог
Па вясну, па радасць, па малiну.
Дрэва кожнае — маўклiвы Бог,
Што праклён прымае i малiтву.
«Пад арэшынай — любiмай быць,
Пад вярбiнаю — лiць слёзы,
Пад рабiнаю — чужых любiць,
Удавой застацца — лёс бярозы».

И кончается так... Забыл. Сейчас вспомню. Ага, есть! Слушай:

Зноў дзяўчат з бярозамі сустрэў, —
Паняслі пад вокны паўдубровы...
Нехта ж з помстаю ідзе да дрэў
І сячэ без літасці на дровы.

— И как ты думаешь, чей это стих?

— Андрей, стыдно мне, но вынужден сдаться.

— Так вот, это наш земляк Алексей Пысин.

— Я думал, у него все про войну... К сожалению, на телевидении, кажется, нет ни одной записи его.

— А ты куда смотрел? Не мог сделать передачу про земляка?

— Я же не литдрама. У меня научно-популярная редакция.

— Ну вот. Если изменить крылатое выражение, то получится: Петро кивает на Ивана. Такие мы хозяева. Лес пилим на дрова. Хотя из него можно сделать столько дорогих вещей! Поэтов своих не любим, не читаем.

— К сожалению, твоя правда. Вот завтра это и обсудим.

— Хорошо, Петро. Извини, телефон. Какому-то начальнику приспичило услышать мой голос или дать втык...

А на другом конце Минска друг Петро Моховиков переключил свой телевизор на монитор, нашел студию, где записывалась передача по белорусской литературе — о творчестве Янки Мавра. Эта передача интересовала Петра — именно он предложил взять за основу повесть «ТВТ». Это произведение о Товариществе Воинственных Техников, которые подняли бунт против диктата домашних вещей, нравилось ему с детства.

Была и еще одна причина посмотреть передачу: ее записывала режиссер Лида Якубовская, высокая, стройная, синеглазая. Нет, про служебный роман Петро не думал, точнее — запретил себе всякую вольность с подчиненными женщинами. Успел поссориться с главным режиссером, а ему через год на пенсию, так, может, Лида и заменит. Вот она склонилась над ведущим передачи — лысоватым доцентом с короткой рыжеватой бородкой, что-то ему сказала, он сел удобнее, расправил плечи. Доцент посматривал на себя на боковом экране, поправил галстук, причесал и разгладил бородку. Актриса и актер, занятые в передаче, перечитывали свои тексты. Зрелище напоминало немое кино, потому как микрофоны были пока отключены. Петро смотрел на немой экран и вспоминал свой путь к этому кабинету с персональным телевизором-монитором...

С Андрейкой Сахутой он бегал в деревенскую школу, а потом их дороги разошлись: детвора из Кончанского Бока ходила в семилетку в Заречье, а малышня Шамовской стороны — в Белую Гору. После школы перед ними встал первый жизненный экзамен: куда податься дальше? Какую выбрать профессию?

Как-то шли они вечером после танцев. Петро в костюмчике, белый воротничок рубахи, в кармашке возле лацкана поблескивала металлическая дужка авторучки. Андрей завидовал ему, потому что об авторучке мог только мечтать. Отец Петра — лесник, имел пусть небольшую зарплату, а мужчины-колхозники, как и женщины, работали за трудодни-палочки. В конце года на них начисляли по двадцать-тридцать копеек. Вот тут и живи!

— Андрей, что ты будешь делать после школы? Куда лыжи навострил? — ломким баском спрашивал Петро.

— Еще не решил. Думаю. Отец советует в лесной техникум.

— И мне отец голову задурил. Иди, говорит, в лесной техникум. Будешь лесничим. Все в твоих руках. А меня тянет в небо. Хочу стать летчиком. Помнишь, еще была война, мы стояли на взгорке? На ледоход смотрели. Девчата

весну гукали. И тут в небе появились самолеты. Наши, бомбардировщики. Я стоял, задрав голову. И про ледоход забыл.

Петрик Моховиков рос очень говорливым, общительным, соседи посмеивались: в мать удался, лесник Захар — на редкость молчаливый, а его супруга Гапка — отменная балаболка, причем шепелявила: выпал передний зуб, а говорила быстро, аж слюна брызгала изо рта.

— Значит, поедешь в Полоцк? В техникум?

— Не знаю. И хочется, и колется. А может, лучше пойти в восьмой класс? А после десяти сразу в институт, — по-взрослому рассуждал Андрей.

— А я думаю схитрить, — зашептал Петро, хотя они были на улице только вдвоем. — Чтоб война в хате кончилась... Ну, матка за меня, лишь бы дома остался и пошел в восьмой... Скажу отцу, что после десятилетки рвану в лесотехнический институт. А сам катану в военкомат, а потом в летное училище. Ну, если пройду комиссию. А если не пройду, тогда в лесной или в сельхозакадемию.

Андрей одобрил план друга. На этом простились. Силуэт друга растаял в темноте, а Петро еще долго стоял возле дома, слушал тишину, вглядывался в темную стену леса за Беседью. Вдруг из-за реки послышались резкие и громкие звуки: драп-драп, драп-драп! Это продирался сквозь росистую траву драчкоростель, властелин ночных лугов. А со стороны поля, из высокой, колосистой ржи, послышалась другая песня: пить-полоть, пить-полоть — подала голос перепелка.

И хоть был Петро разговорчивым, здесь у него не хватило бы слов, чтобы выразить свои чувства: всем юным существом он почувствовал великую любовь к родной деревне, к Беседи и знакомому с детства лесу. И крик драча, и песня перепелки звучали для него как наилучшая, прекрасная музыка. Если остаться дома, то всегда можно будет это слышать и видеть, но и хочется пожить в большом городе, тянет, словно магнит, небо. Вон оно какое: звездное, громадное, таинственное. Петру показалось, что он слышит какое-то отдаленное гудение, будто жужжит майский жук. Он прислушался, всмотрелся в небо и увидел пульсирующую точку — это летел самолет. Петро стоял и смотрел как зачарованный. Самолет пролетел над Беседью, над притихшей деревней: курс держал на восток, значит, на Москву. «И все-таки я буду летчиком!» — словно дал себе клятву Петро Моховиков.

И вот десятилетка позади. Лесник Захар не забыл обещание сына — поступить в лесотехнический институт. Теперь и мать была с ним заодно: лучше пусть сын работает в лесу, на земле, чем в небе. Но сын настоял на своем и стал курсантом Кировоградского училища военных летчиков. Через год приехал домой в красивой небесно-голубой форме, высокой фуражке с самолетиком-кокардой. У словоохотливой Гапки язык отнялся, как увидела сына-курсанта. Любовался сыном и отец.

— Хворма летчицкая хварсистая. Ето хвакт, — глубокомысленно отметил Захар Антипович. — Хотя и наша, лесная, тоже смотрится хорошо, — дал сыну понять, что и в форме лесничего он выглядел бы не хуже.

— Куды ты ўжо со своей хформой! — замахала руками Гапка. — Твоя хфома... Серая от пыли. Заносишь, дык не дамыться.

— От баба! Я ж не про ето кажу. Любую завэдзгай, так не будет иметь виду. А новая и моя блестела! Ого!

Петро слушал и снисходительно улыбался, он чувствовал себя победителем: добился своего, идет настойчиво к осуществлению мечты.

— Ти летал же ты, сынок? Ну, на етом, на ероплане? — интересовалась мать. — Ти страшно в небе?

— Нет, мама, самостоятельно еще не летал. Пока что учат, готовимся. Изучаем материальную часть. С парашютом прыгаем.

— А из какой материи ета часть? Паркаль, рубчик ти шовк?

— Ну, балаболка! — ухмыльнулся Захар. — Материальная часть... Ета ж, как у любом оружии, металл. Зялеззе, детали разные. А ты паркаль ды рубчик!

— Дуже ты знаешь! Сам же ни разу не летал на самолете. А парашют из материи? Так, сынок?

— Правда, из материи. — Обнял сын мать, прижал к груди. — Купол сделан из шелка. Из очень крепкого. Чтобы никакой ветер не порвал.

— Ну во, Захарка, слышал? Из материи! А ты кажашь, бытто я ничего не знаю и не понимаю. Эх, если ж бы мои сыночки, большенькие, вернулись с хронту. Мы б уже ихних деточек, внучат наших, годовали. И радовались бы каждый божий денечек, — вздохнула Гапка, вытерла рожком платка повлажневшие глаза.

Умолк и Захар. Почти из каждой хатыничской семьи война забрала свою страшную дань: мужа, брата или сына. Захар и Гапка не дождались двоих старших сыновей.

А через два года Петро приехал уже с золотыми лейтенантскими погонами. Привез матери красивый платок-гарус, отцу рубаху, белую с голубыми полосками. Гапка прижала платок к груди, и глаза ее затуманили слезы. Но это были слезы радости. А еще через два года Петро получил звание старшего лейтенанта, на золотых погонах появилась третья звездочка. Это особенно обрадовало лесника Захара.

— У нашего лесничего и то две звездочки в петлицах. Хотя у нас и не такие звания. Но ты, сынок, важнее, — улыбался довольный отец.

Лесник Захар Моховиков уже имел право на пенсию, но еще работал, ежедневно с одноствольной тулкой, довоенной, ходил в лес. Он гордился сыном и был рад, когда к нему пришли друзья Данила Баханьков и Андрей Сахута.

Парни наловили рыбы, сварили уху на берегу Беседи. Всю ночь просидели у костра, пели песни, вспоминали одноклассников. И получалось, что один Данила остался в родной деревне и был уже бригадиром. Андрей — комсомольский вожак района. Ту ночь с друзьями Петро не забудет никогда.

— Что-то ты долго холостякуешь, Петро. Не нашел еще присуху? — интересовался Андрей.

— А я тебе советую не торопиться. Жена — хомут на шее, — то ли серьезно, то ли шутя говорил Данила.

— Ага. Вы уже семьи имеете, жен обнимаете. А я все один. Раньше жил, как в той песне «Первым делом самолеты...». Теперь уже думаю иначе. Скоро женюсь. Приглашу на свадьбу. Приедете — не пожалеете. Свадьба будет на берегу Волги.

— Здорово! Я, кстати, Волги не видал еще, — признался Данила.

— Да и я тоже на Волге не был. Пиши, приглашай. Самолеты быстро летают. Приедем, — пообещал Андрей.

Рассказал Петро про свою невесту.

— Красивая, веселая. А какой будет женой, трудно сказать.

— Так, может, не торопись. Как сказал один философ: без женщин так же трудно обходиться, как и жить с ними, — рассуждал Андрей. — Конечно, решать тебе. А может, рискни...

Через полгода Петро женился. Друзья не подвели — приехали на свадьбу. Осмелились выбраться в далекую дорогу и Захар с Гапкой-Агафьей. Свадьба была не очень многолюдная, но шумная, веселая. Молодые летчики дружно

пели, без устали танцевали, громко кричали «Горько!». Жених и невеста красивые, рослые, пара — залюбуешься. Казалось, все будет хорошо, молодым только жить и радоваться. Но через несколько месяцев Петро убедился, что ему не повезло. Как-то вернулся раньше обычного — молодая жена пьет вино с незнакомым парнем.

— Петя, это мой одноклассник. Приехал из соседнего города. Мы не виделись несколько лет.

Познакомились, выпили по бокалу вина. Проводили гостя на вокзал. Петра это событие насторожило, но постепенно он забыл о визите одноклассника. Однако стал примечать, что жена начала часто ворчать, раздражаться ни с того ни с сего, в постели лежала, как «лесная женщина». Это выражение он услышал в одной компании: лесная женщина та, которая лежит в постели, как бревно. Он тогда посмеялся вместе со всеми, а теперь почувствовал, что это такое.

Почти ежедневно из-за какой-нибудь мелочи возникали ссоры. Петро стал плохо спать, а после бессонной ночи болело сердце. Как-то встретил его возле дома прапорщик, с которым жили в одном подъезде. Прапорщик недавно вышел в отставку и пока не нашел работы на гражданке, потому свободного времени у него было много.

— Извини, товарищ старший лейтенант. Ты старший по званию, а я старше по годам. Что-то у тебя в семье, браток, неладно. Как ты на службу, так у жены гости. Это, конечно, не мое дело. Я просто уважаю тебя, как сына. Не бери до головы. Детей у вас нет, ежели что не сладится, найдешь другую.

Однажды Петро сказал жене, что заступает на дежурство, ночевать будет на службе — завтра полеты. Это случалось часто, военные летчики перед полетами ночуют в части: у них особый режим, особое питание. Поздним вечером он примчался на такси домой, вошел в квартиру — жена лежала в постели с мужчиной.

— Ах ты, стерва, — процедил он сквозь зубы, стукнул дверью и вернулся на службу.

До утра он так и не уснул. А потом были полеты. Петро выполнил всю программу, нормально приземлился, спустился с трапа на землю... и упал. Очнулся в госпитале. Начались анализы, исследования, комиссии, в конце концов, медики вынесли приговор: к службе в военной авиации непригоден.

После красивой, шумной, веселой свадьбы был тихий развод. На первый взгляд, все просто: ни алиментов, ни волокиты с разделом имущества, квартиру муж оставляет бывшей жене.

Но на сердце у Петра — открытая рана. И потянуло его домой, в Беларусь. Походил пару недель по лесу, погода была как по заказу: на дворе бабье лето, дни светлые, тихие, полно грибов в лесу. Воспрянул Петро душою и телом. И сердце успокоилось, давление нормализовалось. Родители ни в чем не упрекали, мать радовалась, что сын вернулся домой, отавы помог накосить, дров наготовили с отцом на всю зиму. Гапка вечерами перебирала в памяти всех деревенских девчат, а их осталось в Хатыничах совсем немного, выбирать было не из кого. Она уже собралась сходить в разведку в Заречье — нет ли там незамужней учительницы.

Но у сына были свои планы, и однажды вечером он сказал:

— Поеду в Горки в сельхозакадемию. Попробую поступить на агрономический факультет. Там экзамены осенью. Пару курсов окончу, переведусь на заочное. На стипендию прожить трудно. Ну, может, кусок сала когда подкинете.

— Шиночек, мой дорогой, — зашепелявила от волнения Гапка. — Все тебе будет. Дай же Божечка, чтоб тебе удалось... — старуха быстренько шуснула за порог и вернулась с запыленной бутылкой, заткнутой черной резиновой пробкой.

— Го, жоночка! Где ж ты зелье горькое прячешь? — заулыбался довольный Захар.

— От, зубы выскаляешь. Стыканы взял бы. Сидишь, как фон барон. Открывай, сынок.

Петро старался пить как можно меньше, чтобы не давать нагрузку сердцу, медики употреблять алкоголь запретили, но это был особый момент.

— Ну, сынок, дай Бог! Пусть тебе повезет. На земле-матухне оно смелее, — взволнованно молвил Захар. — А про сало, деньги... Не бядуй! Продадим телушку. Все тебе...

Сидели они, говорили. Мать пошла спать, отец и сын понемногу реализовали поллитровку. Спал Петро в ту ночь крепко, проснулся утром бодрым, будто заново на свет родился.

В академию он поступил, окончил два курса и перевелся на заочное отделение, но в Хатыничи не вернулся. Познакомился со студентом-заочником, который уже был на последнем курсе, работал под Минском председателем колхоза, а раньше служил офицером, он и уговорил Петра поехать к нему агрономом. Както летом, перед жатвой, прикатила съемочная группа телевидения. Председателя и главного агронома вызвали в район, пришлось Петру заниматься гостями. Он этого не ждал, не готовился, излишне не волновался, а сказал то, что знал о делах в колхозе, о лучших людях, признался, что это его первая жатва. Оператор снял несколько — механизаторов, главного инженера, комбайны на машинном дворе, колосистую зреющую ниву, — закончив работу, воскликнул:

— Отлично! Все получилось. Классная будет передача.

А режиссер Лида, симпатичная, синеглазая блондинка, даже чмокнула Петра в щечку — так ей понравились сюжет и молодой агроном. Редактор записал в блокнот нужные данные, и телевизионный рафик укатил в Минск. В назначенное время деревня прилипла к телевизору. Петро смотрел на себя, слушал свой голос и не узнавал его, и в то же время убедился, что говорит толково, все по делу, рассудительно, выглядит достойно. Председателю колхоза передача очень понравилась, к тому же, позвонил начальник райсельхозуправления: рад, что растут молодые кадры, что председателя можно выдвигать на повышение, — есть кому заменить.

Примерно через месяц позвонили из республиканской газеты, попросили написать статью «Раздумье после жатвы»: что получилось, что не удалось и почему.

— Пишите без спешки, побольше анализа. Пишите просто, как вы говорили с экрана. Здесь же можно поправить, перелопатить, если надо. Думаю, что у вас получится, — уговаривал журналист.

Петро начал было отказываться: надо писать контрольную работу для академии, времени нет.

— Статья вам зачтется. В академии читают нашу газету.

У Петра мелькнуло в голове: может, статью прочитает и та девушка-режиссер, снова приедет на съемки. Статью он написал. И телевидение действительно приехало, но через полгода, в начале весны. Председатель колхоза пошел на повышение, его кресло занял главный агроном. А на место главного назначили Петра.

— Мы снова к вам, — приветливо улыбалась Лида. — Запланировали о вас телеочерк.

— В газете вы дали раздумье после жатвы. А нам нужны чувства перед весенней посевной, — вступил в беседу редактор, пожилой, высокий, сутуловатый, в очках.

— Должен вам признаться, чувствую себя неловко. Работаю здесь недавно. Это первая весна в качестве главного.

— Так это же отлично! — прервал его редактор. — Раньше вы были просто агрономом. А теперь — главный. Чувство ответственности. Дисциплина. Все по технологии... Вы же бывший летчик. Так сказать, земля и небо. О, Лидуся, назовем очерк «Земное притяжение». И все без натяжки. Синее небо и синее поле льна. И синие васильки во ржи... Здорово!

— Васильки красивы, но это все же сорняк. Мы с ними боремся, — гнул свою линию Петро Моховиков.

Лида пристегнула Петру микрофончик на лацкан пиджака. Когда наклонилась над его лицом, он услышал тонкий запах духов, а когда коснулась волосами, его словно током обожгло. Лида, видимо, тоже это почувствовала, торопливо отошла в сторону, начала командовать:

— Камера! Сережа, общий план и переходи на крупняк.

Что такое «крупняк», Петро не понял, только мелькнула ассоциация со словом «кумпяк». И он краем глаза взглянул на джинсы, туго обтягивавшие ее ноги выше колен.

Снимали Петра в поле, в мастерской среди механизаторов, с девушками-льноводами. Скупо, неохотно говорил про агронома новый председатель. Ведущий буквально вытягивал из него по слову. После съемок гостей ждал обед в местной столовой. Председатель колхоза опрокинул пару чарок и поехал по своим делам, а Петру пришлось сидеть до конца, и эта миссия была приятной. Лида раскраснелась, а синие глаза тепло смотрели на него, соблазнительные уста лукаво улыбались. Редактор Владимир Павлович высказал сожаление, что в их редакции нет специалистов сельского хозяйства.

— Допустим, я — человек деревенский. С детства видел, что хлеб не растет на дереве, но кончал журфак. Самопасом изучал сельское хозяйство. Большинство наших кадров — горожане. Дети асфальта.

— Блатняки! Дети разных начальников, — уточнила Лида. — Вот нам бы в штат хотя бы одного агронома.

— Приглашайте. Я подумаю, — неожиданно для себя самого ляпнул Петро. — Вы про меня все знаете. Человек я вольный. Скоро кончаю академию.

— А что, это идея. Координаты ваши есть. Если появится вакансия, мы вам позвоним, — заверил редактор.

Телепередача вышла, а через несколько дней ее повторили.

— Петр Захарович, вы теперь наша знаменитость. Звезда телеэкрана, — ласково улыбалась бухгалтер, которая давно жила без мужа, старалась понравиться Петру, но не лежала у него к ней душа, и потому делал вид, что ничего не замечает и не понимает. А вот режиссера Лиду не забывал.

Как-то позвонил редактор Владимир Павлович, сказал, что телеочерк повесили на красную доску, как лучшую передачу, хвалили на студийной летучке, что вскоре у них может быть вакансия.

— Хорошо. Поживем — увидим, — коротко ответил Петро.

Ему не хотелось менять профессию, осваивать новое дело, совсем для него неизвестное, да и в город не рвался. Но тревожили напряженные отношения с новым председателем. После статьи в газете он проворчал: «Я три пятилетки здесь работаю. А ты и трех лет не отработал, но уже хвалишься на всю республику». — «Я не себя хвалю. А людей, которые у нас работают.

И достойны похвалы и доброго слова». Обещал председатель Петру выделить половину коттеджа, который строился, но как-то проговорился: «Может, пока подождешь, семейным негде жить».

Время шло, никто с телевидения не звонил и не приезжал. Да и поймать Петра было непросто — должность у него некабинетная. Как-то его позвали к телефону в бухгалтерию, он взял трубку и... не поверил ушам: звонила Лида.

— Петр Захарович, миленький, ищу вас по всем телефонам. Володя уже несколько раз звонил. Вакансия есть. Завтра у нас летучка в десять. Позвоните Владимиру Павловичу после девяти, он будет на месте. Ну, до встречи!

Через месяц Петро Моховиков получил солидное, толстенькое удостоверение сотрудника Белорусского телевидения. С помощью ЦК комсомола его поселили в рабочем общежитии. Жил в одной комнате с инженером-строителем. Теперь он виделся с Лидой почти каждый день, а Владимир Павлович, заведующий отделом сельского хозяйства, стал его непосредственным начальником. Постепенно Петро врастал в новый коллектив, осваивал новую профессию.

Однажды Петр и Лида вернулись из командировки, сдали пленку, аппаратуру, шли по берегу Свислочи. Был тихий, ласковый вечер.

— Мой уехал на Полесье. Фильм там снимает. А сын у бабушки, — будто между прочим сказала Лида.

— Так, может, зайдем ко мне? Сосед в отпуске.

— Ну, разве что на минутку, — нерешительно, сдержанно ответила Лида.

Но сдержанности хватило, пока Петро не закрыл на ключ дверь комнаты... После горячих объятий, усталые, они лежали на одной подушке. Лида нежно целовала Петра и тихо плакала сквозь слезы, все говорила и говорила. Петр слушал, не прерывал, понимал, что ей надо высказаться...

— Милый мой! Ну, почему мы раньше не встретились? Ты обжегся... Но ты недолго терпел и мучился. А я уже восемь лет терплю... Сначала мы жили хорошо. Мы же учились в одном институте. Лет пять все было по-людски. Он так Виталика любил, гулял с ним вечерами, в садик водил. Ну, случались командировки, съемки. Работа у него такая. Снял один фильм, другой. Начали хвалить. Он зачислил себя в гении. А следующий фильм не получился, положили на полку. А он свое: это козни моих врагов, завистников. Начал выпивать. Нашлась утешительница. Актрисуля, которая снималась в фильме. Начал мой исчезать. Три дня нет, неделю. Ни на работе, ни дома. Ну, на студии перед зарплатой появлялся. А какая зарплата, если в простое... А появится дома — злой, нервный, не говорит, а фыркает. Я виновата в его неудачах. Я говорю: давай разведемся, раз тебе плохо со мной. Он закатывает сцену. Ты что? Хочешь сына сделать сиротой при живом отце? А какой же ты отец, говорю я, ты его не одеваешь, не кормишь. Он тебя месяцами не видит. А он все равно свое: ты такая, сякая, хочешь разрушить семью. Вот он начнет снимать фильм, все наладится. Ну, кажется, начал новую картину. Но дома не появляется, даже когда сидит в Минске. Вот такая жизнь.

Почти год встречались Петр и Лида, то в общежитии, то у нее на квартире. И все украдкой, в спешке, на ходу. В редакции кое-кто знал об этом — любовь, как и кашель, не спрячешь. Петр чувствовал себя неудобно, переживал от раздвоенности, понимал, что их служебный роман, почти как и все подобные романы, не имеет перспективы. Надоело играть в прятки. И тут появилась другая женщина. Ева, которая жила в соседнем общежитии, одна растила сына. Надоела и жизнь в одной комнатке с чужим человеком. Все

чаще он оставался ночевать у Евы. За ширмой спал пятилетний Костик — его отец погиб в автоаварии, когда малышу было два годика.

— Петя, бросай ты свое общежитие. Переходи ко мне. Расписываться пока не будем. С комендантом я договорюсь. Она моя подруга.

Так и решили. Когда Петро имел время, он забирал малыша из садика.

— Костик, твой папа пришел! — кричали дети.

Мальчуган поворачивал русоволосую, как подсолнух, голову, радостно улыбался и бежал навстречу «папе». Петро брал маленькую теплую ручку в свою ладонь и чувствовал, что этот маленький человечек становится ему все дороже. Росло и чувство к Еве. Однажды она встретила их возле дома, обняла обоих, поцеловала. И весь вечер была как никогда ласковая, поглядывала то на Костика, то на Петра. А когда малыш заснул, призналась:

— Забеременела я, Петя. Что будем делать?

— Так это же здорово! — воскликнул Петро. — Расписываемся. Подаю заявление на квартиру. Милая моя, не горюй! Все будет хорошо!

— Ой, Петя, долго нам ждать придется. Может, мне что-нибудь дадут раньше? Я же давно работаю в тресте. И на очереди давно.

Расписались, усыновил Петро Костика. Ева весь декретный отпуск стучалась в двери своих начальников: как жить семье из четырех человек в одной комнатке? И достучалась — вскоре после рождения дочурки Иринки семья получила двухкомнатную квартиру.

Петро почувствовал себя счастливым человеком: он отец, дорогим и родным не по крови стал и Костик, и все крепче любил Еву. Когда женился первый раз, ему казалось: очень влюбился, лучшей женщины нет на свете. Но постепенно, будто ночной костер, любовь слабела, остывала и совсем сошла на нет. Остались усталость и разочарование. Во время развода Петро ненавидел эту женщину, которая принесла ему столько огорчений, подрезала крылья, едва не сломала. Но он выстоял. С годами прошла и ненависть. Время — неутомимый целитель человеческих ран — сделало свое дело, остались только шрамы на сердце и в душе.

А с Евой все наоборот. Поначалу заходил к ней, потому что приглашала, было с ней хорошо в постели, горячо обнимала и целовала. Постепенно привыкал, познавал характер, а не только тело, а когда родилась дочь, Петро не мог понять, кого крепче любит — жену или свое, родное дитя. Но сердцем почувствовал — наконец, нашел свое счастье.

И на работе его уважали. Петро начал понимать телевидение изнутри, постигать его кухню, где «варились» передачи — записывались, монтировались, озвучивались и потом притягивали людей к голубому экрану. Первое время очень помогала Лида — она была и наставницей, и советчицей, да и перешел на телевидение благодаря ей. Иногда снилось Петру поле. Он идет по тропе во ржи, вокруг синие глаза васильков будто смотрят на него, громко поет перепел, потом он, главный агроном, отчитывает бригадира за слабую обработку химическими препаратами — сорняки надо уничтожать. А вот небо и самолеты в последнее время совсем не вспоминались — отболела, затянулась рана жизненными заботами, новыми радостями.

Как-то встретился с Лидой в коридоре — она перешла в научно-популярную редакцию, теперь виделись реже. Поздоровались, обнялись.

— Ну, как твоя дочурка?

— Растет. Часто плачет. Зубки режутся.

— Что ж, это обычное дело. Ну, крепись, — вроде бодрым тоном сказала Лида, но глаза ее были такие грустные, что у Петра сжалось все внутри — никогда в жизни он не видел таких пронзительно тоскливых глаз.

Вскоре случилось неожиданное событие: Лида стала подчиненной Петра. И вот он наблюдает по монитору, как записывает передачу режиссер Якубовская.

Доцент коротко сказал о творчестве Янки Мавра, камера показала полку книг писателя, потом замелькали кадры документальной ленты: Мавр в тельняшке, с бородой, с трубкой во рту — косил старик под флибустьера, мелькнула сценка из жизни морских пиратов. Разыгрывает ее писатель со своими друзьями. Затем школьники показали сценку из повести «ТВТ» — придумывали название своему кружку: Товарищество Воинственных Техников. А потом актер и актриса читали фрагменты из других произведений автора.

Передача высветила многогранность личности Янки Мавра, его неистребимый оптимизм, глубину и актуальность его творчества, особенно повести «ТВТ». Сам Петро, когда планировал передачу, как-то подсознательно, интуитивно чувствовал, а тут сразу осознал: это как раз то, что нужно именно теперь! Не пустые разговоры на бесконечных заседаниях, собраниях о научно-технической революции, а конкретное живое дело. Товарищество Воинственных Техников может спасти страну, а не товарищество воинствующих атеистов-разрушителей, коммунистов-двурушников.

«Надо поздравить Лиду с интересной передачей». Рука потянулась к телефону, и тут будто сработало невидимое реле: аппарат залился трелью. Петро снял трубку и услышал голос Евы.

— Ты не забыл, что у нас завтра гости? Будешь ехать домой, загляни в магазин. Купи пару пачек майонеза, пару батонов на бутерброды.

— Дуришь ты мне голову. Разве не знаешь, в конце дня ничего нет, — неожиданно резко сказал Петро.

— Ну, может, и так. Завтра утром купим. Возвращайся домой. Ждем.

В голосе Евы тоже послышалось раздражение, нетерпение, мол, чего ты сидишь, когда рабочий день кончился. Петро набрал номер студии, но Лиды там уже не было. Он вышел в коридор и увидел ее возле комнаты режиссеров, рядом с ней стоял доцент. Петро подошел, похвалил передачу. Увидел, как засветились от радости Лидины глаза.

С хорошим настроением Петро Моховиков отправился домой. Вечером позвонил Андрею Сахуте, чтобы продолжить прерванный разговор, и услышал от него ужасную весть — в автоаварии погиб Машеров. Приехать не сможет: очень много забот свалилось на него.

— Может, на похоронах увидимся. Позже позвоню. Вот такая, братец, жизнь. Был человек и нет его, — с грустью сказал Андрей.

III

После ужина Машеров закурил любимую сигарету фирмы «Филип Моррис», устроился у телевизора: начиналась программа «Время», которую он старался не пропускать. Иногда попадала в кадр Беларусь, и он, партийный лидер республики, должен знать, что показали и как показали, потому что это идет на весь Союз и даже за его пределы. Передачу «Время» очень придирчиво смотрели в Кремле, особенно многочисленные помощники генсека Брежнева. Сам он почти ничего не читал, не любил и телевизор, но шеф телевидения почти каждое утро звонил ему и угодливо спрашивал: «Леонид Ильич, хорошо ли мы вас вчера показали? Есть у вас замечания?» — «Нормально, — обычно скрипел в ответ Брежнев. — Замечаний нет. Желаю успехов», — хотя передачи и не смотрел. Его больше интересовали охота, быстрая

езда на автомобиле, домино, фильмы про любовь или про зверьков — мог сидеть до глубокой ночи, потому как вставать рано привычки не имел.

Мелькали на телеэкране кадры. Вот он, дорогой Леонид Ильич, читает по бумажке, слова рождаются трудно — говорит, словно камни во рту ворочает. И такой дед-развалюха руководит громадной державой! Неудивительно, что мы топчемся на месте. Будто стреноженный конь, переставляет ноги генсек, и так же движется вперед могучее государство, с горечью и разочарованием подумал Машеров, и так захотелось выключить телевизор, но пересилил свое желание: а вдруг будет что про Беларусь, хотя бы чего «жареного» не показали — это не ко времени, его ждут в Москве большие дела.

Брежнев в тот вечер больше на экране не появлялся, но он словно стоял перед глазами Машерова: со шпаргалкой перед носом и пятью Золотыми Звездами на груди. Вспомнился факт: Брежнев только однажды, в 1971 году во Франции, рискнул выступить без бумажки, понимал, что французы очень ценят красноречие, если увидят его со шпаргалкой перед носом, сразу перестанут уважать. Генсек взялся зубрить, как школяр, написанную помощниками речь. Параллельно учил ее и переводчик. Выступая, Брежнев путался, пропускал слова, но молодой талантливый переводчик выучил речь лучше генсека, и французы ничего не заметили.

Промелькнули спортивные новости, прогноз синоптиков — прогноз он знал, потому как завтра поедет в колхоз. Дорога недалекая. Утром обещали дождь, но это ничего. Поедет во второй половине дня, когда распогодится. Но на душе было неспокойно, какое-то недоброе предчувствие, будто червяк яблоко, точило сердце... Он тяжело поднялся, высокий, сутуловатый, взял газеты с журнального столика, пошел в свой кабинет. Он иногда просил домочадцев: «Дайте мне часок тишины», — и тогда никто не входил к нему.

Он включил настольную лампу, полистал газеты, привычно выхватывая заголовки, начало и конец статей. Глаза устали за день от бумаг, от людей. И вообще, он чувствовал себя усталым, болела голова, и это неудивительно — столько мыслей кружилось в ней! И было над чем подумать! Забот у него и раньше хватало, а тут намечался такой поворот... Машеров выключил свет, снял очки, прилег на диван. Нет, спать он не собирался. Он ложился поздно, хотя, бывало, и сильно уставал: сидел, пока глаза не начинали слипаться, а если лечь раньше, то нападет бессонница, и тогда утром как побитый, а он должен быть всегда в форме. Бодрый, подтянутый, гладко выбритый. Таким его знают работники ЦК, таким его знает белорусский народ, все советские люди.

Сегодня заснуть будет трудно: думалось о телефонном разговоре с Председателем Совмина СССР Алексеем Косыгиным.

— Петр Миронович, такая ситуция... Долго я думал и решил подать в отставку. Пора, как говорится, на заслуженный отдых.

— Ну что вы, Алексей Николаевич? Без вас все покатится под откос. С вашим опытом, мудростью еще работать и работать.

— Дорогой Петр Миронович! Мне уже скоро семьдесят семь. Хватит. Представьте себе, в январе 39-го меня назначили наркомом текстильной промышленности. Мне тогда и тридцати пяти не было. Так вот, я уже сорок лет на государственной службе.

— Но Михаил Андреевич Суслов еще старше, а в отставку не собирается.

— Да, Михаил Андреевич на два года старше. Кстати, и вы, и мы с Сусловым — все трое февральские. Но вы еще молодой, Петр Миронович. Вас бы в Москву перетянуть надо.

Машеров знал: дни рождения Косыгина и Суслова совпадают — двадцать первое февраля, а у него — тринадцатого. Знал он и то, что именно Суслов люто ненавидит его, потому что считает первым претендентом на кресло главного идеолога. Понимал это и Косыгин, но сказал о другом:

— Быть идеологом — дело другое. А экономика любит конкретику. Людей надо обеспечить работой. Нужно, чтобы работали заводы. Был порядок в колхозах и совхозах. Чтобы человеку было что одеть, поесть, было где жить. Вы это все прекрасно понимаете. Имеете большой опыт, авторитет. Поэтому и буду вас рекомендовать.

— Но вы еще не закончили экономическую реформу.

— Реформа уже давно забуксовала, — вздохнул Косыгин. — И вы, наверное, догадываетесь почему. Короче говоря, заявление я подготовил. Двадцать первого октября пленум ЦК. Обсудим госплан и бюджет на будущий год. Есть мнение, что пора вас переводить в члены Политбюро. Ну, а двадцать третьего — сессия Верховного Совета. Я получу отставку, а вас буду рекомендовать на свое место. Советую соглашаться. Я уже говорил: у вас есть опыт, авторитет, мудрость. Вас любят в России. Во всех союзных республиках. С некоторыми членами Политбюро я переговорил. Есть полная поддержка. Конечно, не все... Сами понимаете. Думаю, все будет хорошо. Готовьтесь. И до встречи!

Машеров подержал трубку в руке, потом тихо положил ее на аппарат. Некоторое время сидел словно в оцепенении. Мысли стремительно кружились в голове. О переводе его в Москву он слышал не раз от Кирилла Мазурова. А тут сам Косыгин...

Раздумья прервал резкий звонок по ВЧ. На этот раз позвонил генсек:

— Как дела, Петр Миронович? Что-то вы опаздываете с уборкой? Уже октябрь. Со дня на день мороз может грянуть. Чтобы не повторилась прошлогодняя история. Чтобы ничего не померзло.

— Леонид Ильич, в прошом году мы все убрали своевременно. И урожай был нормальный. И картофель уродил, и свекла, и кукуруза.

— Но был же мороз недавно! — повысил тягучий, скрипучий голос генсек. — Когда много картофеля, свеклы померзло в Беларуси.

— Это было в семьдесят шестом году. Стихия, такие ранние заморозки бывают у нас раз в сто лет.

— Смотрите, чтобы стихия не повторилась. Чтобы веники весной не вязали, как тогда...

Опять уел. Сколько уже вытерпел он подковырок, ехидных смешков кремлевских дедов: доруководился Машеров, вениками коров кормит, будто козлов. Петр Миронович отбивался фактами, цифрами. Не стерпел и тут:

— Леонид Ильич, веники помогли спасти коров на Полесье. Вы же знаете, какая была весна. Ни капли дождя за три месяца. Если б не нарубили зеленых веток, неивестно, что было бы...

— Коров лучше кормить сеном, свеклой. Тогда будет и молоко, и мясо, — скрипел тягучий голос генсека. — Скоро пленум ЦК. Готовьте выступление. Конкретное, деловое. Ну, не вас этому учить. А насчет уборки... Мобилизуйте людей. Повышайте ответственность кадров. Сами выезжайте на места. Это важный политический момент. Ну, успехов! До свидания!

Странное чувство овладело Машеровым. Почему же этот ничего не сказал о переводе в Москву? Неужели не знает о желании Косыгина? Знает! Может, и о звонке Косыгина в Минск ему уже доложили. Хитрый жук. Петр Миронович давно убедился, как не любит его генсек. Не может смириться с тем, что Машеров получил Звезду Героя в войну, а он стал трижды Героем,

когда дорвался до власти, через много лет после войны. Машеров не мог разгадать тайну: почему посредственный руководитель, старый, дряхлый, так долго держится на плаву? Значит, это кому-то выгодно? Еще в январе 1976 года кремлевские медики еле вернули его к жизни после клинической смерти. Почему же он не попросился на покой? Куда смотрело Политбюро? Там же есть разумные, принципиальные люди. И он, Машеров, уже четырнадцать лет заседает там, хотя и в качестве кандидата в члены.

Вспомнилось недавнее торжественное заседание, посвященное 60-летию комсомола Беларуси. От имени его участников Брежневу было отправлено «пламенное комсомольское приветствие». Вынужден был хвалить генсека и Машеров в своей речи. Молодежь слушала Петра Мироновича, затаив дыхание, он говорил с особым воодушевлением.

— В монолитном сплочении комсомольских рядов вокруг родной ленинской партии, под ее мудрым, испытанным руководством — вперед к победе коммунизма! — по-молодому звонко произнес Машеров заключительные слова своего выступления.

Гром овации всколыхнул зал. Казалось бы, за столько лет можно уже привыкнуть к таким торжественным моментам, но нет, Петр Миронович разволновался, ощутил в душе необыкновенный подъем. А еще почувствовал себя счастливым руководителем: хорошая молодежь растет в Беларуси. Достойная смена отцам. В этом есть и его заслуга.

А вот кремлевские деды не ценят. Причину понимал: боятся конкурента, и в члены Политбюро не переводят столько лет, чтобы не появился еще один претендент на высокую должность. С Федором Кулаковым расправились: он всегда имел свое мнение, смело его высказывал, и здорового мужика, никогда не болевшего, нашли мертвым в ванной комнате. Команду молодых, которая привела Брежнева к власти, он потом разогнал: кого дипломатом в далекую страну, кого преждевременно на пенсию. Петр Миронович много знал о кремлевских играх от Кирилла Мазурова, которого тоже отправили на пенсию, хотя он почти на десять лет моложе Брежнева, имеет опыт, здоровье и светлую голову. Где совесть у «верного ленинца»? Сам уже еле ходит, без шпаргалки двух слов не свяжет, почти три пятилетки сидит в Кремле в качестве пенсионера, а в отставку отправляет молодых.

Выплыл из памяти уже далекий октябрь 1964-го. Пленум ЦК КПСС. Машеров предчувствовал, что назревают серьезные события. Кое-что рассказал по секрету Мазуров:

— Хрущев с Микояном отдыхают. А тем временем готовится пленум ЦК. И он может быть последним для Никиты, — сказал Кирилл Трофимович, когда ходили по лесу. — Хрущев сделал много доброго, но в последнее время превратился в гастролера. То за границу летает, то по стране шастает. Сталина обгадил, а свой культ создал за неполные десять лет. А какой культ! Идеологи подсчитали, что за девять месяцев этого года его портрет печатался в центральных газетах сто сорок раз. Даже портреты Иосифа Виссарионовича публиковались реже. А эти бесконечные реформы!

— Партию располовинил. На сельскую и городскую поделил, — поддержал разговор Машеров. — А Насера, египтянина, сделал Героем Советского Союза. Меня это оскорбило до глубины души.

— Да все фронтовики плюются. Что хочет, то и воротит. Недавно ездил в скандинавские страны. Взял с собой детей, внуков. Всего двенадцать человек. И за денежки налогоплательщиков. Короче, я не думаю, что ты будешь голосовать за него. Беседа строго между нами. Сам понимаешь, если не удастся его спихнуть, полетят головы...

Мазуров тоже не все знал. Говорил с ним на подмосковной даче Николай Миронов, заведующий отделом административных органов, куратор армии, силовых структур, прокуратуры. Разговор был неконкретный: мол, как вам нравятся пертурбации Хрущева, бесконечные поездки. Мазуров признался, что не в восторге от таких методов руководства, и обещал поддержку. Миронов закончил беседу почти такими же словами: это строго между нами.

А потом был пленум ЦК. Высокий, костлявый Суслов нацепил очки и уткнулся в доклад, с которым побоялся выступить Брежнев. Машеров уже знал, что на расширенном заседании президиума ЦК первым секретарем рекомендовали избрать Брежнева, Председателем Совета Министров Косыгина, что Хрущев сначала отвергал всяческую критику, отметал упреки соратников. Но из двадцати двух присутствующих в защиту выступил один Микоян. Никита Сергеевич понял, что его песенка спета, и на пленуме не проронил ни слова.

После перечисления грехов Хрущева Суслов сказал: судя по настроению зала, пленум одобряет решение Президиума ЦК, и нет необходимости открывать прения. Тут же подхватился Брежнев и предложил голосовать. В зале поднялся лес рук. Против не было никого.

Машеров посматривал на низко склоненную лобастую голову Никиты Сергеевича и невольно подумал: в душе низвергнутого лидера бушует буря, разливается море обиды — многие, кого он выдвигал, выводил в люди, голосовали против. А еще подумалось: одним может утешиться Хрущев — он сделал страну настолько демократической, а власть цивилизованной, что простым голосованием, без танков и крови его лишили всех постов.

Это был по сути государственный переворот. Но вскоре случилось событие, которое сильно взволновало Машерова, и особенно Мазурова: в авиакатастрофе погибли Николай Миронов и маршал Бирюзов — они летели в Югославию на празднование годовщины освобождения от немцев. Миронов воевал в этой стране.

— Ключевая фигура заговора против Хрущева. Выдающийся организатор, обаятельный, талантливый человек. Его ожидала должность секретаря ЦК, куратора всех силовых структур, члена президиума. Трагическая смерть. Случайность, а может, диверсия? Ушел из жизни человек, который очень много знал, который конспиративно подготовил пленум и привел Брежнева к власти… — вздыхал Мазуров.

— Кажется, они с Брежневым вместе работали в Днепропетровске? — спросил Машеров.

— Да. Миронов был лучшим другом Брежнева... Госкомиссия признала, что виноваты летчики. Военные пилоты первый раз летели по этому маршруту, делали разворот и врезались в гору.

Сильно взволновала Машерова неожиданная смерть Кулакова. Он хорошо знал Федора Давыдовича, искренне уважал его за принципиальность, смелость, неистребимый оптимизм. В начале 1978-го в коридорах Кремля Петр Миронович услышал от Мазурова:

— Брежнева сплавляем на пенсию. Первым будет Федор Кулаков.

Машеров воспрянул духом. Наконец, Леонид Ильич, который только делает вид, что управляет страной, уйдет в небытие. И вот, ночью семнадцатого июля 1978 года Федор Кулаков скоропостижно умирает от сердечной недостаточности. И что особенно поразило Машерова: на похоронах члена Политбюро не было ни Брежнева, ни Косыгина, ни Суслова, ни Черненко, в скупом некрологе, опубликованном не на первой, а на второй странице «Правды», говорилось о смерти не выдающегося, как писали о членах Политбюро, а видного деятеля.

На похоронах с трибуны Мавзолея выступил Михаил Горбачев. Партийные функционеры поняли: Михаил Сергеевич займет кресло Кулакова — единственное, на которое мог претендовать, быть куратором сельского хозяйства.

Машеров знал его давно. В 1961 году оба были делегатами XXIV съезда КПСС. Знал, что тянули за уши Горбачева в Москву со Ставропольщины Кулаков и особенно — земляк Андропов. Именно между его покровителями вспыхнула беспощадная борьба за кремлевский трон. И кто бы из этих двух «красных петухов» ни победил, Горбачев все равно бы остался на коне. Неожиданная, загадочная смерть Кулакова помогла Горбачеву больше, чем его покровительство при жизни. А он, Федор Кулаков, которого Хрущев снял с должности министра хлебопродуктов и отправил на высылку в Ставропольский край, учил комсомольского лидера края Горбачева понимать жизнь, разгадывать политические интриги, уметь организовать массы на выполнение поставленных задач. Кулаков это умел делать. Он был второй ключевой фигурой заговора против Хрущева. Осенью 1964-го Кулаков принимал московских заговорщиков в своих владениях — в Тебердинском заповеднике около знаменитого озера Манычь. Гости не бродили с ружьями и стреляли только пробками из бутылок шампанского, которое лилось рекой. Именно в этой заповедной тиши, под брызги шампанского да и пития покрепче, были окончательно разработаны все детали кремлевского переворота.

Брежнев не забыл поддержку Кулакова и перевел его в Москву. И опекал до определенного времени, терпел смелость и принципиальность, пока не почувствовал угрозу: младший соратник может столкнуть его с высокого кресла.

Но не мог тогда знать Машеров об одной уникальной, исторической встрече на станции Минеральные Воды.

Эта встреча состоялась 19 сентября 1978 года. Был теплый, светлый вечер, когда ослабла дневная жара. Хотя и начинался на Кавказе бархатный сезон, днем солнце еще припекало сильно. На небольшой железнодорожной станции Минеральные Воды остановился поезд специального назначения. Эта остановка появилась в программе маршрута перед самым отправлением поезда из Москвы. Литерный состав направлялся в столицу Азербайджана Баку и вез генсека Брежнева, его помощника Черненко. На перроне Минеральных Вод их встречали всемогущий шеф КГБ Юрий Андропов, который любил отдыхать вблизи родных мест в санатории «Красные Камни», и партийный лидер Ставропольского края Михаил Горбачев. Андропов любил тишину и одиночество, круглые сутки держал связь с Москвой. К нему частенько наведывался Горбачев.

Встречи добился Андропов. Высокий, широкоплечий, в очках на крупном, выразительном лице, он с неожиданной легкостью метнулся к вагону, как только остановился поезд.

О, жажда власти! Ты сильнее всех человеческих страстей и желаний. Сильнее любви к женщине, любви к отцу и матери.

Ты, неутолимая жажда власти, поднимала сыновью руку на отца родного, заставляла брата идти войной на своего кровного брата. Жажда власти заливала кровью страны и континенты. Жажда власти объединяла самых разных людей — двуногих хищников — в один мощный альянс. Они сваливали короля или царя, президента или генсека, а потом грызлись снова, но уже между собой. И так ведется из века в век. И будет, наверное, всегда, пока будет на земле человек.

Так вот, именно жажда власти подгоняла Андропова к вагону Брежнева. За ним, будто тень, следовал Горбачев. С подножки пружинисто соскочил начальник охраны, вслед за ним медленно, тяжело, будто мех костей, внутренностей и жира, спустил свое старческое тело генсек. Подал твердую, холодноватую руку Андропову, тот потянулся с объятиями, тогда и Леонид Ильич трижды подставил свое лицо для угодливых поцелуев. Только густые кустистые брови напоминали о былой мужской красоте этого посредственного, но хитрого и коварного царедворца. Вслед за Брежневым ступил на перрон еще один кремлевский дед — Константин Устинович Черненко. Он был в длинноватом светло-сером плаще. Такой же плащ держал на руках. Черненко тяжело дышал, словно загнанный конь, было удивительно, что этот немощный старец довольно ловко накинул на плечи Брежнева плащ. Неутолимая жажда власти добавила прыти и ему.

— Леонид Ильич, уже вечер. Чтоб не просквозило...

Потом Черненко так же трижды, но с большим жаром, расцеловался с Андроповым — к шефу КГБ он относился с уважением, смешанным с чувством страха.

— Леонид Ильич, вы же знаете Михаила Сергеевича? — Андропов подтолкнул вперед местного партийного лидера.

— Знаю Михаила Сергеевича. Приятно, что у нас есть молодые партийные вожаки, — проскрипел Брежнев, трижды облобызал Горбачева. — Сколько вам, Михаил Сергеевич?

— Да уже сорок семь…

— Нам бы, Костя, такие годы, а? — засмеялся Брежнев. — Жаль, что молодость быстро проходит. Мелькнет, и нет ее. И не вернешь назад... Ну, а вам, Михаил Сергеевич, самое время переходить в Москву. Думаю, что этот вопрос мы решим на ближайшем пленуме.

Черненко кивнул в знак поддержки, сказал хриплым голосом:

— Кстати, Михаил Сергеевич, вы родились в тридцать первом, а я в том году вступил в партию. Ты говоришь, Леонид Ильич, про молодость. Так и вся жизнь пролетает быстро. Оглянуться не успеешь. Одного деда в Сибири спросили... Он прожил девяносто. Значит, у него спросили: надоело ли ему жить? Дед кряхтя, медленно подошел к двери, отдышался, отворил ее и закрыл. «Вот и моя жизнь. Как отворил и затворил дверь...»

— Мудро, Константин Устинович, — проскрипел генсек, шумно вздохнул, словно конь над желобом. — Твоя правда. Жизнь пролетает, будто курьерский поезд. Не успеешь оглянуться, как уже последняя станция. И старуха с косой: слезай, приехали...

Андропов согласно кивал головой, Горбачев улыбался.

Особенность этой встречи в том, что на тихой железнодорожной станции в тот вечер встретились четыре человека, которым довелось руководить могучей державой. Руководить поочередно — один за другим. Последний, самый молодой из четырех, исполнил роль ее могильщика. История распорядилась, чтоб он стал первым и последним президентом СССР.

Встреча продолжалась недолго. Андропов рассказал, как отдыхает, что чувствует себя намного лучше. Горбачев коротко доложил о делах в Ставрополье, об урожае, о завершении уборки. Брежнев слушал невнимательно, осматривался по сторонам, потом глянул на Черненко:

— Ну что, Устинович, пожалуй, надо ехать. Дорога неблизкая.

— Да, Леонид Ильич, едем, — Черненко махнул рукой начальнику охраны, мол, погоняй.

Прощались без поцелуев. Поезд тихо, осторожно тронулся, начал набирать скорость. Андропов и Горбачев еще долго стояли. О чем думал каждый

из них? Андропов был доволен встречей: он сделал еще один шаг к заветному кабинету на Старой площади, в команде секретарей ЦК появится свой человек — Михаил Горбачев.

Доволен был встречей и вожак ставропольских коммунистов — впервые он обнимался с самим Генсеком! Он один, почти из двухсот региональных партийных лидеров, имел такую честь. Очень взволновали его слова о переходе в Москву — сладко затрепетало сердце. Вот он, миг, когда сбывается давняя мечта: взойти на политический олимп. Предчувствия его сбылись: вскоре на очередном пленуме его избрали секретарем Центрального Комитета КПСС — он был самым молодым среди своих одиннадцати коллег. А через год стал самым молодым кандидатом в члены Политбюро.

Да, о встрече на станции Минеральные Воды Машеров не знал, но о подковерной борьбе за власть, которая кипела за спиной Брежнева, имел представление. И вот теперь он может оказаться в самом эпицентре кремлевского сражения за власть.

Память вырвала из прошлого день в начале 1978 года: Брежнев вручал ему Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Генсек, тяжело ворочая непослушным языком, читал по бумажке:

— Дорогой Петр Миронович! Примите от меня лично и от всех членов Политбюро поздравления...

Потом дрожащей рукой прикрепил Звезду Героя на лацкан пиджака, широко развел руки — мол, иди в мои объятия. И Машеров пошел...

А как иначе? Петр Миронович был взволнован и обрадован, он понимал, — это награда не от Брежнева и его соратников-дедов, это признание советским народом его заслуг. Он, сын репрессированного крестьянина Мирона Васильевича и замученной карателями за связь с партизанами крестьянки Дарьи Петровны, не закостенел от злобы и ненависти, а с доброжелательной, обаятельной улыбкой работает ради счастья людей. Он имел право так думать о себе.

Назавтра после обеда, а точнее — в четырнадцать тридцать пять от массивного, величавого здания ЦК Компартии Беларуси на улице Карла Маркса, отъехала белая милицейская «Волга», за ней грузно выкатилась черная «Чайка».

Петр Миронович Машеров отправился в свою последнюю поездку.

Она стала поездкой в вечность.

IV

Гроб с телом Машерова был установлен в Доме правительства. На всей просторной площади перед громадным зданием стояли люди. День выдался серый, туманный, временами налетал холодный мелкий дождь и сеялся будто сквозь мелкое сито. Тогда над скорбным людским морем, словно серые, темные грибы, вырастали зонты. И среди них не было пестрых, красных, которые любят женщины, — только черные, траурные. И лица людей хмурые, глаза — красные от слез.

Люди заполняли площадь с раннего утра, хотя прощание с Машеровым начиналось в десять часов. Петро Моховиков и Ева приехали к восьми, заняли очередь. Постояли с полчаса. Народ все прибывал, как прибывает вода на песчаный берег во время прилива.

— Долго нам придется стоять. Петя, может, я съезжу на работу? А ты побудешь здесь, — сказала Ева.

— Мне тоже надо на студию. Вы нам очередь подержите? — Петро успел перекинуться словом с людьми, что стояли впереди. Приметил, в чем одеты, видимо, муж и жена, он в черной шляпе, длинном темно-синем плаще с поясом, она в серо-голубом берете и сером пальто, за стеклами очков красные от слез глаза. Пара согласилась.

Взявшись за руки, чтобы не потеряться в толпе, Ева и Петро начали пробиваться на проспект, но движение было перекрыто. Правда, тех, кто шел с площади, пропускали.

— Вот выберемся отсюда, а назад не пустят, — тревожилась Ева.

— Пустят. Не люблю показывать редакционное удостоверение, но если понадобится, покажу. Пропустят.

Условились, что Петр позвонит через полтора часа, но его вызвали в дирекцию программ, потом были другие неотложные дела, и только во второй половине дня они снова приехали на площадь, нашли свою очередь.

Было уже около семи вечера, когда Петро и Ева вошли в зал. Сразу бросился в глаза огромный портрет Машерова в траурном обрамлении, гроб на высоком постаменте, плотно уставленный со всех сторон венками, обложенный букетами, казалось, что холодное, мертвое тело, как магнит, притягивает цветы. В воздухе пахло увядшими цветами, людским потом и тем особым духом, который всегда парит над усопшим, независимо от его положения при жизни. Это был запах небытия.

Хотелось задержаться, постоять, помолчать, но очередь напирала сзади, милиционеры вежливо подгоняли:

— Пожалуйста, не задерживайтесь. Очередь большая...

Петро молча склонил голову, когда поравнялись с гробом, глаза увлажнились. Петра поразили седые волосы Машерова — видел его неделю назад на экране, волосы были темные. А на лице будто застыла гримаса страшной боли и глубокой обиды: «За что?» На фоне черных траурных лент на венках светились мягким красно-желтым блеском две золотые геройские Звезды и семь орденов Ленина.

Назавтра на траурной церемонии земляки стояли рядом: Андрей Сахута, Петро Моховиков и Николай Артемович Шандобыла, председатель райисполкома из Лобановки. Площадь снова заполнили десятки тысяч притихших людей.

— Так что все-таки произошло на дороге? — полушепотом спросил Николай Шандобыла у Андрея.

— Трагическая случайность. А как все было, неизвестно. Создана государственная комиссия, — так же тихо ответил Андрей.

— Комиссии создаются всегда. Только никогда не пишут об их выводах. Да и что толку от их работы? Человека не вернешь, — шумно вздохнул грузный широколицый мужчина.

— Здесь и без комиссии все ясно. Угробили человека, — решительно сказала пожилая женщина, которую под руку держала светловолосая девушка, видимо, дочь, очень похожая на мать, только немного выше ростом и стройнее. — За ним давно охотились. Несколько лет назад... Ну, когда Сурганов погиб... И этот генерал-летчик... Когда ехали из Бреста...

— Генерал-лейтенант Беда, — подсказал Сахута.

— Вот, вот. Беда. Тогда поменялись в дороге машины. В первой должен был ехать Машеров. Его б уже тогда не стало... Это был звонок. Сигнал беды... Не уберегли Петра Мироновича. Мой отец партизанил с ним. Машеров, ну, когда в комсомоле работал, отец был жив, приезжал к нам.

— Не уберегли, говорите. Думаете, его охраняли, как нужно? — будто спрашивал толстяк у женщины, а потом повернулся к Николаю Шандобы-

ле, поинтересовался, кто он и откуда. Николай назвал свой район, Андрея и Петра выдал за своих коллег. Разговор стал более доверительным. — Почему вдруг бронированный «ЗИЛ» отправили в ремонт? Машеровский автомобиль протаранил бы этот самосвал с картошкой и отбросил в кювет.

— Этот же самосвал имел наряд возить свеклу. И вдруг его загрузили картошкой и отправили на шоссе. Это все вопросы к новому шефу КГБ. Из Москвы недавно прислали нового председателя КГБ, тот сразу заменил начальника охраны Машерова. А теперь говорят: Машеров сам виноват, ремнями не пристегивался, своего водителя-пенсионера заменить отказался... И вот финал, — сквозь слезы сказала партизанская дочь.

Андрей заметил, что к словам женщины прислушивались все вокруг, невольно подумал, как много люди уже знают об аварии. Женщина достала из кармана платочек, взялась вытирать мокрые глаза. Тем временем на специально возведенной большой трибуне появились руководители республики.

— А кто из Москвы? — громко спросила дочь партизана.

— Вон Кирилл Мазуров, — ответил толстяк.

— Мазуров уже не начальник. Его съели и выплюнули, — категорично молвила женщина.

— Верно говорит дочь партизана, — шепнул Николай. — Ну, и кто будет говорить первым?

Андрей молчал, потому подал голос Петро.

— Может, Аксенов? А может, Бровиков? Второй секретарь.

— Наверное, кто-то из них. Скорее всего, Бровиков. В Москве работал в ЦК. Толковый мужик, — рассуждал Андрей.

— А кто есть из Политбюро? У вас глаза моложе, лучше видите, — повернулась к Андрею дочь партизана.

— Официально от ЦК Зимянин, — об этом Андрей услышал от первого секретаря райкома, когда виделся с ним утром.

— Михаил Васильевич — наш земляк. Кажется, в Могилеве институт кончал, — показал свою осведомленность Николай Шандобыла.

Между тем траурный митинг начался. Над площадью покатился хрипловатый голос, усиленный громкоговорителями.

— А кто открывает? Вроде голос Полякова, — вслушивалась женщина.

— Он. Иван Евтеевич, — подтвердил толстяк.

— А может, он будет первым? — шепнул Петро Николаю.

Тот ничего не успел ответить, как дочь партизана авторитетно сказала:

— Стар. Ему уже поздно. Под семьдесят подбирается. Мне вручал недавно грамоту Верховного Совета. Лицо у него... Я просто удивилась. Гладенькое, как яичко, ни одной морщинки. Вот умеет жить человек. Но первым он не будет. Ему уже только награды вручать...

— Почему? — резко повернулся к ней толстяк. — Моложе Брежнева на пять лет. Опыт имеет. Здоровьем Бог не обидел.

А с трибуны уже говорил Зимянин. Он был почти на голову ниже соседей, стоявших рядом, говорил о великой потере, о заслугах Машерова.

Затем слово дали Владимиру Бровикову.

— У всех нас большое, неизмеримое горе. Погиб Петр Миронович Машеров. Трагический случай оборвал жизнь великого, редкого по уму, таланту, душевному обаянию человека...

Последним получил слово Председатель Совета Министров Беларуси Александр Аксенов:

— Такие былинные люди, как Петр Миронович Машеров, не уходят навсегда. Они остаются в строю весомыми плодами своего труда... Мы скло-

няем свои головы перед прахом нашего бесконечно дорогого друга Петра Мироновича Машерова... Вечная и благодарная память тебе! Прощай, наш дорогой Петр Миронович!

...Андрей, Петро и Николай Артемович, промерзшие, изголодавшиеся, с тяжелым настроем приехали в Зеленый Луг. Ева ждала их, наварила картофеля, приготовила голубцы, разных салатов.

— Друзья мои, не усложняйте жизнь. Ни пить, ни есть не хочется, — вздохнул Андрей, видя, как хозяева накрывают на стол, Петро, как челнок, носит и носит тарелки из кухни.

— Помянуть усопшего надо. Это святое дело, — Петро наполнил чарки.

— Ну, пухом земля, — коротко выдохнул Николай Артемович.

Молча выпили стоя. Сидели, почти не закусывали.

— Андрей Матвеевич, Николай Артемович, вы обижаете хозяйку. Ешьте что-нибудь. Я старалась. А его уже не поднимешь. Жизнь продолжается, — Ева подкладывала на тарелки салат, голубцы, картофель. — Угощайтесь. Целый день голодные. Петя, наливай! Три чарки полагается. А мне каплю вина...

Мужчины пили, молча закусывали. Наслушались всего за день, надо обдумать услышанное и увиденное. Зато Ева не умолкала:

— На работе у нас говорят, что авария организованная. Ну, спланированная диверсия. Вы что-нибудь слышали там, на похоронах? — выспрашивала Ева. — Андрей, ну ты же возле высокого начальства ходишь. Какое твое мнение?

— Понимаешь, Ева, говорят много чего. А где правда? Где доказательства? — Андрей глянул на Петра, будто ждал доказательств от него, тележурналиста. — Подождем выводов госкомиссии. Задержан водитель самосвала, который вез картофель. Будет следствие. Кое-что прояснится.

— Мужчины, слишком серьезная у вас беседа. Петро, налей. Все стоит на столе, — сокрушалась Ева.

— Жена, не форсируй, — улыбнулся Петро. Он был доволен, что у него собрались земляки, интересные, видные люди. В душе гордился, что и он не последний человек на телевидении, имеет хорошую квартиру, гостеприимную жену, хорошую хозяйку.

— Теперь часто можно услышать: коммунизм — это как горизонт. Ты идешь, а он отдаляется и отдаляется, — начал Петро, но его перебил Николай:

— Так мы же не шли, а бежали. Догоняли Америку. Не догнали, махнули рукой. Как тот певень за курицей. Летел и думал: не догоню, так хоть согреюсь.

— Среди кремлевских пенсионеров есть и разумные люди. Косыгин — толковый мужик. Андрей, это правда, что Машерова планировали на его место? — спросил Николай.

— Ходили слухи. Дыма без огня не бывает. В обкоме мне об этом говорили. Видимо, действительно планировали. И вот чем кончилось, — тяжело вздохнул Андрей.

— А мне кажется, ничего революционного он бы не сделал. Во-первых, Брежнев и компания не дали бы. А во-вторых, Машеров сам — дитя этой системы. Она его родила, вознесла на высоту. Он отдал ей все что мог. Как ни крути, пенсионер уже.

— Не скажи, Микола. Он еще не старый был, — возразил Андрей. — Опыт, мудрость, человечность, авторитет — все у него было. Он бы мог еще много чего сделать...

— Вот своим авторитетом он поддержал дурацкую, вредную идею неперспективных деревень. Загубили все малые поселения. Разве может быть неперспективной хоть одна человеческая жизнь? А тут целые деревни забросили, — доносил свою обиду человек из глубинки.

К голосам мужчин все больше прислушивалась Ева, но сама в разговор не вступала. Ей казалось, гость Николай Артемович говорит правду.

Она была на его стороне.

— Не все зависело от него. Москва диктовала, — защищал своего кумира Андрей Сахута.

— Правильно, диктовала. Но Машеров любил подхватывать московские идеи раньше других. А разве не дурацкая идея *слияния языков?* Он подхватил ее с лету, — взволнованно начал Петро. — И вот результат. В столице Беларуси нет ни одной белорусской школы. А может, в твоем районе есть? Скажи, если так.

Сахута молча пил минеральную воду и не торопился с ответом, да и нечем ему было крыть. После короткой паузы Петро продолжал:

— А вот скажите мне, почему все пленумы, партактивы проводятся на русском языке? Ведь мы живем в Беларуси?

— Ну, рабочий язык партии — русский. Все к этому привыкли. У нас живут люди других национальностей. Так удобнее, — без тени сомнения в своей правоте ответил Сахута.

— Нет, Андрей, я с тобой не согласен. Кому удобнее? Инструктору ЦК КПСС или инспектору, как они там зовутся? Разным идеологическим проверяльщикам? Да, им удобнее. Но почему мы топчем все свое, родное? Почему не учимся у соседей — литовцев, украинцев? И сам Машеров не пользовался *роднай мовай*. Только на съездах писателей говорил по-белорусски. Читал написанное помощниками, — горячился Петро.

— Нет, братцы, это не только его вина. Не с него началось, — Николай Артемович отпил глоток из чарки, поморщился. — Как-то после баньки Долгалев рассказывал. Значит, вернулся из Минска Антон Прокопенко, он тогда был первым и ездил на пленум. Это было в июне пятьдесят третьего. И говорит: «Браткі, вучым родную мову. На пленуме даклад рабіў Зімянін па-беларуску. А яго прыслалі з Масквы. Значыць, такая ўстаноўка партыі». На пленуме райкома он выступает с докладом по-белорусски, выступающие тоже вспомнили родную мову, кто говорил правильно, кто на трасянцы. Наш учитель Мамута интересно выступил. А через месяц в Минске новый пленум. Тогда арестовали Берию, в Минске сняли его ставленника Цанаву. Вернулся домой Прокопенко и украдкой говорит Долгалеву: на этом пленуме все опять выступали на русском. Такая установка Москвы. Мол, Берия хотел поссорить советские республики. А какая может быть ссора, если каждый народ будет беречь свой язык, уважать историю?

— Тогда он будет народом, а не толпой, просто — населением, — подхватил Петро. — Я недавно прочитал письмо Якуба Коласа в ЦК партии. Перед смертью, в пятьдесят шестом году. Один историк дал почитать по секрету. Чего мы все боимся? Боимся любить Беларусь. Хотя, конечно, страх внушили давно. Якуб Колас пишет: в определенный период времени интеллигенты боялись «абазвацца па-беларуску», сразу могли пришить ярлык националиста.

— И пришивали! Еще сколько! — не утерпел Николай Шандобыла.

— Да, жуткое было время. Угробили больше ста писателей, ученых. Молодых, талантливых. В самом расцвете. И за что? За то, что любили Бела-

русь. Якуб Колас утверждал: если руководители заговорят по-белорусски, то и народ зауважает свой язык. В письме много других разумных предложений. Ответа он не получил.

Петро разволновался. Ева подошла, обняла его за плечи. Петру хотелось сказать и про телевидение, как трудно, неохотно учится оно работать на родном языке, но заметил, что Микола Шандобыла взглянул на часы: ждет звонка водителя, значит, не время начинать дискуссию. Но как раз Микола и подлил масла в огонь.

— Хотя о покойниках плохо не говорят, но должен признать: нахомутал Машеров немало. Возьмите мелиорацию. А гигантские животноводческие комплексы. Огромный вред природе! Никто этого не считал. И вред будет увеличиваться. Как снежный ком.

— Николай Артемович, не могу согласиться с этим. Мелиорация дала нам и хлеб, и мясо, и молоко. Как люди говорят: и чарку, и шкварку. Болота надо было осушать! — возразил Сахута.

— Да, надо, но не так. Не все без разбору. Некогда наши потомки оценят Машерова более объективно. Наливай, Петро, помянем еще раз.

— И все-таки у меня свое мнение. Конечно, не надо делать из Машерова икону. Но человек самоотверженно работал. Честно, добросовестно. Народ его любит. Мы это видели сегодня, — не мог успокоиться Сахута.

— Согласен. Вот и помянем еще раз. Пусть ему земля будет пухом...

Грузноватый Николай Шандобыла тяжело поднялся, встали Андрей и Петро, стоя, не чокаясь, выпили. Над столом, будто огромный зонт, нависла гнетущая тишина.

Когда поженились, Ева не очень любила Петра. Понимала, он одинок, и она растит дитя одна. Видела его с Лидой. Однажды увидела на экране, сначала не узнала, но голос показался знакомым, присмотрелась — так это же человек из соседнего общежития, который с ней здоровается. Аккуратно причесан, модный галстук, говорил так складно, спокойно, смотрел с экрана открыто, ясно, будто видит Еву и говорит эти слова только ей. Очень впечатлила ее телепередача. При встрече она поздоровалась первой, сказала, что смотрела передачу, которая ей понравилась

— А когда еще можно будет увидеть вас на экране?

— Когда? Я вам скажу. Кстати, как вас зовут?

— Меня зовут Ева.

— Ого, первая женщина. Родоначальница человечества. Жаль, что я не Адам, а — Петро. Апостол Петр.

— Очень хорошее имя. Петр — это значит твердый или камень?

— Да, есть такое определение. А где же ваш сын?

— Отвезла к бабушке. На днях и сама туда поеду. А мужа нет. Погиб в автоаварии.

Ева приметила, как тень сочувствия мелькнула в его глазах, которые только что смотрели весело, озорно. И это движение души сказало ей больше слов сочувствия. И у нее зародилось желание познакомиться с Петром поближе.

— Извините за любопытство, почему вы живете в общежитии? Неужто телевидение не может обеспечить вас квартирой? На вас смотрит вся Беларусь. Ну, никак не верится. Неужели наша республика такая бедная?

— Видите ли, Ева, все не так просто. В первую очередь надо обеспечить семейных, с малыми детьми. А я вольный казак.

— Так и я вольная казачка. Если есть время и желание, может, зайдем ко мне? А то стоим на улице, как бездомные.

Петро спросил номер ее комнаты и пообещал через полчаса зайти.

И он пришел с шампанским, с цветами. С этого все и началось... Ева долго и осторожно, бережно растила росток новой любви. Первое время невольно сравнивала Петра со своим первым мужем, и это сравнение было не в пользу Петра. И только после рождения дочурки она увидела нового мужа другим человеком. И у нее проснулась любовь, которая затмила прежнее чувство. И эта любовь не слабела, а наоборот, крепла с каждым вместе прожитым годом. А когда Петра назначили главным редактором, она стала еще крепче любить и уважать его. Поначалу думала: неудавшийся летчик, неудачник-муж, которому изменяла жена, неудачник-агроном, малоизвестный журналист. А как почитала письма телезрителей после его передач, увидела, с какой страстью, ответственностью он относится к своей работе, убедилась: Петр нашел себя, создал новую семью, любит и Костика, и родную кровинку-дочурку.

Через полчаса Петро и Ева провожали своих гостей. Николай поцеловал Еве руку, но этого ему показалось мало — чмокнул в щечку.

— Большое вам спасибо. После такого дня... После ужасного события. У вас воспрянул духом. И наговорился с земляками, — он обнял Петра, трижды расцеловались. — Приезжайте в Хатыничи. Через месяц Иван Сыродоев празднует юбилей. Пятьдесят пять годков. Две пятерки. Дата красивая. Полсотню не отмечал. Тогда как раз умерла Вулька, его мать. А мне она была теща. Моя жена — Иванова сестра, — пояснил для Евы. — У него день рождения пятого ноября. Перенесем на шестое или седьмое. От его имени приглашаю вас, приезжайте с женами. Восьмого в Саковичах кирмаш. Ну, ярмарка. Дмитриев день. Вспомним детство. Медку душистого купите. На память о Беседи, о прибеседских цветущих лугах.

— Очень заманчиво. Давай съездим, Петя, — загорелась Ева.

— Да, действительно, заманчиво. Но, боюсь, не удастся, — вздохнул Сахута. — Демонстрация, торжества. Может, к восьмому и вырвусь. На кирмаш могу успеть.

— А мы будем планировать. Матка давно ждет. Одна теперь... Надо съездить, — решительно сказал Петр.

Гости и хозяева спустились на лифте вниз. «Волга» тихо урчала у подъезда, светились, будто алые маки, габаритные огни. Обнялись еще раз. Микола сел рядом с Андреем на заднее сиденье, и машина покатила в темноту ночи.

Петру хотелось побыть во дворе, подышать свежим воздухом, пожалел, что не набросил на плечи пальто. Ева потянула за руку:

— Пошли домой. Поздно уже, да и холодно. Можно простудиться.

Вдвоем они быстро убрали все со стола.

— Посуду ставь в раковину. Завтра помою. Уморилась за день. Хочется лечь.

А в постели Ева сразу потянулась к мужу. Начала нежно, осторожно целовать, словно на поцелуи и объятия покрепче у нее не было сил.

— Ты ж сказала, что уморилась. Будем спать, — отвернулся муж.

— Ай, Петя, жизнь такая короткая... Один Бог знает, что будет завтра. А милого целовать — это не камни таскать.

А за этими словами послышалось: вон какие люди гибнут, а мы пока живые, еще не старые, еще хочется ласки и нежности. Петро не мог это не почувствовать, да и нечасто в последнее время жена начинала ласки в постели. Он обнял Еву покрепче и начал целовать горячо, жадно, будто в последний раз.

V

В тот день Иван Сыродоев возвращался домой в хорошем расположении духа. Хотя на дворе был уже конец октября, днем еще было тепло: после дождей, туманов небо высветлилось, прояснилось, выглянуло низкое осеннее солнце.

В природе все мудро устроено: осенью всякая живность готовится к холодной зиме. Птицы, которым не прожить без комаров, мух, ягод и зеленой травы, улетают в теплые края — по-белорусски: у вырай. А те, что остаются, набираются сил, запасаются жирком. Так себя ведут лошади, коровы и особенно свиньи. И люди это знают издавна. Иван Сыродоев в этом убедился, когда заведовал фермой, а еще раньше ему говорила мать, малограмотная Вулька:

— Сынок, летом сколько ни давай кабану муки, сала на им не нарастеть. А увосень — и кабан поросен. Все есть, толстееть на глазах. Сало нарастаеть...

Готовится к зиме и человек, даже сам того не зная, не примечая и не думая о зиме. Просто больше хочется есть, подольше поспать…

Этой осенью Иван чувствовал себя как-то иначе, спокойно думал о своей жизни, не суетился и не волновался, когда вдруг звонило из района начальство. Первого секретаря райкома Рудака он не любил, хотя по привычке побаивался. В душе он рассуждал так: я председатель сельсовета, мой непосредственный начальник — председатель райисполкома, а он мой земляк, да еще и родич. И в председательское кресло усадил меня он, Николай Артемович Шандобыла. Значит, все нормалево, живи и радуйся.

Сильно взволновала Ивана смерть Машерова. Ни разу не пришлось встретиться с ним, но его выступления читал внимательно, любил послушать по радио и всегда думал: вот дает под хвост бюрократам, ворюгам, нерадивым начальникам. Разное говорили люди про обстоятельства смерти Машерова, Иван не сомневался: авария не случайная. Был человек, деятель, известный всему миру, и нет его... Вот и ему, Ивану, скоро пятьдесят пять. Две пятерки. Можно сказать, круглый отличник. Это еще немного, до пенсии целая пятилетка, но иногда наваливалась, как медведь, усталость, ночью болели ноги, особенно перед сменой фазы Луны, переменой погоды. Оно и не диво. Сколько походил Иван за свою жизнь! Когда началась война, все хозяйственные заботы легли на его неокрепшие плечи: косил, пахал землю, ночью пас коней.

Вспомнился летний день сорок третьего. Иван нагрузил большой воз сена, увязал его как следует, ехал домой. И тут его догнали партизаны: пятеро всадников. Молодой, усатый отматерил Ивана: почему не остановился сразу, когда скомандовали «Стой!», спросили, где живет полицай Воронин. Партизаны ранили тогда полицейского. Через несколько дней он пришел к Сыродоевым вместе со старостой, поставил Ивана к стене: «Ах ты, гад печеный! Навел на меня бандитов из леса...» И уже снял с плеч винтовку, но тут из хаты, словно квоктуха-наседка, вылетела Вулька — заслонила Ивана. Заступился и староста Куцай-Гарнец. Остался Иван жить, но спина болела долго: полицай сильно толкнул его, и он ударился об угол.

С Володькой Бравусовым, тем молодым усатым партизаном, будут вместе работать после войны в сельсовете: Иван — финансовым агентом, а Бравусов — участковым инспектором милиции. А через много лет станут сватами.

Все это будет потом. А осенью сорок третьего Ивана взяли на фронт. И ранения, и контузию — все изведал юноша. Выжил, руки-ноги целы —

сам удивлялся, что остался жить. Столько людей полегло на его глазах, потому и не верилось, что жив-здоров. Вернулся домой, избы нет, есть нечего, одежды нет. Долго ходил Иван в солдатской шинельке и галифе, пока не выдали ему, финагенту Сыродоеву, форму, темно-зеленую, с петлицами, блестящими пуговицами, фуражкой с кокардой. Правда, Ольга любила его и крепко обнимала, не обращая внимания на залатанные на коленях галифе. Но любовь любовью, а она, Ольга, уже растила сына-байстрюка от Тимоха однорукого, тот после войны всех девчат в Хатыничах перещупал, всех, чьи кавалеры не вернулись с фронта. Да и старше его Ольга на два года. Мать очень невзлюбила сынову присуху, ворчала: сучка эта зачаровала сына. Пришлось Ивану пересилить свою грешную любовь, загнать поглубже в сердце и жениться на молодой дивчине Вале, племяннице председателя сельсовета Свидерского. Пожалуй, больше всех радовалась старая Вулька: сын взял в жены честную дивчину, а не подстилку чужую, и председатель сельсовета теперь станет родичем. Будет содействовать Ивану по службе. Так оно и вышло. Валентина оказалась такой ласковой, заботливой женой, аккуратной хозяйкой и нежной матерью детей, что тропу к Ольгиной избе Иван вскоре начисто забыл.

И вот уже тридцать лет прожил он с Валентиной. Она теперь заведует фермой, а раньше работала свинаркой, дояркой, телятницей. А теперь начали болеть руки, пальцы выкручивала болезнь.

Иван Сыродоев считал себя счастливым человеком. Выжил на такой кровавой войне. Любил Ольгу, и она любила его, но семью создал с Валентиной, и живут в любви и согласии, вырастили детей, дождались внуков. Сын Николай окончил машиностроительный институт, работает на заводе в Могилеве заместителем начальника цеха, хоть совсем еще молодой. Растет у него дочурка Анжела, недавно она пошла в первый класс, именно она присвоила Ивану Егоровичу почетное звание Дедушки. Какое приятное жизненное звание!

Радует деда Ивана и внук Володька, которого родила Катя три года назад. Катя довольно долго не выходила замуж, мать уже стала беспокоиться, иногда корила дочь:

— Дочушка, сычас войны нема. Хлопцев хватает... Ета ж вон Сахутова Марина осталась девкой-вековухой, так ее ж ухажор паклав голову на войне. А ты якога принца ждешь?

— Мама, я не могу выходить замуж лишь бы за кого. Лучше вековать в девках, чем жить с пьянтосом.

Катя окончила педучилище, работала в Хатыничах в начальных классах. Мужчин в школе два человека: директор Мамута да физрук, тоже давно женатый. Да и не было времени ходить на танцы: проверяла тетради, писала планы, контрольные работы — заочно училась на филфаке университета. И все ж дождалась Катя своего счастья. На августовской конференции педагогов познакомилась с Владимиром Бравусовым, сыном участкового милиционера. Ехали вместе домой. Владимир Владимирович работал завучем в Белогорской школе, перевели его сюда недавно, жених был уже зрелый: жизненный век приближался к тридцати годам.

После знакомства молодой Бравусов частенько седлал свой мотоцикл и катил в Хатыничи. Пять верст — неблизкая дорога, если шагать пешком, а на мотоцикле — не успеешь оглянуться, колеса уже стучат по бревнам моста через Шамовский ручей. Володька усаживал на заднее сиденье Катю и сразу на выгон, в поле. На горе Маяк они поворачивали в сторону Кондрашей — круглой болотины, заросшей орешником, лозовыми и ольховыми кустами. А еще были там заросли ежевики, крупные темно-шоколадные ягоды ее необыкновенно вкусные. Конечно, молодые смаковали там не только ежевику,

потому что кончились эти поездки веселой свадьбой. Пожалуй, не меньше молодых радовались этому событию родители, особенно бывший финагент и бывший участковый — закадычные друзья. Когда Катя родила сына, она сказала отцу:

— Володя хочет назвать сына Вовой. Мол, пусть будет Владимир Владимирович. А я ему в ответ: а Иван Владимирович разве плохо? У него два дедушки: Иван и Владимир... Нахмурился и ничего не сказал.

— Пусть будет Вова. Если б дочь народилась, хвактически, твой голос решающий. Ну, а сын... Пусть отец решает. Не возражай. Сама предложи такой вариант. Зачем усложнять жизнь? Она и так сложная.

Кате понравился совет отца: она так и предложила мужу. Тот обнял ее, поцеловал. А молодая мама в душе поблагодарила отца, что не стал упрямиться, качать свои дедовские права.

А бывший финагент Сыродоев часто вспоминал своего прежнего начальника — председателя сельсовета Свидерского, его беспощадность и бескомпромиссность. Свидерский всегда стремился отрапортовать о выполнении плана поставок первым, выслужиться любой ценой. Как люди возненавидели его! После смерти Сталина перестали бояться и говорили в лицо. Ему грозил суд за рукоприкладство, начальство то ли не захотело, то ли побоялось защитить верного служаку. Доведенный до отчаяния, Свидерский зарубил топором жену, а сам повесился. Осталось шестеро детей — круглых сирот. «Ему исполнилось бы нынче семьдесят. Еще мог бы, хвактически, жить. Внучатам радоваться». Старшая дочь Свидерского Тоня жила в Партюковке в отцовской хате. Растила троих детей. Изредка летом приезжали другие дети Свидерского, но надолго никогда не задерживались: побудут два-три дня и покатили назад.

После снижения налогов, а потом и отмены их, остался Сыродоев без работы. Специального образования не имел — только семь классов, рядовым полеводом быть не захотел, да и отвык от работы — дома по хозяйству кое-что делал, а в поле надо вкалывать каждый день. Пошел на ферму подвозчиком кормов, одно лето был пастухом. А потом с помощью Долгалева назначили его заведующим фермой. Руководить ему понравилось. Правда, жена, работавшая дояркой, иногда упрекала за его начальнический тон.

— Дисциплинку надо держать. Дай вам волю, так голодные и недоенные будут коровы, — не соглашался он.

Но особенно ему понравилось быть председателем сельсовета: за надои, привесы никто не ругает, страховка, другие налоги невысокие, люди платили аккуратно, секретарь выписывала квитанции, выдавала справки, сама ставила печать, он только подписывал. Так и дожил Сыродоев до пятерочного юбилея. Отметить его хотелось на отлично, неизвестно, придется ли ему, бывшему фронтовику, праздновать круглые даты.

В деревне раньше дни рождения не отмечали, может, потому что семьи были большие, детей много, делать подарки, устраивать застолье было не за что. С детства он помнил два праздника — Великдень — Пасха и Радуница. Новый год почти не отмечали, елку не ставили, Октябрьские праздники семейными не были: их праздновали по команде сверху, особенно круглые даты — тридцатилетие, сорокалетие. Но недавний 60-летний юбилей революции отмечали в деревне без прежнего веселья, может, потому, что мало молодежи осталось в Хатыничах, а пьют сельчане в любой день, когда есть свое зелье или есть за что отовариться в магазине.

Иван Сыродоев ждал своего юбилея с особым волнением еще и потому, что земляк, председатель райисполкома Микола Шандобыла обещался быть

не только сам, но и пригласил гостей из Минска — Андрея Сахуту и Петра Моховикова. Вот если приедут, будет почет и радость бывшему финагенту. Помнит их босоногими сопливыми мальчишками, Андрейке он привез коньки-снегурки из Германии. А теперь он большой начальник в Минске — руководит исполнительной властью одного из районов столицы. Это тебе не сельский совет, другой масштаб. А лесников Петька часто выступает с экрана телевизора, его видит вся Беларусь. Вот тебе и хатынический парнишка!

Наконец, наступил знаменательный день. Если честно, то юбилей Иван перенес с пятого ноября на седьмое — выходной, праздничный день, а назавтра, восьмого, можно похмелиться, съездить на ярмарку-кирмаш в Саковичи. Зарезал Иван теленка, в колхозе выписал по себестоимости десять килограммов свинины. Валя сварила холодец, хатыньчане это блюдо ласково называют сцюдзень. Считается оно наилучшей закуской после рюмки водки.

Застолье получилось на славу, гостей полная хата. Юбиляр, взволнованный, раскрасневшийся, в новом костюме — темно-синем, в полоску, который делал его еще стройнее, выше ростом и моложе. Правда, русые кудри его заметно поредели, а на макушке просвечивала круглая плешь, которую Иван всячески маскировал: что поделаешь, как-никак уже дважды дед. Этим званием он очень гордился: не каждый дважды Герой так гордился своими звездами, как Иван внучатами. Понимал — это продолжение жизни.

Среди гостей выделялся Бравусов, хотя и был в гражданской одежде, без блестящих погон на плечах, но хатыньчане по-прежнему его побаивались, будто не могли поверить, что он уже не милицейский начальник, не имеет право составить акт, влепить штраф. Бравусовы приехали на «Москвиче», за рулем был сын Володька, законный зять Сыродоева, приехала Катя с малым сыном на руках, тоже Володей. Вообще, приехали сразу три Владимира: дед, сын и внук.

Чутким, хотя уже и немолодым ухом юбиляр прислушивался: не загудит ли машина — ждал гостей из района, а с ними, может, будет кто и из столицы. На дворе похолодало, в воздухе, словно белые мухи, кружились снежинки, но юбиляру было жарко, он частенько выглядывал на улицу, всматривался на дорогу с Шамовской стороны, но желанной машины не было. А гости тем временем глотали слюнки — таким аппетитным ароматом дышали колбасы, пальцем пханые, заманчиво подрагивал холодец, просилась в рот капуста с клюквой и тмином. Родичи собрались все, пришел председатель колхоза Данила Баханьков с женой. Можно б и начинать трапезу, но юбиляр команду не подавал.

— Что ты мучаешь людей? Пусть бы садились за стол. Приедут, так место найдется, — сердилась Валентина, но Иван не отступал.

— Целы будут. С голоду не умрут. Пять минут еще подождем, — и опять шагал на улицу. А за ним топал хромовыми сапогами со сбитыми каблуками сват Бравусов:

— Егорович, хвактически, можно начинать. Приглашал на два часа, а уже скоро три. Етот, как его?.. Кворум есть.

Пожалуй, под «етым кворумом» он имел в виду себя и своего сына — завуча школы и зятя юбиляра. Иван глянул на свои часы, будто не поверил словам Бравусова, убедился: стрелки показывали без четверти три.

— Пошли, Устинович. Будешь начинать. Опыт у тебя есть. Поруководи за столом, — сказал Иван, и это было не поручение, а просьба.

Бравусову это польстило, и он решительно взялся за дело, вместе с хозяйкой рассадил гостей, дал слово для поздравления председателю колхоза Даниле Баханькову. Тот не успел сказать и несколько слов, как на улице загу-

дела машина. Сыродоев встрепенулся, но он сидел в центре стола, выбраться непросто, и все же, когда увидел на пороге земляка-начальника Миколу Шандобылу, а за ним односельчанина из Минска Петра Моховикова, ринулся им навстречу. За молодыми гостями неторопливо шел с кием Михаил Долгалев. Он нарочно сильнее хромал, чтобы показать всем: не заходит первым только потому, что медленно шагает.

Бравусов с Валентиной приставили дополнительные табуреты — надо было втиснуть четырех человек: Петро приехал с женой. Соседям пришлось потесниться, а Нина, Данилова жена, поднялась со своего места. Она увидела Петра и поняла, что ему захочется сесть с другом детства, потому что не виделись они давно. Хозяйка взялась ее уговаривать занять свое место, однако Нина отказалась:

— От, не переживай. Пусть гости дальние усаживаются. А мы свои, я во тут присяду. Не бойся, Егорович, мимо рта чарку не пронесу, — успокоила она и юбиляра.

А тот сердито глянул на Бравусова, мол, я ж говорил пять минут подождать. Наконец, и гости дорогие аккурат подъехали.

— Прошу налить чарки, — исполнял свою роль Бравусов. — Слово уже было дано Даниле Ахремовичу, нашему председателю. А после, хвактически, всем дадим сказать...

— Ты ж по вочереди давай. Ти кали кто руку падниметь, як у школе, — воткнула свои три грошики старая Параска, Данилова мать.

Она была очень довольна, что приехали начальники из района, из Минска, но первым будет говорить ее сын, безбатькович, которого она, малограмотная Параска, вырастила, выучила и теперь он самый главный в Хатыничах.

— Хорошо, тетка Параска. Хвактически, учтем вашу пропозицию, — козырнул ученым словцом тамада.

Микола подмигнул Петру: мотай на ус, какие наши земляки.

— Дорогой дядька Иван! Про тебя, про твою нелегкую и непростую жизнь можно говорить долго. Но я не буду ето делать. Потому что все мы тебя хорошо знаем. Помним, как пришел с фронта. Как долго ходил в шинельке, другой одежды не было. Как работал финагентом, работал честно, ни разу деньги не пропил, сумку не потерял. Потом заведовал фермой, вывел ее в передовые. Теперь возглавляешь советскую власть в нашей округе. Людей уважаешь, заботишься о них. И семьей, детьми, внуками можешь гордиться. И женой своей. Какая она хозяйка — этот стол говорит лучше всяких слов, — все снова жадно посмотрели на богатый стол, но терпеливо слушали: председатель колхоза — первый человек в деревне. — Короче говоря... — Данила и сам понял, чего ждут гости. — За твои пятьдесят пять, дорогой Иван Егорович. Ты сянни — круглый выдатник. Желаю прожить еще столько!

— Большое спасибо, Данила! Аж слезу выдавили твои слова. Твои пожелания… — начал юбиляр, но жена толкнула в бок: «Помолчи, дай людям хоть горло промочить».

Застолье загудело, зазвенели бокалы, рюмки. Голоса густели, зато бутылки и тарелки пустели, на отдельном столике росло количество подарков, конверты с деньгами. Ева вначале чувствовала себя скованно: вокруг незнакомые люди, тесно, шумно. А Петро словно расцвел, все тянулись чокнуться с ним:

— Петрок Захарович, ты наша знаменитость. Вся Беларусь на тебя смотрит. Дай Боже тебе здоровьечка, — слышались голоса со всех сторон.

Конечно, чокались и с Евой. Она пригубливала чарку и ставила на стол. Это заприметила хозяйка Валентина.

— Дорогая гостейка, что ета ты гребуешь нашей горелицей? Она ж приятная, мягкая. Выпейте с дороги. Так и закусь будет вкуснее. Давайте за знакомство...

— Все и так вкусно. Спасибо вам. Не обращайте на меня внимания. Хотя за знакомство можно выпить.

— Обязательно! — поддержал Петро.— А то юбиляр обидится.

— А почему мы одни? Наливайте все. Тогда разом с народом и мы, — весело ответила Ева.

Бравусов оценил ситуацию: значит, пришло время дать слово минскому гостю, районное начальство уже высказалось.

— Тише, людцы добрые! Наливайте стыканы. Сычас будет говорить наш земляк Петро Захарович. А то мы слышим и видим его в телевизоре. С экрана он, хвактически, говорит на всю Беларусь. А тут он скажеть тольки для нас. Кали ласка, Петро, даю табе слово, — объявил Бравусов.

Распаренный от волнения и водки, тамада уже снял пиджак и галстук, остался в голубой, изрядно полинявшей форменной рубашке, на плечах ее еще были заметны темные следы капитанских погон.

Петро поднялся с рюмкой в руке, обвел взглядом притихшее застолье, увидел, как насторожился Матвей Сахута: приставил ладонь козырьком к уху, надеясь что-то услышать о сыне, — в душе он очень жалел, что Андрей не приехал, и Катерина сидела грустная. Петро это понял, но повернулся к юбиляру:

— Дорогой дядька Иван! Ты не просто круглый отличник, как здесь уже говорили, ты великий жизнелюб, неутомимый труженик. Не поленился собрать нас. А тетка Валя столько всего наготовила...

— Так она ж не одна! И мы пособляли, — снова подала голос Параска.

— И вам спасибо, тетка Параска. Если б не позвал нас Иван Егорович, мы б и сидели, как кроты, в своих квартирах. А так и Николай Артемович отложил все дела... И Андрей Матвеевич Сахута очень хотел приехать. Но его недавно избрали первым секретарем райкома партии. У нас, в Минске. Не смог вырваться...

— О, какие у нас люди! — поднял вверх руку с вилкой, на которую нацепил колечко колбасы, Бравусов. — Во, кадры растуть! Хвактически, молодцы хатыньчане!

Тамара, его жена, до этого сидевшая молча, дернула мужа за рукав:

— Дос тебе болботать! Дай человеку сказать.

Но в защиту тамады выступил Микола Шандобыла:

— Он имеет право. При исполнении. Но давайте послушаем Петра Захаровича, — серьезно сказал он.

Все притихли, непривычная тишина повисла над столом.

— Дорогой Иван Егорович! Много пожеланий высказали тебе. Трудно что-нибудь добавить. Потому я присоединяюсь ко всему сказанному. Еще раз пожелаю крепкого здоровья. Чтобы счастливо жилося, чтобы в хате все велося. Чтобы в горохе были колосья, а в ячмене стручья...

Все дружно засмеялись, а Параска и здесь выдала свой комментарий:

— Ой, Петрок Захарович, ты пожелай етого всем нам. Всему колхозу. Чтоб у ячмени стрючче попадалось, — прикрывая ладонью беззубый рот, не утихала Параска.

— Ну и последнее пожелание. Чтобы дед Иван не знал беды, а внуки — муки. Твое здоровье, Иван Егорович! — Петро одним духом осушил рюмку.

— Больше не пей, — тихо прошептала Ева. — А то сердце заболит.

Петро согласно кивнул, ласково обнял жену за плечи и поцеловал. Ева еще больше покраснела, застеснялась, но ей было приятно, она чувствовала, что это не показная ласка, а от души. Петро действительно любил Еву все крепче, он радовался, что она захотела поехать в его родную деревню.

Тем временем Костя Воронин растянул меха гармошки, сам именинник взял бубен-барабан, встряхнул его, бубен отозвался звоном всех своих прибамбасов. Женщины дружно сыпанули в танцы. И первой была Ксеня, гармонистова жена, красивая, стройная, ясноглазая. Она пригласила своего старшего брата Миколу. Петро залюбовался этой парой. Захотелось рассказать Еве, что Ксеня родилась летом сорок третьего, а осенью деревню сожгли отступавшие немцы, что этот русоволосый плечистый мужчина с гармошкой — сын полицейского. Был лучшим трактористом в колхозе, а теперь бригадир механизаторов.

Танец окончился. Микола, обняв Ксеню, подошел с ней к гармонисту.

— Костя, дай-ка вспомнить молодость. А ты со своей женой потанцуй.

Микола любил свою младшую сестру, переживал, что у нее нет детей.

— О, дорогой Артемович! Я никогда не забуду те вечеринки, когда ты играл в клубе, — воскликнул взволнованный Иван Сыродоев. — Сыграй-ка полечку. Валюша, иди сюда. Лучшей партнерши, чем жена, в Хатыничах нет.

Иван оглянулся, ища, кому бы передать бубен, и услышал голос Петра:

— Егорович, дай я попробую. Когда-то любил барабанить...

И вот они уселись рядом: председатель райисполкома и тележурналист — дети наполовину сожженной деревни, дети малограмотных родителей, дети Прибеседского края.

Микола пробежал пальцами сверху вниз, будто вспоминал, где какая клавиша-пуговица, на своем ли она месте. А Петро тряхнул бубном, и он залился звоном. Иван, именинник, и Валя ждали музыки. И вот послышались сначала робкие, тихие аккорды.

— Веселее, Артемович! — озорно крикнул Иван, лихо топнул, закружил партнершу.

Не усидел и большой любитель танцев Владимир Бравусов, но пригласил не жену, а Ксеню. Больше никто не рискнул выйти в круг, да и места было маловато, а полька требует простора для полета. Это не современная толкотня, когда на пятачке танцуют, точнее — толкутся, словно комары весенним вечером, парни и девчата.

Петро очень жалел, что нет Андрея. А если бы еще Павел, друг детства, приехал — был бы праздник для души. Под звон бубна его душа молодела, будто пела. Он радовался, что не сломался, когда комиссовали из армии, не сложил крылья, когда развалилась семья. Теперь все идет на лад. И в деревне он увидел несколько новых пятистенок — значит, Хатыничи молодеют.

Когда окончился танец, взволнованный, обрадованный Долгалев, который раньше мало говорил, громко крикнул:

— Молодцы, земляки! Дороженькие мои, умеете вы работать. Умеете и веселиться. Знаю, что и воровать умеете, — улыбнулся он. Потом тихим голосом подозвал к себе Миколу и Петра, решительно взялся за горлышко бутылки.

— Касьянович, извини, — отказался Микола. — Завтра ехать рано.

Петро поднял полную рюмку, но увидев настороженный взгляд Евы, чокнулся и только пригубил горького зелья. Долгалев не стал уговаривать пить до дна, ему хотелось поговорить с минским гостем.

— Если б ты знал, дороженький Петро Захарович, как я радовался, когда увидел тебя на экране! Ну, думаю, молодцы хатыньчане. Где их только нет!

Павел Радченко — полковник уже. Минувшим летом приезжал. Мы с ним виделись. Микола возглавляет советскую власть в районе. Андрей Сахута — первый секретарь райкома в Минске. Глядишь, и в ЦК будет. От, переживал я, браток, как Машеров погиб. Как это могло случиться? Куда охрана смотрела? Такого человека не уберегли! Пошла чутка, что в Москву его хотели забрать. Это правда?

— Такие разговоры были. Насколько это правда, не знаю. Думаю, он там был бы на месте.

— А то поставили премьером еще одного деда. Тихонову — семьдесят пять! Какой он руководитель правительства! Из него песок сыплется, — Долгалев понизил голос. — А Горбачев — выскочка комсомольский, уже член Политбюро. Машеров пятнадцать лет ходил в кандидатах. Брежнев боялся переводить его в члены. Чтобы не спихнул с кресла. Петра Мироновича в России люди любили. И на Кубе, и в Китае. И во всем мире... Не могу успокоиться до сих пор.

Петро почувствовал, как дрогнул голос собеседника, увидел, что тот готов заплакать, начал утешать:

— Такова судьба человека, Касьянович. Мог в партизанах погибнуть...

— Твоя правда, Петро, — вздохнул Долгалев. — И я мог бы уже давно загнуться... Давай допьем рюмки. И больше не будем. Пойду к сестре. Переночую. А завтра поедем на кирмаш. Ты не передумал?

К разговору прислушивалась Ева, услышав про кирмаш, кивнула, мол, не отказывайся.

— Поедем. Я там давно не был. А жена никогда не ездила в Саковичи.

Михаил Долгалев поблагодарил хозяев, еще раз поздравил юбиляра и, тяжело опираясь на кий, шагнул за порог.

Петро и Ева шли по темной улице: на ночлег пригласила тетя. Светились окна изб — провели в Хатыничи электричество от линии высокого напряжения, а та электростанция, которую когда-то построили на Беседи, давно закрыта, вода размыла плотину, поржавевшую турбину отправили на металлолом. Петру хотелось рассказать Еве о той радости, когда вспыхнули в деревенских избах электрические лампочки, но чувства, эмоции переполняли его душу, и не было слов, чтобы выразить их. И потому он молча шагал, поддерживая под руку Еву. Голова кружилась от усталости, от застолья, от выпитого, услышанного и сказанного самим, но на душе было чувство умиротворения, гармонии, дышалось легко, как в детстве.

— Какая тишина! Ни машины, ни человека, — удивлялась Ева. — Но окна светятся. Значит, люди живут.

— Когда ехали, я увидел несколько новых домов. Хатыничи молодеют. Новая ферма. Есть магазин, клуб, библиотека. Школа-восьмилетка. А главное — Беседь. Криничная вода течет, как и тысячи лет назад. Завтра после кирмаша сходим на реку.

Ева не возражала, только крепче прижалась к мужу, которого все больше понимала, уважала и любила.

Дмитровская ярмарка-кирмаш удивила Еву голосистым, веселым, кипящим морем людей, разлившимся на широкой площади перед старым, запущенным, однако все равно величественным православным храмом. На углах высоких ворот выросли две березки, а сбоку блестела табличка: памятник архитектуры, охраняется государством.

Петро и Ева ходили отдельно от земляков-хатыньчан. Миколу встретили представители местной власти: коренастый, краснолицый председатель колхоза и высокий узкоплечий секретарь сельсовета — председатель был в

отпуске. Повели с собой и Долгалева, уговаривали и Петра, но он отказался. К начальству прилипли, будто к магниту гвозди или металлическая стружка, и вот солидной толпой руководящая элита прошла через всю площадь до серого здания, над которым бился на ветру красно-зеленый флаг Беларуси.

Улицы, ведущие на площадь, были заставлены возами, на которых визжали в ящиках поросята, мычали привязанные к телегам коровы, телята, кукарекали на возах петухи, кудахтали куры. Ева впервые в жизни видела такой богатый деревенский кирмаш. Она сказала об этом мужу.

— Это что! Если бы ты побыла здесь на Илью! Второго августа. Тогда людей бывает намного больше. Музыка, песни, танцы. Машин полно. С Брянщины, с Черниговщины, с Гомельщины. А теперь уже холодно. День короткий, на дорогах — лужины, грязюка. Осенью — это кирмаш всякой живности. Тут самые дешевые поросята. Мой отец когда-то их покупал здесь. Обычно — двух, кабанчика и свиночку. Вдвоем лучше едят и растут.

Кроме живности много было яблок и меду. Яблоки, в основном, антоновские — крупные, восково-желтые, словно налитые невыразимо ароматным, приятным соком. Худощавый лысоватый дедок с каким-то просветленным лицом и ясными глазами продавал мед. Он намазывал ножом на клочок бумаги в школьную клетку — видимо, из внуковой тетради, — янтарный мед и каждому говорил:

— Людцы добрые, угощайтесь медком. Вкуснее, чем наш, саковичский медок, нигде в мире нет.

— Вот это реклама! — воскликнула Ева. — Давай попробуем.

Дедок с радостью подал на бумажке, словно на блюдце, ломтик золотисто-янтарного меда. Ева осторожно лизнула раз, потом еще:

— О, какая вкуснота! Петя, такого я никогда не пробовала...

Дедок от такой похвалы заулыбался на весь беззубый рот:

— Вот, если женщина разбирается, так сразу оценила...

Купили литровую банку меда, дедок поставил на весы, чтобы доказать: в банке кило четыреста граммов меда. Ева заплатила десять рублей — за два с половиной килограмма. Старик светился от радости.

Разговор слышали подвыпившие молодые парни. Старший из них, рослый, с рыжим чубом, взял бумажку с медом, лизнул, поморщился, ухмыльнулся:

— Дед, дужа дорогей твой мед. Дороже, чымся горелка. Дык жа меду сколько зъяси? Одну ложку. А горелки за десять рубликов — две поллитрухи. Можно разгуляться!

Продавец меда покраснел от обиды: как можно сравнивать его мед с вонючей горелкой?

— Идите отсюда, чтоб мои глаза вас не видели! Пьянтосы вы такие!

Подвыпившие люди попадались на каждом шагу, но песен никто не пел, не слышно было музыки. И Петру стало грустно: водка превыше всего, и что же будет дальше? Они подходили уже к машине, когда увидели деда, который продавал корзины, самые разные: большие, пудовые, с такими удобно копать картофель, поменьше — ходить за грибами, еще меньше из разноцветной лозы. Малые корзинки понравились Еве. Захотела купить.

— Далеко везти, — пробовал отговорить ее Петро.

— Нет, надо взять. В ягоды ходить в самый раз.

Петро не стал спорить. Кирмаш гудел, где-то послышалась гармонь, но некоторые покупатели уже запрягали коней, аккуратно сгребали натресенное сено, укладывали его на воз, поправляли завязанные мешки, в которых жалобно визжали поросятки.

Вскоре вернулся Микола, вслед за ним ковылял Долгалев. Местной руководящей свиты уже не было. Михаил Касьянович раскрасневшийся, веселый, а Микола серьезный, хмурый, видимо, жалел, что приехал без водителя, не мог похмелиться: надо было думать о дороге домой.

— Ох, какую вы корзинку приобрели! И медку взяли. Мед в наших краях отменный. Раз корзинка есть, так и яиц надо купить. И курочку с певником заодно. Живности здесь полно, — весело говорил Михаил Касьянович.

Сели в машину. Долгалев устроился на переднем сиденье рядом с Миколой, но его так и тянуло на задушевный разговор, он повернулся всем корпусом к Петру и Еве.

— Расскажу вам анекдот про петуха. Слушайте, дороженькие. Значит, продает цыган певня. Кричит: «Хороший, жирный петушок, за пятнадцать рублей отдаю!» Подошли две дамочки, спрашивают: «А он курочек топчет?» — «Что вы? Он у меня культурный, антилегентный». — «Так на хрена он такой нужен?» — повернулись и ушли. Продавец понял, что к чему, давай кричать: «Продается петух! Отличный топтун! Куру топчет. Утку топчет. Гусыню топчет. Вчера овечку потоптал». Народ собрался. Голоса со всех сторон: «Что ж ты такого героя продаешь?» — «Понимаете, на жену посматривать стал...»

Все дружно засмеялись. И, пожалуй, громче всех Ева, такой соленый и в то же время вполне приличный анекдот она услышала впервые.

Никто тогда не мог и подумать, не мог увидеть даже в страшном сне, что через каких-то пять лет этот красивейший прибеседский край накроет черным, смертоносным крылом Чернобыль.

Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.

4 ноября. Москва. Летчики-космонавты СССР Леонид Попов и Валерий Рюмин завершили самый продолжительный в истории человечества 185-суточный космический полет.

5 ноября. Нью-Йорк. На президентских выборах, которые прошли 4 ноября в США, победу одержал кандидат от республиканской партии Рональд Рейган.

18 ноября. Витебск. Здесь состоялось торжественное открытие бюста П. М. Машерову.

29 ноября. Токио. Ярким выступлением белорусских артистов в Токио закончились Дни Белорусской ССР в Японии.

VI

Уже месяц обживал Андрей Сахута кабинет первого секретаря райкома партии. Правда, сидеть в кабинете подолгу не приходилось. То отчетно-выборные партконференции на заводах, то единый политический день, то вызывали в обком, а то и в ЦК. Да и началась его новая деятельность после собеседования в Центральном Комитете. Андрей очень волновался: кто знает, о чем может спросить Тихон Киселев, занявший кресло Машерова, — прислали из Москвы, точнее, вернули его назад в Минск. Сахута никогда не встречался с ним раньше. В горкоме успокоили: все уже решено, это просто визит к партийному лидеру для знакомства.

Андрею Сахуте приходилось бывать в строгом и красивом здании ЦК с множеством окон из цельных листов стекла, но порог кабинета первого секретаря еще не переступал.

Невольно вспомнил свой приезд из Лобановки в Минск на утверждение, как тогда называлось, к первому секретарю ЦК комсомола. Это было туманным осенним утром. На Центральной площади вокруг заплаты из свежей брусчатки толпились люди: здесь стоял памятник Сталину, за ночь его убрали, будто корова языком слизала. Андрей удивился, что все так хорошо помнится, хотя пролетело с тех пор почти двадцать лет.

Если вспоминать детально, подробно, то в жизни Андрея тогда случилось много событий: избрали первым секретарем райкома комсомола, сыграли с Адой свадьбу, стал отцом — родилась дочка. Потом была областная ступенька карьеры, затем высшая партийная школа, работа в Минске, сначала заместителем председателя райисполкома, потом руководителем целого района в центре столицы. И вот теперь он будет первым человеком в этом районе.

Андрей почувствовал приятное волнение в душе. Нет, он не был завзятым карьеристом. Он знал комсомольских петушков, быстро растущих, заносчивых — без фиги не до носа, циничных бабников, они активно «портили» красивых и наивных комсомольских активисток, добивались любви замужних секретарш, а которая не уступала, вынуждена была искать новую работу. Но и Андрей тоже успел изведать вкус власти, особенно на должности председателя райисполкома: и заместители, и заведующие отделами буквально смотрели ему в рот. А как старались понравиться подчиненные женщины! Был у него и короткий служебный роман: женщина, подчиненная, одна растила сына. Но не он добивался ее любви. Она сделала первый шаг: сын уехал в пионерский лагерь, Андреева семья жила на даче, женщина пригласила в гости...

И все же Андрею иногда хотелось оставить председательский кабинет с множеством телефонов и удрать в лес, ибо эти телефоны так часто приносили нерадостные вести, требовали неотложных решений, врывались в его жизнь, забирали от семьи, жены и детей. И даже в выходные дни он себе не принадлежал: вдруг где-то вспыхнет пожар, случится серьезная авария, подведет теплотрасса или канализация...

Собеседование было назначено на семнадцать часов. За пять минут до этого заместитель заведующего орготделом ЦК Семен Трофимович привел Сахуту в приемную первого секретаря.

— Заходите, Тихон Яковлевич вас ждет, — коротко сказала секретарь.

Семен Трофимович, коренастый, присадистый, серебристая грива седых волос, глянул на Андрея, украдкой подмигнул, мол, не боись, сам подтянулся, кашлянул в кулак, открыл дверь и пропустил вперед Андрея. Слыша, как тахкает в груди сердце, Андрей ступил на мягкий толстый ковер огромного, ярко освещенного кабинета. Первое, что ему бросилось в глаза, — матово-белая лысина человека в черном костюме, белой рубахе и темном галстуке, сидевшего за большим столом.

— Добрый день, Тихон Яковлевич! — негромко сказал Сахута.

Он почувствовал, что во рту пересохло. Вслед за ним, немного в сторонке, топал Семен Трофимович.

— Здравствуйте, Андрей Матвеевич! — Киселев поднялся, скупо улыбнулся, подал мягкую прохладную руку. — Прошу, садитесь, — показал жестом на кресло возле приставного столика.

Много слышал Андрей о том, как с доброжелательной улыбкой встречал посетителей Машеров, всегда выходил из-за стола, мог и обнять по-дружески молодого товарища по партии. Здесь же были вежливая улыбка и холодное рукопожатие усталого человека. Плечистый, крупные черты лица, высокий лоб. Тихон Киселев словно был создан природой именно для такого кабинета.

Всем видом он показывал, что чувствует себя здесь уверенно, что именно его давно ожидало это кресло.

— Ну что, Андрей Матвеевич, будем работать? — то ли спросил, то ли утвердил Киселев, когда посетитель уселся.

По логике напрашивался вопрос-ответ: «А разве я до этого не работал?»

— Буду стараться оправдать доверие партии, — с волнением молвил Сахута.

— Я не буду говорить громких, пафосных слов, какие очень любил мой предшественник. — При этих словах Семен Трофимович кивнул седой гривой, угодливо улыбнулся, дескать, это правда. Выдавил скупую улыбку и Сахута. — Район вы знаете, людей — тоже. Значит, без раскачки, закатывайте рукава и за дело. Конечно, район имеет свои особенности. Тут и заводы, государственные учреждения, и театр. И Союз художников, и композиторы. Весь комплекс городской жизни. Есть и республиканские министерства. Надо совершенствовать стиль их работы. Избавляться от бюрократизма, повышать контроль за исполнением директив... Не забывать об укреплении дисциплины, — Тихон Яковлевич передохнул, глянул в окно, где тускло светились фонари. — Ну, а в центре внимания — заводские коллективы... Деятельность партийных комитетов. Через них вы можете влиять на массы... Все решают люди. Надо воспитывать деловитость, ответственность, научный подход. Вы понимаете ситуацию. Вскоре наш съезд. Потом съезд в Москве. Нужны и трудовые подарки, и ударная вахта. И все это должно быть не на бумаге, а на деле.

— Тихон Яковлевич, если позволите, один факт, — осторожным баском начал Семен Трофимович. — Летом 1976-го Леонид Ильич приехал вручать Звезду Героя нашему Минску... — Услышав имя генсека, Киселев широко, радостно заулыбался, даже посветлел лицом. — Так вот, в ресторане «Журавинка» готовился грандиозный банкет. Везде навели блеск. Комиссия делала осмотр. И видит — что такое? На всех блестящих тарелках серый тополиный пух. Возле ресторана огромный тополь, белый от пуха. Он в окна и летел. Что делать? Одни говорят: спилить, убрать. А тут рабочий день кончается. Спилить такое дерево — много забот. И тогда Андрей Матвеевич нашел выход. Посоветовал вызвать пожарную машину. Из брандспойта обмыли тополь, и весь пух как корова языком слизала...

— Находчивость никогда не вредит, — Киселев еще раз улыбнулся и круто повернул беседу в другое русло. — Как ваши семейные дела? Какие есть проблемы?

Андрей начал рассказывать о семье, но Тихон Яковлевич перебил, мол, я все знаю, спрашиваю ради приличия, чтоб показать: я не бюрократ, интересуюсь не только партийной деятельностью, но вникаю в обычные, человеческие дела.

Длилось собеседование около получаса. Наконец Киселев подал Сахуте широкую ладонь, которая говорила о его крестьянском происхождении, но была мягкая, холодноватая — давно не держала она ни топора, ни косы, ни других инструментов деревенского быта. В коридоре Семен Трофимович тихо, почти шепотом, будто и стен боялся, сказал:

— Умный, толковый, но злой человек. И тут уел Петра Мироновича. Не может простить, что он обскакал его. Киселев старше его на год. И в карьере шел впереди. Когда Мазурова взяли в Москву, Киселев как Председатель Совмина претендовал на кресло первого. На Бюро ЦК голоса поделились: половина за Машерова, половина за Киселева. Вот, братец, какая арифмети-

ка. — Они спускались по лестнице, застланной толстым ковром, с пятого на второй этаж, где был кабинет Семена Трофимовича. — Все решил один голос Василя Козлова. Он приболел, на заседании не был. Поехали к нему домой, объяснили ситуацию. Он сказал: я за Машерова.

В своем кабинете Семен Трофимович будто сбросил с плеч груз, встрепенулся, снял пиджак. Достал из сейфа начатую бутылку коньяка.

— Ну что, день кончился. Хотя, бывает, я сижу и до десяти. Кстати, Машеров тоже иногда сидел поздно. А Киселев в шесть ноль-ноль едет домой. Так что, по двенадцать капель? Иногда стоит. Для искристости. Чтоб глаза веселей смотрели на мир и людей. А тебе чтоб хорошо работалось, — Семен Трофимович перешел на «ты». — И чтобы здоровье не подводило. Когда здоров, так семь панов, а как занемог, так один Бог. Ну, будьмо!

...В кабинет тихо вошла секретарь, сказала, что водитель с машиной ждет внизу. Андрей глянул на часы, начал одеваться: запланировал на конец дня поездку по району.

Такие поездки он совершал обычно в пятницу в конце рабочего дня или в субботу. Сегодня Андрей Сахута приказал водителю ехать на окраину города, где строился новый микрорайон. Некоторые дома уже заселялись, ярко светились окна — занавески еще не успели повесить, окна, словно широко раскрытые глаза, всматривались вдаль. На автобусной остановке, еще не оборудованной крышей от дождя, стояли люди.

Вечная проблема — городской транспорт, подумал он, сочувствуя людям, стоявшим на ветру. Городские власти прежде всего заботятся, чтобы привезти на работу и с работы. А если надо в центр, в театр, в гости, на вокзал, придется постоять.

На последнем этаже нового дома работали строители. В лучах прожектора светилась стрела высотного крана, на конце стрелы, похожей на хобот громадного слона, будто плыл пакет строительных материалов. Ох, нелегкое дело возводить дома! А если заехать к ним? Начнут жаловаться, а то и пошлют подальше, чтобы не мешал работать, добывать свой трудный хлеб.

Проехали перекресток. К нему примыкала неширокая улица, давно застроенная частными домиками. Оттуда бежал ручей, дымился пар, как туман над рекой.

— Где-то прорвало трубу. Повернем на эту улицу, — сказал Сахута.

Метров за сто от перекрестка над люком копошились двое мужчин, третий стоял поодаль. Сахута вышел, поздоровался.

— Что случилось?

— Да вот, трубу прорвало, — неохотно ответил мужчина, стоявший поодаль.

Андрей назвал себя, человек оказался инженером управления коммунального хозяйства. Рабочие не обратили внимания на нового партийного лидера района.

— Хозяйство добито до ручки. В городе около пятнадцати километров старых труб. Ремонтируем в год метров четыреста-пятьсот.

— Выходит, нам понадобится тридцать лет, чтоб отремонтировать все?

— А за это время еще больше труб выйдет из строя. Гарантийный срок двадцать лет. Это бег на месте.

Андрей Сахута об этом знал. Канализационное хозяйство — его головная боль на должности председателя райисполкома.

— Где же выход? Что можно посоветовать?

— Одна наша служба не может справиться, — рассуждал инженер. — Надо подключать заводы, военных. Делать толокой, вместе. Вода и тепло нужны всем. Надо менять в год три, а то и четыре километра труб. Это в масштабах города. Тогда за пятилетку можно навести порядок.

По дороге назад не выходило из головы услышанное. Почему же городские руководители не бьют в колокола? Почему ждут катастрофы?

Машина катилась по широкой Парковой магистрали. Возле Дворца спорта, который вырос недавно, сверкала огнями новогодняя елка, через улицу поблескивали гирлянды-баннеры.

— Давай проедем по проспекту, — предложил Андрей водителю.

Праздничной иллюминации на Ленинском проспекте было еще больше, и машины шли потоком: «Жигули», «Волги», «Москвичи». Жизнь главной столичной улицы и вечером не затихала.

Настроение Сахуты улучшилось, на душе посветлело. Проспект, ярко освещенные дома, гирлянды-баннеры через улицу показались фантастической, сказочной просекой, которую обступают высокие, украшенные ели, пышные липы. Поймал себя на мысли, что плохо знает историю Минска, хотя и начал ей интересоваться, как только сел в кресло зампредседателя райисполкома. Ему, сельчанину, хотелось знать, как жил город сто, двести, триста лет тому назад. Каким он был тогда, что беспокоило его жителей? Как им жилось?

Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1980 г.

5 декабря. Варшава. Газеты опубликовали призыв ЦК ПАРП к народу, в котором отмечается, что ПНР находится в фазе острого политического кризиса.

10 декабря. Минск. Состоялось собрание общественности города, посвященное Дню прав человека. С докладом выступил народный художник СССР Михаил Савицкий.

21 декабря. Гавана. Торжественное закрытие II съезда Компартии Кубы прошло на грандиозном всенародном митинге на площади Революции.

VII

Первые дни января выдались на удивление мягкими: два-три градуса мороз ночью, а днем около ноля. Петр Евдокимович Мамута по давней привычке утром первым делом смотрел за окно на термометр. В комнате еще было темно, щелкнул выключателем, нацепил очки, приблизился к окну — красный столбик ртути опустился ниже ноля и застыл на черте десять.

«Ага, спохватилась зима. Берется морозик. Еще всего будет...» — Он снял очки, сладко потянулся, в голове мелькнула приятная мысль: хорошее дело — каникулы, особенно зимние, ни косить, ни сено сушить. А на Коляды вообще время веселое — выпить да закусить, да жену перекатить, тем более, ночи длинные. Но вдруг он вспомнил, что сегодня должен выступать в клубе перед кинофильмом. И говорить надо о вреде религиозных обрядов, о том, что религия — опиум для народа.

В школу Петр Евдокимович шагал неторопливо, степенным пенсионерским шагом. Белый чистый снег мягко поскрипывал под валенками в галошах, в такой обувке можно ходить и в оттепель. В молодые годы он и зимой форсил в хромовых сапогах. Полинявший синий китель и такого же цвета галифе — это была его любимая форма. Районные руководители вместо

валенок носили форсистые бурки, галифе и кители цвета хаки. Не брезговали такой формой и министры, и высокие партийные функционеры, вплоть до самого «отца всех народов».

В последние годы начали болеть ноги, даже в небольшой мороз мерзли пятки. Если бы не баня с березовым веником, не пчелы и медок, пожалуй, и ходить бы уже не мог, а так помалу топал. Икнулись, видимо, послевоенные годы, когда в холодном классе работал по две смены — учил детей-переростков. А на ногах не валенки, а старенькие хромовые сапоги, которые помогла ему справить Дарья Азарова, тогдашний секретарь райкома по идеологии. Мамута долго носил те сапоги, не раз добрым словом вспоминал Азарову, даже после того, как за грешную любовь с хатыничским председателем колхоза Макаром Казакевичем выперли ее из райкома, назначили директором школы. Нет уже Казакевича, «отшкандыбал» свой жизненный путь на одной ноге бывший фронтовик, на пенсии уже Дарья Азарова.

Мамута протопал по мосту через Кончанский ручей, который не замерзал даже в сильные морозы, и в это утро над журчащей криничной водой дымилось редкое облачко пара. Невольно подумалось: тридцать восемь лет с хвостиком работает он в Хатыничах — с первого ноября сорок третьего да плюс четыре года до войны. Пожалуй, надо закругляться. Займусь пчелами, ну, историю могу вести, а директорство надо оставлять. Замена есть — Люба Ровнягина справится.

Вскоре Петр Евдокимович был в своем катушку-кабинете. Разделся, провел ладонью по лысине, пригладил редкие волосы над ушами. В школе было тихо, только в учительской слышались голоса. Это его обрадовало: значит, подчиненные хорошо усвоили, что каникулы для учеников, а не для педагогов. Зашел, поздоровался. В учительской были завуч Любовь Дмитриевна Ровнягина, Анна Никитична, с которой начал работать в сорок третьем, учитель физкультуры, молодая преподавательница математики, приехавшая в Хатыничи минувшим летом, пионервожатая Мария, внучка однорукого Тимоха Емельянова.

— Петр Евдокимович, вы ж сянни выступаете. Кинщик спрашивал, сколько времени вы будете говорить? — сказала Мария.

— Сколько надо, столько и буду... Пусть не переживает. Хватит ему времени и на танцы, — улыбнулся Мамута.

— А какая тема у вас, Петр Евдокимович? — взглянула на него из-под очков Анна Никитична.

— Тема актуальная. Борьба с религией. Коляды же начинаются.

— Ой, так ето ж сянни Кутья! Надо итти варить...

— Ну, Анна Никитична, кутью ты можешь варить. Но не обязательно про ето всем говорить, — пожурил Мамута.

— Так тут же все свои. Издавна в Хатыничах праздновали Рождество. И люди про ето не забылись. Хотя и церкви у нас нет.

Признание учительницы, что будет варить кутью, Мамуту не удивило — его Татьяна тоже всегда готовит, — а слова «тут же все свои» были как медом по душе. Уже много лет школа жила дружной семьей.

— Мария Ивановна, принеси, пожалуйста, свежие газеты. Надо же готовиться к выступлению. А вы можете долго не сидеть. Я буду на месте. Ежели кто позвонит из района...

— Значит, отпускаете готовить кутью? — озорные карие глаза Анны Никитичны глянули из-под очков.

— Отпускаю. Но в клубе чтоб все были.

— Будем, Петр Евдокимович, — за всех ответила завуч Ровнягина.

С противоречивыми думами Мамута просматривал газеты в поисках статей об атеизме. Страницы пестрели крупными заголовками, призывающими заступить на трудовую вахту, готовить трудовые подарки съезду партии. Но по своей теме Петр Евдокимович ничего не находил. Даже в статье, адресованной организаторам единых политдней, про атеизм не было ни слова. Еще раз прочитал статью. Речь шла в ней о единстве партии и народа, о величественной программе коммунистического строительства.

«Величественная программа, — иронически улыбнулся в душе учитель. — Мы уже должны жить при коммунизме. Восемьдесят первый год начался. Больше двадцати лет прошло после обещаний, а до коммунизма, как до неба. Он будто отдаляется, как горизонт. Все величие на бумаге...»

«Скажу о новой пятилетке, о Космосе... Ну, и про колхозные дела. Про зимовку на фермах, что и в Коляды надо работать, а не только пить да гулять, — рассуждал Мамута, набрасывая тезисы. — Хоть я и не генсек, а в шпаргалку могу заглянуть. Уже не та память, как раньше».

Послышался стук в дверь, она тихо отворилась — на пороге стояла раскрасневшаяся, в расстегнутой плюшевке Нина Воронина. Узнать в ней былую школьницу-тихоню с ласточкиными веснушками, с тонкими косицами было невозможно. Нина была очень старательной ученицей, да и как иначе: днем и ночью помнила — она дочь полицейского, удравшего с немцами, его ненавидит вся деревня. А теперь Нина, располневшая, грудастая, дебелая женщина, жена председателя колхоза, мать троих детей, заведующая школьной столовой. Перед Новым годом комиссия из районо признала столовую Хатыничской восьмилетки одной из лучших в районе.

— Что, Нина Степановна, какие у тебя проблемы? Кутью пришла варить? — неожиданно для себя самого пошутил Мамута.

— А что? Я умею... Если правду сказать, то я приглашаю вас на обед. Женщины ждуть. Ну и просять вас...

— Какой обед? — не мог понять Мамута.

— Ну, как вам сказать... Была в магазине. Взяла поллитровку. И что-то потянуло меня в школу. Хотя и каникулы теперь. Дай, думаю, посмотрю, как холодильник работает? Может, отключился... И еще, Петр Евдокимович, письмо от батьки получила. С Аргентины. Ну, Ганна Микитовна кажеть... Ну, чтоб троху отметить. Все готово. Стол накрытый. Кали ласка, пойдем.

— Так что, будем отмечать? — Мамута от неожиданности не мог принять решение: как ему поступить, идти на неожиданный обед или нет.

Нина почувствовала сомнения директора и с еще большей настойчивостью уговаривала его:

— Петр Евдокимович, дороженький, за Коляды ж по капле надо взять. Сколько той жизни? Ну, мы ждем...

Нина робко повернулась, постояла у порога, медленно пошла по коридору, словно ждала Мамуту, чтобы вместе пойти в столовую, будто сомневалась, что он придет. Пообедать вместе — ее идея, и на то была еще одна причина, в которой она не призналась никому.

— Вот тебе и агитация, и пропаганда, — с грустью вздохнул Петр Евдокимович. Открыл шкаф, на его дверце изнутри крепилось небольшое зеркало. — Придется пить за здоровье бывшего полицая. И за Коляды. В жизни все куда сложнее, чем пишут в газетах. Вот так, братец. Хотя пенсионер ты молодой, а с виду уже старый хрыч.

Мамута разглядывал себя в зеркале: белая лысина, пепельно-серые волосы над ушами, усталые глаза, старческая, сморщенная шея, лишь острый кадык почти не изменился — настойчиво выпирал из-под воротника рубахи.

Права Нина: сколько той жизни! Так быстро летят дни, месяцы, годы. Почему не пообедать с коллегами? Почему не выпить рюмку за любимые народом Коляды? Недавно он читал рубаи Омара Хайяма, врезалось в память одно:

«Кто понял жизнь, тот больше не спешит. / Смакует каждый миг и наблюдает. / Как спит ребенок, молится старик, / Как дождь идет и как снежинка тает».

Торопиться домой ему не хотелось. На то имелась причина. Минувшей осенью он как-то поругался с Татьяной. Были осенние каникулы, Октябрьские праздники. Чтобы не сидеть дома с сердитой женой, решил поехать в Могилев, навестить старшую дочь Валю. Что взять на гостинец? Свежины не было, яблоки не уродили, потому взял побольше меда. Татьяна искоса поглядывала на его сборы, потом подняла сумку.

— Ну и нагрузил! Не донесешь. Валя сама обещается приехать.

— Когда это будет. Вот еду, так и отвезу медку. Чтоб внуки не болели.

— Может, в Минск лыжи навострил? — лицо Татьяны стало еще более злым.

— Чего я там не видел? Я к внукам еду. К Вале.

— А может, к минскому сыну-байстрюку? Думаешь, я не знаю? Я все знаю. И письмо от этой стервы у меня... Спрятала, молчала... Кобелюка...

Татьяна заплакала, стукнула дверью спальни. А Петр Евдокимович стоял, будто оглушенный обухом. Мысли путались в голове. Не может быть, чтобы она знала и столько лет молчала. Юзя давно замужем, письмо могла прислать лет двадцать тому назад. Ноги не держали, привалился к столу. Чувствовал, как шумит, пульсирует в висках кровь, как наливается свинцовой тяжестью затылок — поднимается давление. Оставаться дома совсем не хотелось. Нет, надо ехать! Дорога успокоит. До автобусной остановки у магазина кое-как сумку донесет, а там будет легче.

— Я поехал! — сказал громко, Татьяна не ответила.

Впервые за прожитые вместе сорок с лишним лет он выходил из дому с тяжелым сердцем, в ушах стояли упреки жены, в глубине души он злился на себя. Шел не оглядываясь, хотя был уверен, чувствовал спиною — Татьяна смотрит ему вслед.

До Могилева добрался без приключений. Валентина встретила. В дороге действительно успокоился, думал о семье, перед глазами будто стояло перекошенное от злости лицо жены, в ушах словно застряли обидные, сердитые слова о сыне, которого он давно не видел. И у него созрело желание встретиться с Юзей, увидеть сына — он помнил его школьником. Тогда Юзя не была еще замужем, охотно угощала Петра Евдокимовича, показывала сыновы пятерки, на прощание молвила сквозь слезы: «Твои дети уже взрослые. Приезжай. Будем жить вместе».

Оставить жену, детей, свою школу, деревню, которая стала родной, Мамута не смог. Постепенно забывалась Юзя. Лет через пять его направили в Минск на курсы повышения квалификации. Теперь вспомнил, как грустила Татьяна, как горячо обнимала и целовала ночью. Подумал тогда: неужели чувствует? А Татьяна, оказывается, все знала и ничего не сказала. Ну и собака ж я... Кобель самый настоящий... Но детей не бросил. Вырастил, выучил всех четверых. На крыло поставил. И Татьяну не обижал, никогда руки на нее не поднял. Хотя в последнее время ругаемся все чаще, и начинает из-за любой мелочи жена.

Чтобы не ехать к Юзе с пустыми руками, в кармане плаща припрятал поллитровую баночку меда, еще одну прикрыл рубахой в саквояже, а три литровые выставил на стол. Валентина обрадовалась гостинцу: у нее подрас-

тали две дочурки, любительницы медку, да и сама, и муж любили сладкое. Через пару дней Мамута сказал, что надо ехать домой, каникулы кончаются, пчел надо утеплять на зиму. И Валя, и внучки уговаривали побыть еще, но Петр Евдокимович начал решительно собираться в дорогу.

— Переночую в райцентре. Микола Шандобыла приглашал. Он теперь начальник. Председатель райисполкома. Так что в Хатыничи не звони. Не тревожь маму. Вернусь домой, позвоню тебе, — сказал дочери, когда утром выходил из дому.

Вскоре он сел на минский автобус и часа через четыре был в столице. И вот знакомый дом в тихом переулке. К счастью, Юзя оказалась дома одна, муж на работе, обрадовалась, засуетилась...

Дверь без стука отворилась — на пороге стояла Анна Никитична:

— Петр Евдокимович, картопля стынеть. Мы давно ждем.

— Все, иду. Вот надумались вы...

— Ну так и хорошо, что надумались.

В небольшом светлом помещении столы были приставлены к стене, на них составлены табуреты, и только один стол, поближе к кухне, был накрыт. Дымилась теплым паром большая тарелка картофеля, на сковороде вкусно блестели жирком шкварки и жареная деревенская колбаса, соленые огурцы, грибы. И такой теплый, домашний, аппетитный дух шел от этой вкуснятины, что у Мамуты слюнки потекли.

— Ну, жанчинки! За таким столом можно сидеть до вечера. До первой звезды, — Петр Евдокимович потер застывшие руки. — Если б знатте, что будет питте, я бы тоже прихватил чего из дому.

— Если не хватит, позвоним Татьяне Ивановне. Чтоб принесла. А может, сейчас позвонить? Что она будет сидеть одна, — Анна Никитична вопросительно глянула на своего неизменного начальника.

— Ну, раз вам так хочется, пойду позвоню.

Петр Евдокимович вернулся в свой кабинет, позвонил жене, растолковал ситуацию, мол, не думал — не гадал, старшиниха, так звали сельчане Нину Воронину, наварила картофеля.

— Обедайте. Я что-то неважно себя чувствую. Лучше полежу дома, — глуховатым, тусклым голосом сказала Татьяна.

— Ну, смотри сама. Перекуси чего. Я скоро вернусь.

— Хорошо. Не торопись, — улышал в ответ.

Сидели они действительно долго. И поллитруха опустела, и закусь почти прикончили, а расходиться не хотелось. Нина, еще более раскрасневшаяся, взволнованно читала письмо отца из далекого зарубежья. После поздравлений с Новым годом, с Рождеством, пожеланий всем крепкого здоровья Степан Воронин писал: «...Дальше сопщаю, что я и моя семейка, благодаря Богу, здоровые. Недавно я стал дважды дедом. Народилась внучка Кэт, по-нашему — Катя. А старшему внуку Жоржику уже шесть лет... Тяжело и много пришлось мне тут работать, в Буэнос-Айресе. И посуду мыл, и официантом работал, и поваром. Теперь имею свою пульперию — столовку. Вместе с женой готовим блюда, сын Хуан — за официанта. Хуан — ета значит Иван, — во, видите, и там Иваны есть». — Нина сделала паузу, будто ей не хватало воздуха, читала дальше: «Блюда тут не такие, как у нас. Ну, есть суп-пучера, в нем брючка, батата — ета солодкая бульба, перец и тушеное мясо. Аргентинцы любят мясо, особливо жареное. Его тут называють — чураска... Часто вспоминаю Хатыничи, вас, мои дорогие», — голос Нины задрожал, она вытерла слезу.

— Тут отец пишеть, что ему часто снится наша деревня, Беседь...

Нина дрожащими руками засунула письмо отца в конверт, спрятала в карман плюшевки. Петр Евдокимович вспомнил, что ему надо сегодня выступать, поблагодарил женщин за угощение и простился.

«Ета ж Нина почти сорок лет не видела отца, — раздумывал Мамута по дороге домой. — Во пораскидала людей по всему свету война. Где та Аргентина! И там белорусы живут».

В глубине души он не чувствовал злости к бывшему полицейскому. А он, Воронин, грозился и его семью поставить к стенке, подозревая в связях с партизанами, — Мамута действительно был связным. После войны Прося, жена полицая, призналась Мамуте, что она уговорила мужа не трогать учителя, которого уважают люди.

Однако живучий, шельма, думал Мамута, и в Аргентине его черт не взял, укоренился, заимел семью, уже дважды дед. А у меня с Татьяной семеро внуков, с теплотой вспомнил жену, а еще в Минске растет внучка Алеся, о ней Татьяна, пожалуй, никогда не узнает. Великий ты грешник, Мамута, пожурил себя, и если есть Божий суд, придется держать ответ. Но что поделаешь? Жизнь — штука непростая. Трудно ходить у воды и не замочиться.

Нина сказала не все. В этот день в далекой Аргентине бывший полицай Степан Воронин отмечал юбилей: ему исполнилось шестьдесят пять лет. В письме он упоминал и об этом, и о том, что не надеялся дожить до такого возраста, стать дедом. Строки про юбилей Нина пропустила: знала, что отец и директор школы не были друзьями, слышала от матери об их натянутых отношениях. Да и муж Данила на днях неприятно удивил.

— Скоро у отца день рождения. Может, отметим по-семейному? Маму позову... — робко начала она.

— Нечего отмечать! — оборвал ее Данила. — И про письмо никому даже не заикайся. У меня и без тебя полно неприятностей. Не хватало еще, чтобы в райком потянули...

Вот потому и захотелось Нине устроить обед в школе. И каждую рюмку она поднимала за здоровье отца, которого так давно не видела и, пожалуй, не увидит никогда.

VIII

В последнее время Михаил Долгалев чувствовал себя неважно, хотя водки почти не пил. Правда, под Новый год разговелся, а потом Коляды, гости приходили к ним, а то и они с Люсей выбирались с ответным визитом. Но Коляды отшумели. Люся спрятала спиртное, да ему и не хотелось пить: голова и без того была тяжелая, как безмен. Люся дважды в день измеряла давление, верхний показатель перевалил за двести, нижний достиг ста десяти. Таблетки адельфана слабо помогали, давала каптоприл под язык, сбивала на короткое время. А тут еще нога разболелась. Люся все чаще говорила: надо ехать в Минск, в лечкомиссию, надо подлечиться.

— Легко сказать — ехать в Минск. А на чем? Пусть немного потеплеет. А может, давай баньку вытопим? Попаримся. И хвороба отпустит, — говорил он.

— Ага, придумал. С таким давлением на полок и близко нельзя. Да и натопить теперь баню — вагон дров надо сжечь. Позвони Николаю Артемовичу. Пусть даст машину. Ты его в люди вывел. Да ездят же в Минск по разным делам. Заодно и тебя подкинули бы...

— Никто меня там не ждет, в лечкомиссии... Пройдет. Весна скоро.

Люся решила действовать самостоятельно. Подготовила выписку из медицинской карточки — она по-прежнему работала в районной больнице. Труднее оказалось поймать по телефону Николая Шандобылу. Секретарь отвечала одной фразой: уехал на район. И все ж однажды, в конце дня, Люся услышала в трубке знакомый голос.

— Слушаю вас, Людмила Семеновна. Какие проблемы? Что случилось? Как там Касьянович?

— Плохи наши дела. У Касьяновича очень высокое давление. И нога разболелась. Его надо в лечкомиссию. А то, боюсь, недотянет до весны. Может, от вас будет машина...

Внимательно слушал Шандобыла, не перебивал.

— На следующей неделе я планирую поехать в Минск. Я сейчас же позвоню главврачу лечкомиссии, разведаю, есть ли у них места. Завтра пленум райкома. Вот сижу, шлифую свое выступление. Разберусь с делами, как-нибудь вечерком обязательно заеду. А пока — привет Касьяновичу. Крепитесь. До встречи!

На этом Шандобыла простился.

Минувшим летом пошел слух, что Рудака забирают в область. Николай Шандобыла даже подумал, что должность первого могут предложить ему, но в душе были сомнения: пятьдесят два года для партийного лидера района много, если б лет на десять моложе...

Николай Шандобыла все чаще задумывался о своем будущем. Если Рудака не переведут в Могилев или Минск, то они будут сидеть здесь, как два паука в банке. Знают друг друга давно. Поначалу, когда Рудак вернулся в Лобановку, работали довольно дружно. Однако постепенно первый секретарь все больше тянул одеяло на себя, на каждом шагу стремился показать: он главный человек в районе, его слово — закон. Их отношения все больше обострялись, работать вместе становилось все сложнее.

Моя карьера, считай, закончилась, думал иногда Шандобыла, очень долго работал бригадиром, потом главным агрономом, учился заочно, избрали председателем колхоза. Районным начальником стал неожиданно: освободилась должность заместителя председателя исполкома, и Долгалев предложил его, потому что знал не только как опытного специалиста, но помнил комсомольскую свадьбу Андрея Сахуты, на которой Николай был сватом и свою роль исполнил с блеском. Знал Долгалев и его родителей. Заместителем Шандобыла ходил недолго: через три года избрали председателем райисполкома. И вот уже промелькнуло семь лет, как он сидит в этом кресле. А что дальше? Если б удалось теперь устроиться где-то в Могилеве или в Минске, было бы хорошо. А если Рудак пойдет на повышение, пришлют нового партийного лидера, его, Шандобылу, минимум год никуда не отпустят, пока новый кадр не освоится в районе. Но это все прожекты. Что предложит жизнь — неизвестно.

Он почти механически перечитывал текст своего выступления, изредка кое-что правил. Часто отрывал телефон. Позвонил Рудак:

— Артемович, я тут мучаюсь с докладом. А что если нам замахнуться на двадцать восемь центнеров с гектара по району? А то мы топчемся уже который год. Обещаемся взять двадцать пять...

— Так мы же не берем и двадцать пять. Ну, в Саковичах, в Хатыничах можно намолотить и тридцать. Такое бывало. А в совхозе «Заречье» на песочке больше двадцати не молотим. Так что слишком сильный замах...

— И все-таки надо рискнуть. Зима нормальная, снегу подкинуло. Может, озимая рожь даст урожай. Кстати, Машеров еще несколько лет назад ставил задачу: выйти на двадцать шесть—двадцать восемь центнеров с гектара по

республике. И правильно делал. Так и будем действовать. Берем повышенные обязательства! — тоном, не терпящим возражений, закончил Рудак.

Твою мать, тихо выругался Шандобыла, он раструбит на всю Беларусь, а выполнять мне. Гонять специалистов из управления сельского хозяйства, выматывать жилы председателям колхозов, думать об удобрениях, семенах. И если сможем собрать урожай, в героях будет ходить Рудак. Инициатор! А не выполним обязательства — все шишки на председателя райисполкома. Не обеспечил выполнение... Не смог организовать, не мобилизовал людей на ударный труд.

Невольно вспомнился недавний визит ответственного сотрудника ЦК партии Семена Михнюка, с которым когда-то учились в сельхозакадемии. На прощанье минского гостя хорошо угостили в тихом домике в лесу над Беседью. И тогда развязался язык высокого партийного начальника.

— Как пришел в ЦК Киселев, так фамилию Машерова нельзя вспоминать. Не дай бог, услышит шеф! Он сразу бледнеет, руки дрожат. Вот тебе и партийные товарищи. А история давняя...

Гость рассказал, как выбирали Машерова, — об этом он в свое время поведал Андрею Сахуте, — но над Беседью он был смелее, и в этой истории появились новые детали: приехал проводить пленум Мазуров. По рекомендации Кремля собрал секретарей обкомов, они были за Машерова, а на бюро ЦК голоса поделились — фифти-фифти. И все решил голос героя-партизана Василя Козлова...

Киселев затаил обиду. Иногда она прорывалась в кругу друзей: «Он мастер покрасоваться на трибуне. Артистично выступать с пафосными речами. Мастер брать новые высокие рубежи. Все на словах. А нам ломай голову, где найти ресурсы, деньги. Министры на ушах стоят. Их подчиненные из кожи вон лезут. А он на очередном пленуме рапортует: решение партии претворили в жизнь. Он — герой...» Так продолжалось много лет, пока Тихона Киселева не перевели в Москву заместителем премьера. Потом пошли разговоры: Машеров едет в Кремль на место Косыгина, а Киселев вернется в Минск. Киселев вернулся, а Машерова нет.

Услышанное очень впечатлило Николая Шандобылу. Почти все, как у нас с Валерием Рудаком. Суровая и хитрая штуковина жизнь. Николай Артемович так задумался, что и про свою речь забыл.

Сколько партийных пленумов было на его веку! Кое-что сделано в районе, урожай потяжелел — это факт. В каждом колхозе и совхозе есть дипломированные агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры. В селах появились новые звонкие пятистенки, асфальтированные дороги. Это заслуга Долгалева, его передвижной механизированной колонны. А теперь жизнь выбросила его на обочину. Болеет, а машину попросить стесняется. А мне некогда позвонить, по-землячески спросить, как живет человек, бывший партийный вожак района, он же и меня в люди выводил. Эх, неблагодарные мы, товарищи коммунисты! Все на словах, с трибуны — мы друзья и единомышленники.

Телефонный звонок прервал размышления Шандобылы. У него аж сердце екнуло: в трубке послышался голос Долгалева. Разве не телепатия?

— Прости, Николай Артемович, что отрываю от дел. И еще извини, дороженький мой, настырную мою супругу...

— Михаил Касьянович, жена у вас — молодчина! Верный товарищ, подруга, соратница. Дай бог каждому. Извиняться надо мне, что я, гад полосатый, давно не был у вас. Завтра пленум райкома. Дня через три-четыре катанем в Минск. Дела есть разные, с Андреем Сахутой повидаемся. Звонил в лечкомиссию. Правда, главврача не было. Буду еще звонить, — соврал Шандобыла,

звонить он только собирался. Но теперь дал себе слово обязательно дозвониться.

— Как тебе работается, Артемович? С первым ладишь?

— Стараюсь по мелочам не цепляться. А где надо — показываю зубы. Он это понимает, лишний раз на рожон не лезет. Опостылела, Касьянович, показуха. Вот сегодня позвонил. Давай замахнемся на двадцать восемь центнеров на круг по району. Как вам это нравится?

— Ну, это нереально. Но не возражай. Плетью обуха не перешибешь. «Тазик» должен греметь. Ну, если хорошее лето, так в некоторых колхозах может уродить. Тут, дороженький мой, бывает так. Кто весной не посеет вовремя, того могут турнуть с кресла. А кто слишком рано посеет и мало соберет, того только слегка покритикуют, мол, погода подвела. Так что соглашайся. Главное, береги здоровье. Он погремит высокими планами — могут взять на повышение. Сам будешь первым. А если пришлют нового, пока освоится, будет тебе в рот смотреть, — Долгалев помолчал. — Я иногда думаю... Если конь начинает спотыкаться, так его не бизуном надо хлестать, а голову ему поднять... Чтобы лучше дорогу видел. Может, в этом и есть смысл партийной работы. Если она вообще нужна. Вот, дороженький мой, какие крамольные думки лезут в голову от нечего делать.

— Это не крамола, Михаил Касьянович, а мудрость. Так что спасибо вам за совет.

Рабочий день председателя райисполкома продолжался.

Хроника БЕЛТА и ТАСС, 1981 г.

2 января. Гродно. Сто первый Новый год встретил житель деревни Цыгановка Зельвенского района Антон Жук. Секрет его долголетия: физический труд, свежий воздух, умеренное питание.

5 января. Чебоксары. Поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Чебоксарской ГЭС — завершающая ступень Волжского энергетического каскада.

13 января. Лондон. Несмотря на самый острый за всю послевоенную историю Великобритании экономический кризис, правительство тори не планирует изменение теперешнего курса.

21 января. Пинск. Гостеприимно раскрылась дверь нового здания Пинского педучилища имени А. С. Пушкина.

Перевод с белорусского автора.

Окончание следует.





Василь МАКАРЕВИЧ

Неба слышал вздохи каждый миг

Голубятник

Памяти Анатоля Велюгина

Во дворе, где детворы полно,
Осенью зарывшись в теплый ватник,
Гибкого шеста веретено
Больше он не кружит, голубятник.

Хоть поднялся лет преклонных стог
Высоко в небесные глубины,
Нет, не забывал истомный стон
Неспокойной ласки голубиной.

От шеста,
Что прямо шел, то вкось,
Не бросались голуби в испуге.
Их кружил он в омуте небес
Плавно, словно облачко из пуха.

С горечью и сладость горячо
Из горстей он выпил, как из кубка.
Голуби слетались на плечо
И садились на ладонь голубки.

Неба слышал вздохи каждый миг
В мираже весеннем, будто в дыме.
Приручить умел он соловьих,
Вместе с соловьями молодыми.

Помнил грешных, помнил и святых,
Ведь недаром пахарь был и ратник.
Не угас душою, не притих
И на кромке века голубятник.

Хмурый день из памяти корчуй,
Если был под вечер и погожий!

Хоть на склоне лет слегка ворчун,
Но душою с голубем он схожий.

Жадно вновь глядел, как за окном
Утро босоногое у леса
Гибкого шеста веретеном
Кружит небо с облачком белесым.

* * *

От сельского столба
До самого Норильска
Сложилась жизнь-судьба
Вся целиком из риска.

Дорог всех желоба,
Обломки да огрызки.
И вьюга, как труба,
Ревела рядом, близко.

Как в лампочки накал,
Ты в мелочи вникал,
На скрепере орудовал.
Пока не засверкал,
Как тысячи зеркал,
Рудник алмазной грудою.

* * *

Как говорят, искомое,
В оправе золотой,
Посконное, с оскоминой, —
Все время под рукой.

Везде зверье степенное,
И лес сплошной тенист,
Но до кукушки пения
Попробуй дотянись!

* * *

За белыми гардинами
Скорее бы успеть
Переболеть гордынею
И прочь отбросить спесь!

Над Припятью и Ладогой
В приданое-посаг
Мне б отковать по радуге
В глубоких небесах.

* * *

А за этими вот вязами,
Где чирикнет воробей,
Сколько было мною сказано-
Недосказано вербе!

И как было кем-то велено,
Если дни сойдут на нет,
Все, что молодо и зелено,
Будет цвесть и зеленеть!

* * *

Мороз залезет в щелку
И пальцами опять
Давай заядло щелкать —
Бревно колоть, щепать.

А рядышком, над тропкой,
Притихнут сизари, —
Все щепки на растопку
Предутренней зари.

* * *

Крещенские морозы.
И тем я и польщен,
Что где-то под березой
Морозами крещен.

И что зимой коварной
Им больше был, чем друг, —
За кругом за Полярным
В свой принимали круг.

* * *

С друзьями вечера
На даче, то на лыжах.
Мне кажется, вчера
Я только из Парижа.

Пройдет метели плуг,
Снег развернет у дома.
Глядишь, и Марс, как плут,
Знакомый-незнакомый.

* * *

И говорить мы вправе,
Что для того и желчь,
Чтоб горечью отравы
Горячих душ не сжечь.

Ах, желчных слов отрава
У пропасти иль рва!
Она всегда для правых
Все та же трын-трава!

* * *

А был ли ты рачительный
Среди друзей-скупцов?
На что, скажи, рассчитывал,
С кем быть, в конце концов?

Никто не хочет сжалиться,
И жалость ни к чему!
Нахальство и стяжательство
Похожи на чуму.

* * *

Будто перечитывая код,
Человек стучит упорно палочкой.
И в толпе людской она ведет
Утонченной городскою панночкой.

Что там больше говорить о ней,
Как о внучке или верной спутнице.
Только б в лабиринте этих дней
Ей не заблудиться, не запутаться.

* * *

А что твоя самонадеянность
От опыта иль от безумия?
Все, что твоей рукою делалось, —
Законами не наказуемо.

Живешь ты, как в удельном княжестве,
Хандра вокруг, как будто в тереме.
И от всего, мне чаще кажется,
Не я, а больше ты растеряна.

* * *

А скажи мне — твои деяния,
Заполярных снегов казначей,
Это — Северное сияние,
Полыхающее средь ночей.

Ночи белые сказочной сагою
В снежном вихре и вьюжной возне.
Казначей и колдун, сколько магии
В казначействе твоем и в казне?

* * *

Потерплю и все же выстою —
Этим утром, в эту склень.
Сколько можно так неистово
Сто откалывать колен?!

Соловей поет для радуги,
Видимо, сроднился с ней.
Иль у песни он на каторге
В этой жизни с первых дней?

Перевод с белорусского автора.





Юлия БЕККЕР

Обычные счастливые дни

Этюды прошедших дней

Не зная правил

Первый день осени выпал на субботу. Выходной. И так много в общественном транспорте молодежи.

Студенты понаехали.

Свежие, худые, розовощекие. Так и хочется написать — дети. И не только потому, что юные. Они, как дети, — шумят, непосредственные, счастливые не из-за чего...

Они одеваются, как получается (или как хочется?), у них слишком много фенечек, босоножки — на колготках... Они еще не знают правил. Они не знают даже, как пройти в метро через турникет. И загораживают проход большими сумками, вызывая наше раздражение...

А через несколько лет они останутся в Минске, как когда-то остались мы...

Живой и мертвая

Прошлый Новый год она поехала встречать к маме. На поезде.

Он был занят катастрофически, но клялся, что вырвется на праздник. Обещал 31-го вечером прилететь к ней на самолете. Лететь было всего ничего, но он не прилетел.

В ту ночь, торопясь, под бой часов, она написала на клочке бумаги: «Хочу встречать следующий Новый год с ним». Подожгла лист, бросила пепел в шампанское. Короче, все как положено...

Потом он написал ей, что тоже загадал такое желание. Но, наверное, он все-таки его не загадывал.

В канун этого Нового года, в ночь после Рождества, он умер от сердечного приступа, и смерть, таким образом, стала доказательством — сердце у него все-таки было...

До этого (совершенно незапланированного в его тесно исписанном ежедневнике) события они виделись аж в марте. Он заскочил тогда к ней ненадолго — за гостинцами, которые она привезла ему от мамы; рассмотрел их все, а перед уходом забыл в коридоре.

31 декабря его хоронили. Ее на похороны не звали, но она бы и сама не пошла, наивно полагая (а может, свято веря), что если она не видела, как его хоронят, значит, он жив.

Она не хоронила его. Она встречала Новый год с ним. Все-таки ее желание сбылось.

Он был жив для нее даже мертвый.

Она же, живая, была для него мертва уже в марте, когда он забыл в коридоре подарки...

Обычный счастливый четверг

Было уже совсем светло, но еще совсем рано, когда меня разбудил шум дождя (все окна нараспашку). Заснуть снова было бы так здорово, что я бы забила на экзамен в ГАИ, если б не запись к врачу.

Встала. Сделала зарядку (через такое «не хочу», что даже не хочу вспоминать). Позавтракала без аппетита и поехала.

Дождь все еще шел.

Результаты биопсии мне отдали на руки минут за пятнадцать до приема эндокринолога. Я держалась несколько минут. Потом все-таки посмотрела их. И сразу полезла в Интернет — разбираться... Еще за несколько минут в полутемном коридоре клиники, в которую потихоньку стекались с улицы врачи, сестры и пациенты, начиталась таких ужасов, что даже на несколько секунд умерла. Это казалось таким нелепым, что на саму себя разозлилась и своим же внутренним голосом на себя наорала: «Прекрати!»

Положила листок рядом.

Врач пришла промокшая. В хорошем настроении.

Пока оформляла визит в журнале, мы с ней пошутили о том о сем.

Потом она посмотрела мой анализ и сказала:

— Ну вот, диагноз подтвержден. Все хорошо!

Это не значило, что все хорошо. Но это значило, что все не так страшно, как предполагалось.

Уходя, я (наверное, впервые в своей жизни) сказала врачу «до свидания!». К этому врачу мне придется прийти еще не раз.

Потом я завтракала в «Лидо» (обожаю «Лидо» ранним утром — ни людей, ни очередей, музыку хорошо слышно!).

Один сырник дали поджаренный, второй — светлый. Плюс малиновое варенье и сгущенка. Такой сырниковый инь-янь на тарелке получился. Светлого было больше (плюс сама тарелка — белая). Причем за темное варенье денег с меня не взяли. Я обратила на это внимание девушки-кассира, и она произнесла волшебные слова, которые незадолго до этого произнесла врач: «Ничего страшного!»

Ела, перечитывая в который раз девятую и десятую главы ПДД. Готовилась морально к очередному вождению. Вспомнила, как неделю назад девушка рыдала кому-то в телефон. Неделю назад я ее, горько плачущую из-за несдачи вождения, больше понимала, чем сейчас — в утро с постепенно заканчивающимся дождем и потихоньку наполняющимся счастьем от результатов пункции щитовидной железы.

На экзамен приехала заранее. В ожидании проверяющих почитала (наконец!) правила сдач, несдач и пересдач. Оказалось, сегодня — моя последняя попытка перед вторым кругом (не сдам, значит, все заново: теория, площадка, город. А я была уверена, что есть еще в запасе следующий четверг). Прикинула, что неплохо было бы позвонить инструктору и взять урок дополнительного вождения на автодроме.

Приехал проверяющий. Я зарегистрировалась и пошла на стоянку, откуда стартуют на городские маршруты областные учебки, — ждать. Шла не торопясь — ждать как минимум приходится минут сорок, так лучше прогуляюсь...

Тут мимо меня проехал зеленый опель. Такой же, на каком училась. Я подумала: вот было бы здорово сдавать на этой машине! И тут же подкорректировала этот слишком дерзкий посыл в мироздание — ну ладно, не на этой, но хотя бы на такой же.

Но сдавала на этой. Вот прикол!

И проехала идеально, хотя газ был слабоват (а может, просто от опеля-учителя за долгие недели отвыкла). И растерянность куда-то подевалась, и невнимательность... Как будто я оказалась в какой-то другой, водительской реальности.

Сдала.

Дочка, когда позвонила ей, начала визжать. Потом сказала: «Давай вечером устроим праздник!»

Я согласилась, но в начале девятого, когда ехала с работы, передумала. Не потому, что поздно, и не потому, что завтра рабочий день, а потому, что волну не хочу терять.

Праздник, он ведь, как известно, сменяется буднями.

Так что не надо праздника. Пусть будет обычный счастливый четверг.

Расставание с прощанием

Каждый день по дороге с работы домой я покупаю у симпатичной женщины черешню с лотка. Вроде и сезон прошел, а она все продает и продает. И достаточно дорого, и очень вкусную, и я все покупаю и покупаю. Потому что черешней никогда не наемся.

Но вот сегодня пришла, а черешни нет.

Не факт, но, вероятнее всего, вчера я ела черешню последний раз в этом сезоне.

Знать бы точно, попрощалась бы мысленно с ней до следующего лета.

Когда я знаю, что что-то в последний раз или последнее, я напрягаюсь, даже если это что-то не очень радостное или не очень хорошее. Последний день в больнице, например. Или последняя сигарета.

Когда не знаю, всегда легче.

Когда о том, что свидание было последним, узнаешь через месяц после свидания, тогда уже не так страшно.

Мы так из Хайдаркана разъезжались. Не прощаясь.

Расставались не прощаясь. А в итоге до сих пор не виделись, не возвращались.

Когда расстаешься не прощаясь, может быть, не расстаешься?

Решать только мне.

Я решила расстаться с прощаниями. Все, что было, все равно со мной.

Про деток

До работы зашла в магазин. Взяла хлеба хорошего и лимон. Пошла на кассу. Отыскивала в сумке карточку. В это время к кассе подошла девочка лет четырех.

Деловито обошла меня, выставила рядом с моим (уже пробитым) лимоном пластиковую поллитровую банку сметаны, достала розовый кошелек и вытащила из него 500 рублей.

— Паваалуста! — негромко, отчетливо произнесла, протягивая продавцу деньги.

Кассир, молодая симпатичная брюнетка, улыбалась. И я улыбалась. Но тут пришла мама. Тоже молодая. И тоже симпатичная. И почему-то сказала:

— Ну сколько раз тебе повторять — не суйся!

Без злости, только чуть раздраженно. Не суйся! И именно эти слова мама, видимо, много раз повторяет...

Потом по дороге на работу я вспоминала, как мы с Леной ездили в Берлине на детскую площадку в Вильхельмсхаген. В Берлине детские площадки на каждом шагу, но мы поехали именно на эту, потому что там была качелька из трендовых (на толстом шнуре с пружиной резиновая таблетка, на которую можно сесть или встать ногами, если смелый), идеально подходящая под Ленин рост.

Дело было утром в понедельник. Район окраинный, малолюдный. У площадки — кафешка, в ней — парочка пенсионеров за кофе.

Я тоже уселась на лавочке и, пока ребенок осваивал непривычную качельку, наслаждалась хорошей погодой, приятными мыслями и осознанием факта, что я не на работе. Надо мной цвели липы и стоял мерный гул пчел, как будто море спокойное шумело.

А потом пришел местный детский сад. Человек десять деток лет пяти и одна воспитательница.

Дети в доли секунды разбежались по площадке. Воспитательница, не очень молодая, невысокая, крепко сбитая, поздоровалась со мной, улыбаясь во все зубы, разулась и села на качели. Раскачивалась все выше и выше, хохоча и улюлюкая.

Дети (они были совершенно нестеснительные и бесстрашные) тоже кружились, висели. На трендовую качельку их забралось сразу несколько человек, причем Лену не вытесняли, наоборот, пытались с ней общаться, громко и призывно. Но — непонятно, поэтому Лена ретировалась на лавочку читать книгу.

Лена читала, а я наблюдала за детьми. Очень трудно было оторваться.

Кто-то, по двое-трое, летали на качельке. Другие, по двое-трое, визжа, выстраивались на ее пути препятствиями и тут же разбегались от нее стремительно или просто валились на землю на крупные щепки, которыми в Германии усыпано большинство детских площадок из тех, что я видела.

Мальчишки визжали, как девчонки, а девчонки (все в светлых сарафанах), сверкая трусиками, раскачивались на резиновом тросе, словно мартышки.

Воспитательница при этом даже не думала делать замечания — как вы себя ведете! аккуратно! тише!

Но вот одна девочка заплакала. Я подумала — теперь воспитательница даст волю голосовым связкам, но та спокойно сказала: «Иди ко мне!» И сама пошла девочке навстречу. Взяла ее на руки, обняла и стала жалеть. И никаких криков в сторону «обидчиков».

А вам в детстве, когда было больно или обидно, чего хотелось больше? Чтобы кого-то наказали или учили? Или чтобы вас просто пожалели?

Через минут десять, когда уже высохли слезы и мир был восстановлен, дети как-то само собой у качельки выстроились в очередь. И не нарушали ее, только громко выкрикивали иногда «jetzt bin ich!» (теперь я!).

Возможно, в крови у них немецкая любовь к порядку. А возможно, и наши дети такие. Можно проверить: пустить играть и не кричать, не дергать.

Там, где детям не нужна помощь, она им только мешает.

Рубашка и посиделки

Жить прошлым — не есть достойное занятие. Но иногда просто необходимое. А порой и не получается иначе. Так у меня сейчас...

Просто не получается не вспоминать, как мы тогда ждали гостей. И я за неимением других дел сидела на подоконнике и выглядывала на проспект. А он шел внизу в какой-то пестрой рубашке, так стремительно,

что она надувалась за ним, как парус. Может, это ветер ее надувал, но про ветер я не помню...

А потом он шел со мной за компанию искать во временное пользование стулья в какой-нибудь из уже выселенных комнат. Мы поднялись на этаж выше и там, в гулком безлюдном коридоре, увидели распахнутую дверь. За ней — в пустой комнате — круглый стол и раскрытое настежь окно.

Не сговариваясь, мы сели на этот стол перед этим окном и стали смотреть на Свислочь.

Было светло, жарко и празднично, хотя не было никакого праздника. За окном заканчивалось лето 97-го года. Мы с Наташей принимали гостей, хотя нам абсолютно нечего было поставить на стол, нам даже посадить гостей было не на что; мы и сами-то в общаге жили уже нелегально, стараясь не высовываться из комнаты в дни дежурства злых вахтеров; а у меня еще не было гражданства, и как следствие, документа, дающего право устроиться на работу; и я вообще не знала, где и на что через месяц буду жить...

Короче, была куча жизненно важных проблем, но я, нынешняя, почему-то все их забыла, а запомнила именно эту пеструю рубашку-парус и эти посиделки на столе с видом на Свислуху.

Все остальное теперь как бы всплывает из воспоминаний про рубашку и посиделки. И рубашка, и посиделки кажутся серьезнее — да не кажутся, так это и есть — серьезных проблем и вопросов. Рубашка и посиделки как раз и есть то, ради чего стоит иногда пожить прошлым. Зарядившее меня неведомой силой на решение жизненно важных проблем, про которые я уже и думать забыла, потому что про них совсем неинтересно вспоминать.

Впереди

То, что я очень люблю делать, это и не дело совсем.

Люблю ездить. Посадите меня в автомобиль или в поезд (ну, или в самолет, пока в иллюминатор видно что-то, кроме облачного однообразия) и везите. И я смогу ехать бесконечно с перерывами на сон. Ехать и смотреть, как меняется жизнь за окном...

А еще я люблю кататься на коньках. Это хоть немного дело. Чтобы на коньках кататься, хотя бы что-то делать надо.

Сегодня мы с дочкой ездили кататься в «Минск-Арену». Добираться туда не очень удобно и очень далеко, и там уже через сорок минут вежливо просят освободить лед для уборочной машины. Но сорок минут сплошного удовольствия мне сегодня были просто необходимы.

Когда мы с Леной приехали на каток первый раз, за сеанс «проехали» всего два круга. Она держалась одной рукой за бортик, второй за меня и еле-еле передвигала ноги.

Потом, держась за руки, мы проехали много-много кругов. Не медленно, но и не так быстро, как мне хотелось. А мне всегда хотелось ехать быстрее. И очень хотелось — одной. Только так можно было оторваться от проблем.

И именно так я сегодня отрывалась.

Было очень здорово. Еще и от того, что ребенок катался сам. Где-то далеко впереди меня.

Картина из прошлого

Свитер я купила в 96-м году. На Комаровке, в переходе, с рук у какой-то женщины. За копейки.

Он служит мне верой и правдой до сих пор. Не выцвел. И каждая деталь аппликации осталась ровно там же, где была.

Но носить его нет уже никакой возможности. Я ведь совсем взрослая.

А выбросить тоже не могу. И отдать. И даже продать.

Я из него сделала сегодня картину.

До этого на крыльце сидела с соседями. И сосед — водитель — вспоминал:

— Лет двадцать назад это было. Стою на остановке, пассажиров собираю... Тут подходит девушка и говорит: «Дайте мне интервью!» А я обалдел от ее красоты и сказать ничего не могу...

Лет двадцать... А кажется, что сто.

Я хохочу — от какой красоты? Соседи смотрят недоуменно — на него, на меня, опять на него. Это ведь он про меня рассказывает. Сам даже и не помнит толком.

— Неужели это все-таки ты была?

— Ну конечно я! Тогда только-только пригородные маршрутные перевозки стали организовывать, а я только начала писать. И боялась к вам приставать, и удержаться не могла. Очень хотелось перед начальством засветиться.

— А ты знала, что я твой сосед? Что мы в одном доме живем?

— Нет, конечно!

— А я все думал — ты или не ты... Думал даже, что мне это приснилось...

А мне не приснилось. Я все хорошо помню. Кроме разве что своей красоты.

Эх, молодость!

Пойду сгущенки поем. Полюбуюсь на новую картину.

Дура

Он звал ее замуж. Она не раздумывала.

— Нет! — говорила категорически.

Девчонки с работы не понимали:

— Симпатичный. Здоровый. Не пьет-не курит. Любит. Что еще надо?

Она отвечала:

— Ага. А если он умрет... Что тогда?

Девчонки с работы крутили у висков пальцами... Констатировали: «Дура!»

А он вдруг взял и умер. И девчонки с работы стихли.

А мама сказала ей:

— Вышла бы замуж, была бы сейчас упакованная вдова.

А папа сказал:

— Жил бы он с тобой, раньше бы умер.

Смирение

Бывают в жизни такие ситуации, с которыми надо смириться. Например, когда мы при всем желании не можем повлиять на сложившиеся обстоятельства или на людей. Не можем повлиять на что-то вне себя, вынуждены влиять на себя — смиряться.

Очень банальный пример: прихожу в давно знакомое место, где надо всего лишь побыть (ничего не делая) до определенного времени. Раньше там стояла удобная лавочка, но сегодня ее нет. Мне приходится стоять.

Я стою и почему-то начинаю размышлять о смирении. С отсутствием лавочки это никак не связано. Лавочку я просто в пример привела. Почему-то мне кажется, что тема возникла из-за подслушанного в автобусе разговора, начавшегося с вопроса: «Почему ты смирилась с его враньем?»

Смириться с враньем (с пьянством, со свинством, с тем, что он(а) гуляет) в том разговоре означало делать вид, что ничего не происходит, что все хорошо.

Но разве делать вид, что все хорошо, это смирение? Разве не борьба? Не удерживание всеми силами хорошей мины при плохой игре; отворачивание всеми силами взгляда от того, на что смотреть страшно?

Пей, свинячь, гуляй, ври, делай что хочешь, только чтобы ничего не менялось (чтобы и мне меняться не пришлось).

А смирение — принятие. Смириться — признаться (хотя бы для начала самому себе), что да, он(а) врет, пьет, гуляет. Положить факт в сердце, как в корзинку, и принять, как бы ни было больно и страшно. И это уже будет перемена.

Принять факт отсутствия лавочки можно по-разному. Как вариант — стоять. Либо, осознав, что лавочки нет и сама она из-под земли не появится, пойти поискать ее в другом месте.

Или сесть на подоконник...

Выдохнула

Суббота. А просыпаться пришлось раньше, чем в будний день. Дитенок мой едет на экскурсию по Минщине. У школы надо быть в половине восьмого...

Будильник почему-то не звонил. Проснулась сама по себе...

Собираемся, делаем в дорогу бутерброды, моем яблоки. Из дому выходим за двадцать минут до автобуса, потому что надо еще к банкомату завернуть, снять наличность на билет в аквапарк.

На перекрестке у магазина дочку ждут одноклассники Лиза и Влад. Дочка забирает у меня денежку, принимает мой поцелуй в лоб и убегает к друзьям. Шаркая уггами, я топаю домой, наблюдая, как в свете фонарей от меня удаляются три силуэта. Такая не вписывающаяся в темное, не очень погожее октябрьское утро мелкая троица...

Захожу домой и думаю: может, лечь и поспать? Но не ложусь. На каком-то автомате без какого бы то ни было энтузиазма переодеваюсь и занимаюсь йогой. Ровно час.

И вдруг... С одним из завершающих тренировку выдохов в позе трупа на меня снисходит успокоение. А может, и не снисходит, может, рождается изнутри.

Как будто на этом выдохе я выдыхаю все свои сомнения.

Становится абсолютно легко и спокойно. Хотя тому нет никаких объективных причин. Никто ничего не сказал, не написал, не сделал. И ребенок не дома, а едет куда-то в не очень погожий день...

Как-то все по-другому стало. Все, действительно, стало по-другому.

Ощущение такое, что, сдаваясь и все же стараясь еще отчаяннее, я дошла до черты, за которой сразу стала сильной.

Зарядка

По дороге на работу остановилась на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора и увидела напротив светлую женщину в желтом спортивном костюме. Она, чуть разведя руки в стороны, тянулась лицом к серому пасмурному небу.

Как будто упражнение из йоги выполняла.

Была какая-то неожиданная, нелогичная...

Потом загорелся зеленый, и женщина пошла спортивным шагом мне навстречу. Тогда я увидела, что ей лет шестьдесят.

Она улыбалась.

С утра пораньше в центре отсыревшего от ночного дождя, холодного Минска человек просто делал зарядку.

И делал для человечества гораздо больше, чем многие люди, стремящиеся это человечество облагодетельствовать.

Разные

Невозможно не заметить, что к мальчишкам одного возраста в раздевалке отношение разное. В килограммы экипировки самостоятельно никто не облачается, наверное, это просто невозможно. Но! Кому-то помогают по минимуму, а кто-то сам даже майку натянуть не пытается, вообще не делает ничего. Кого-то родной папа бьет в плечи: «Давай, не зевай, шевелись!» Кому-то чужие папы жмут, приветствуя, руку. А кто-то, пока снизу обувает мама, а сверху одевает бабушка, пьет сок из коробочки через трубочку.

Кто-то плачет, кто-то злится, кого-то стыдят, на кого-то злятся...

Ко всем мальчишкам отношение разное. Из всех вырастут разные мужчины.

15 процентов

Проводила ребенка на занятия и пошла в ГУМ.

Подхожу и вижу объявление: 15 декабря в магазине скидка 15% на все непродовольственные товары.

Захожу и ахаю — столько народу в ГУМе я не видела никогда в своей жизни.

Море! Море людей...

Очереди к кассам многометровые. Тянутся, извиваются, огибают прилавки, крупные товары и другие очереди...

Люди стоят в основном немолодые, в основном полные, и одеты все хорошо. Дубленки, воротники меховые, высокие шапки. В магазине натоплено, но никто не раздевается, не расстегиваются даже. Стоят... За лампочками, за колготками (из тех, что я видела, две самые длинные очереди были за лампочками и за колготками), за горшками для цветов...

На центральной лестнице — елка, наряженная воистину по-царски, под потолком — снежинки крутятся, везде — санта-клаусы на длинных худых ногах. Но атмосферы праздника нет даже близко.

Маленькие дети разрываются в истерике (может, не купили им что-то, несмотря на скидку), взрослые дети орут на пожилых родителей. Ни одного улыбающегося лица не увидела. Все почему-то были злые. Скидка была слишком мала? Или в чем-то другом был просчет организаторов?

Или причина злости вообще в чем-то другом?

Раз, два, не три

Меня много раз целовали (последний раз — сегодня утром), но пока я запомнила лишь три поцелуя.

Хорошо помню первый. И хорошо помню, как его предугадывала, хотя еще ничего не знала и не с чем было сравнивать. Ощущения были непривычные и вместе с тем ожидаемые. Легкое прикосновение чужих губ к моим казалось приятным... Но само по себе... Поцелуй не рождал никакого зазазу, никаких желаний. Может, я слишком сконцентрировалась на губах и не додумалась что-нибудь чувствовать дальше.

Этот поцелуй в моей жизни не главный. Главный был другой. Второй из всех запомнившихся.

Поцелуи редко бывают для меня неожиданные, даже если ждать их приходится долго. Этот был неожиданным. Абсолютно незакономерным, необъяснимым, нелогичным. Но полностью органичным. Поэтому, несмотря на неожиданность, я ему не удивилась — приняла, как будто воды выпила. Именно воды, не вина. Не опьянела, не сбила дыхание и не заискрила. Как будто я — минус, а мужчина плюс, и оказавшись рядом, мы просто притянулись друг к другу, независимо от нашего душевного и физического состояния, от имеющегося в запасе времени и от целей, осуществлять которые мы пришли в то самое время в то самое место.

Поцелуй был долгий, счастливый, комфортный, как будто действительно я была для этого мужчины, а мужчина был для меня.

Не исключаю, что позже этот поцелуй не один раз сбивал меня с толку, когда надо было принять решение...

Третий из запомнившихся был поцелуем этого же мужчины. Дело было в ночь с пятницы на субботу, в ночном клубе. Мы только зашли, еще не разошлись и не отошли от трудовой недели и жары. Мы были вместе (и нам было хорошо), но не настолько вместе (и не настолько хорошо), чтобы целоваться на трезвую голову в ночном клубе. Так казалось мне, а он вдруг придвинулся и поцеловал. И я вздрогнула. Потому что за долгие годы наши заряды уже стали одинаковыми... И забыть об этом можно было только наедине...

Три раза бывает в сказке, а в жизни получилось два. В третий раз этот мужчина меня уже не поцелует. Разве что во сне. Но вот прошу его присниться, а он не старается.

Вчера, наконец, до меня дошло, что он умер...

Утро — доброе

Трясогузка на лету мошку словила.

Кот сидел на газоне у подъезда, перед ним — кость свеженькая. Такая не с помойки, такую — хозяйка на травку вынесла.

Папа с мамой провожали дочку в детский сад. У девочки расстегнулась застежка на туфельке, она наклонилась застегивать. И тут же мама следом наклоняется — помогать. Но папа остановил маму, без слов, движением руки. Пока девочка справлялась с ремешком, папа маму целовал.

И птицы, и коты сыты. Ребенок делает то, что в состоянии сделать самостоятельно. Родители любят друг друга. И все такое зеленое, что по дороге на работу я едва с дороги не сбилась.

Сказал, сделал

Парень и девушка навстречу. Не обратила бы внимания, если бы не ссорились громко.

Идут быстро. В исполком, по всей видимости, в файлике бумаги, паспорта...

— Успокойся! — парень кричит.

А девушка пилит его в ответ, что поставил слишком далеко машину.

— Вон! — вытягивает почти по-ленински руку и даже наклоняется вперед, — там можно было припарковаться!

— Ну хочешь, я тебя на руках понесу, бля!..

— Хочу!

Тут же взял и понес.

Не могла не оглянуться на них. Девушка улыбалась мне во весь рот.

Чай из лета

Смородинового листа хотелось просто до безумия. Без стыда и совести я постучалась к соседке и попросила разрешения сорвать с куста в ее палисаднике.

— Ну, ты меня очень рассмешила, — сказала соседка. — Конечно, бери!

И заметила заодно, что мне идут каблуки.

Каблуки всем идут, всем женщинам. Но целый рабочий день в них тяжело. Спрашивается, зачем обувала? Затем, что туфли идеально подходили к брюкам.

И вот вечер. Я почти уже дома. В подъезде дома. И уже, вроде, не осталось сил и шагу ступить. Но все-таки сделала несколько шагов — до смородинового куста и обратно.

Один-единственный смородиновый лист сделал мой вечер.

В черный чай его, заварить и пить. Вкус созревшего лета...

Молиться

Сегодня с утра поехала в черную церковь, потому что она только по воскресеньям открыта. Хотела, наконец, посмотреть, какая она внутри.

Служба началась в 10:30, даже без секундного опоздания.

Прихожан было человек сто, больше — темнокожие. Мужчин больше, чем женщин.

Спели вместе какой-то гимн, потом стали друг с другом здороваться. В Вильнюсе на службе в костеле Святой Анны я уже видела, как люди приветствовали друг друга — тех, кто стоял рядом. В черной церкви, видимо, каждый прихожанин должен был поздороваться с каждым. Они пошли между рядов. Улыбались, обнимались. И ко мне женщина подошла, потом еще одна, потом мужчина. Он сказал: «Что же вы тут сидите одна?» Следующей женщине я сказала, что — из Беларуси и давно хотела посмотреть церковь, поэтому пришла на службу. Женщина спросила: «Как долго вы еще будете в Берлине?» Я ответила: «Пару дней».

Когда все перездоровались, к микрофону вышел (именно так, потому что служба все-таки больше напоминала концерт) мужчина в костюме. Я приготовилась слушать проповедь. А мужчина сказал коротко (я все поняла), что Бог не где-то, не вокруг, не отдельно. Бог в тебе. И если просишь о чем-то Бога, обращайся к себе.

Потом опять пели, пританцовывая и поводя в воздухе руками. Под веселую красивую музыку и барабаны.

А я пошла гулять.

Молиться — это ведь, грамматически-логически, молить себя.

Учу немецкий, учусь у немцев

В русском — инвалидная коляска. В немецком — Rollstuhl (стул на колесах).

В русском — инвалид-колясочник. В немецком — Rollstuhlfahrer. Fahrer — это водитель.

Rollstuhl вообще-то говорят редко, чаще Rolly. А как у нас уменьшительно называют инвалидную коляску?

В русском — инвалид. В немецком Invalide тоже есть. В словаре. Но никогда не слышала и не видела, чтобы это слово на практике использовали. Употребляют Behinderte — имеющий препятствие.

Имеющий препятствие не значит не имеющий возможности. А у нас говорят — человек с ограниченными возможностями.

Имеющий препятствие да преодолеет...

Боятся все

Если страшно ночью в дождь идти через парк, смело иди.

Никого там не будет, потому что другим страшно тоже.

День учителя из Макао

Я веду блог бесцельно и бессистемно (как и живу), поэтому статистику посещений не отслеживаю, а просто просматриваю иногда ради любопытства.

Сегодня просмотрела. Не без причины. Обычно в выходные посещений меньше, чем в будни. Но сегодня просмотры были на удивление высокие. Стало интересно, откуда пользователи.

Большинство посетителей были из Беларуси, на втором месте — Франция (о-ля-ля! французов среди моих читателей раньше не было), на третьем — Россия... И главное — три просмотра из Макао.

Из Макао! Даже не знала о существовании такой страны.

Теперь знаю. И знаю, что там сегодня было жарко и дождь. А официальные языки — китайский и португальский, несмотря на то, что на последнем говорит 0,6% местного населения.

Спасибо тебе, читатель из Макао! Сегодня ты — мой учитель географии!

Да

Проехала сегодня в метро нужную станцию. Было у меня такое один раз, в 2001 году. Но что именно тогда читала, не помню.

Помню, любимый наш профессор Анатолий Николаевич Андреев как-то сказал: «Читать, конечно, надо. Но не забывайте, пожалуйста, уважаемые, что за чтением можно профукать жизнь».

Профукать жизнь, именно так и сказал. Именно так я и запомнила.

Опомнилась, вышла на следующей станции, поехала обратно. В поликлинику.

Читала в очереди в регистратуру, читала в очереди в гардероб, а в очереди в процедурный кабинет — заплакала.

Маленькая девочка смотрела на меня, не украдкой, открыто. И думала, наверное, «вот и взрослая тетя тоже боится кровь сдавать».

Я ждала тебя, так ждала

«Ты был мечтою моей
хрустальноюуууууу...» —
пела Ирина Аллегрова из плеера, который держал в руках сидевший на корточках у стены станционного здания пьяный мужчина.

Рядом стояла его женщина. Он как будто хотела присесть к мужчине, но стеснялась. Но надо было что-то делать. Стоять просто так под такую песню нелепо. И женщина стала пританцовывать, поднимая и опуская плечи.

На ней была высокая черно-бело-серая шляпа в клетку «пье-де-пуль» и коричневые старенькие ботинки на толстой подошве, остальная одежда не запомнилась.

Все еще танцуя, женщина вытащила из кармана губную помаду и накрасила губы. Затем перестала танцевать и осмотрелась по сторонам.

Я увидела, что она счастлива...

На противоположной платформе люди ждали электричку.

Иешуа Га-Ноцри, и астронавты в черной высоте, и женщина в клетчатой шляпе, и Ирина Аллегрова. Все — люди.

«Мир,
в котором я живу,
не делится на части,
пока в нем есть любовь...»

У стен станции пела уже Вера Брежнева.

Если бы Пушкина!

Электричку объявили, а мне еще надо успеть купить билет. Залетаю в здание станции.

В зале ожидания — один человек (потому и заметила). Сидит в чем-то грязном справа от окошка кассы. На полу, у грязных его ботинок — большая грязная сумка. В руках, светлым пятном — толстая книга.

Покупаю билет. Тороплюсь. Но неймется.

Подхожу к мужчине:

— Доброе утро! Что вы читаете, если не секрет?

Он отрывает глаза от страницы, смотрит на меня, но пока не видит. А я вижу — глаза чистые, трезвый совсем. Вижу — не бомж, хотя, честно сказать, сначала так подумала. Честно сказать, я и подошла к нему потому, что думала — бомж.

А мужчина уже вернулся из книги на станцию. Говорит:

— Фантастику.

И я вижу автора — Вадим Панов. Не знаю такого.

Эх, если бы Пушкина! Классная история бы вышла. Можно было бы записать, выдать за рассказ (и придумывать ничего не надо).

А так — просто пост (и ничего не придумано).

Оказалось — чужой

Опаздывала к назначенному времени в женскую консультацию. Наперерез мне — усатый мужчина в возрасте, с палочкой, прихрамывая. И, казалось, торопился, как все торопятся попасть в регистратуру, где к окошкам всегда большая очередь.

Я вошла первая, он следом, но заявил, что раньше занимал. Встал впереди меня.

Когда очередь до него дошла, назвал фамилию на «ова».

— Кто это? Где она? — спросила регистратор.

— Сидит в машине у меня. Стар***а***я она, на костылях... Чего ей в очереди стоять? Я ее потом приведу.

Регистратор ушла. Вернулась с карточкой. Стала оформлять направление.

— N — агрогородок или деревня?

— Деревня.

— Улица как называется? Не могу разобрать.

— Да не знаю я. Честно, не вспомню названия. Одна у нас там улица. Номера дома будет достаточно.

— Телефон контактный давайте. Домашний.

— Нет домашнего. Пишите мобильный мой... Все ей звонят на мой мобильный.

Обычно очередь в консультации нервная. Но из-за этого мужчины женщины успокоились. Я тоже забыла, что опаздываю, стояла и думала. Вот люди поженились, наверное, совсем молодыми. Жили, детей растили, наживали добра, старели. Теперь она на костылях, он — с палкой. В деревне, на улице без названия. Но вместе. Сегодня он ее к врачу привез. Заботится, чтобы поменьше ей испытывать неудобств. И ей звонят на его мобильный.

— Вы муж? — регистратор спросила исключительно из праздного интереса. И вся очередь этому вопросу обрадовалась (всем хотелось удостовериться, что муж). Хотя, конечно, муж, кто же еще?

— Да не муж я! — воскликнул он с досадой школьника, которого «женили» на однокласснице, которую все считают некрасивой. — Чужой человек. Одна она. Дочка от нее отказалась.

Вот так… Родные отказываются, а чужие нет...

Когда от врача вышла, я их увидела. Усатый мужчина с палкой опирался спиной на стену, напротив него на костылях стояла бабушка лет девяноста пяти.

Латы, коньки, меч

Крепость — камни.

Из какого окна ни смотри — ров с водой, за рвом — степь, в степи — враг. За врагом надо следить постоянно.

Любимый мужчина носит латы. Вечером точит меч.

Дом — стены.

На столе у компьютера — свечка и крем для рук.

На холодильнике — тюбик оксолиновой мази и крошки хлеба.

В изголовье кровати — лампа, будильник, журнал «Нёман».

В ванной — вода на полу.

Из душа выходишь в одном полотенце.

В комнате пахнет спящим ребенком.

И точить нужно только коньки.

Проводы зимы

Встреча была назначена в два в кафе на проспекте. Я опоздала минуты на три (задержалась в аптеке в очереди, в которой пенсионеры подолгу рассчитывались ветхой мелочью за не обязывающие к выздоровлению лекарства), а она, наверное, была на месте давно: уже обосновалась за самым лучшим столиком и буквально дирижировала несколькими официантками, называя каждую по имени.

— Здравствуйте! Вот ваше место, думаю, так будет удобно. Я все заказала. Единственно, что вы будете пить? Вино или коньяк?

Я выбрала коньяк, так как уверена была, что вино все равно принесут плохое.

Одна официантка налила нам воды, вторая принесла снифтеры и 150 граммов в графинчике, третья — оранжево-зелено-красный салат из паприки, огурцов и помидоров.

— Признаться, вообще не хочу есть, — сказала я. Она меня даже не услышала.

Мы тихонько чокнулись, почти в один голос произнесли «за вас!», выпили. Салат был вкусный, в коньяке я не разбираюсь.

Встреча была по делу. Планировали ее давно. Я планировала — пирожно-кофейную. Теперь, когда оказалось, что времени в запасе много (Вы закусывайте! Салат — постный, но будет еще настоящая хорошая отбивная!), я задала ей вопрос, не имевший к делу вообще никакого отношения.

Если честно, я задала его для приличия. Думала, она ответит в двух словах и дальше я смогу рассказать о своем. Хоть кому-то рассказать, если тем, кому хочется, рассказать нет возможности.

Но она отвечала, и я про себя забыла. Она, как по ступенькам, спускалась (поднималась?) по событиям все дальше и дальше от того времени, в котором мы живем, все больше убеждая меня, что времена всегда одинаковые, а меняются трудности, с которыми людям приходится не сталкиваться, а именно справляться.

В командировку уезжала на два дня. Но случилась нелетная погода, и неделю сидела в Архангельске в густом тумане. «Сынок, поставь чайник на плиту, включи газ!» — звонила она сыну в Минск. Через десять минут перезванивала: «Сынок, выключи газ, сними чайник, завари себе чаю».

Сыну было восемь лет. Перед сном он раскладывал на столе тетради. Она возвращалась ночью, проверяла домашнее задание, писала ему записочки, где — все хорошо, где что исправить. Утром он просыпался, читал записочки — она уже снова была не дома. Но сын знал, что мама рядом.

— Представьте... Когда начинала работать... Работаем, и всем плохо. Всем. До единого. Это ужасно! Ужасно! — она закрывала накрашенные глаза, опускала голову и мотала ею из стороны в сторону, как будто хотела вытряхнуть из нее фашистские бомбежки; возвращение в 44-м из леса в деревню, где на месте дома осталась только печь; комнату в общежитии на двадцать человек и стипендию в 14 рублей. Но под бомбежками выжили и радовались. Радовались, что есть печь. Радовались, что через дорогу от общаги — парк Горького. И если кавалеры были достаточно сильны, чтобы раздвинуть прутья ограды, можно было бесплатно пробраться летом на танцы или зимой на каток, где катались под живой оркестр.

Мы допили коньяк. Доели котлеты. Она накрасила губы розовой помадой, весело глядя на меня.

— Без зеркала?

— Да... Последний штрих перед выходом к людям.

Потом надела шляпку перед трюмо, разглядывая себя, поворачиваясь на каблучках. И я восхищалась, и даже немного завидовала ее женственности.

Мы вышли на улицу и пошли к остановке, где меня ждала дочка.

Ей нужно было в другую сторону, но она пошла со мной. Хотела увидеть моего ребенка.

Я познакомила их. И мы раскланялись. На прощание она сказала Лене:

— Ты только кушай хорошо!

Была не была

Женщина вышла замуж. Ее мужчина раньше был чужим мужем, а потом стал ничьим, оказался никому не нужен, потому что не было у него ног и не было какой-нибудь профессии. От первой жены у него была дочка.

А женщина вышла за него замуж, потому что хотелось.

И стала с ним мучиться. И так замучала его, что он ее однажды ударил ножом. Попал, конечно, в тюрьму.

Дочка приехала его навестить. Зашла по дороге к женщине. Пошли они в тюрьму вместе.

Идут, а женщина говорит:

— Интересно, кого он первой обнимет, меня или тебя?

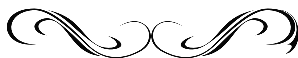
Дочка, когда вспоминала об этом, улыбалась невесело — ох уж, мол, эти жены.

До свидания! Спасибо!

Ехали домой из Минска, кондуктор объявляла остановки и желала выходящим спокойной ночи.

А пассажирам было непривычно.

Но на конечной стали улыбаться: «До свидания!», «Спасибо!», как будто не из автобуса выходили, а уходили из гостей…





Анатолий АВРУТИН

Спешите медленнее жить

* * *

...Наш примус все чадил устало,
Скрипели ставни… Сыпал снег.
Мне мама Пушкина читала,
Твердя: «Хороший человек!»
Забившись в уголок дивана,
Я слушал — кроха в два вершка, —
Про царство славного Салтана
И Золотого Петушка…
В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала —
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвездно,
Что сказка — это не всерьез,
Мы знали — папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принес.
И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала —
Я помню новой книжки хруст…
Давно мой папа на погосте,
Я ж повторяю на бегу
Строку из «Каменного гостя»
Да из «Онегина» строку.
Дряхлеет мама… Знаю, знаю —
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу — золотится взгляд…

* * *

Александру Темникову

Спешите медленнее жить —
Пока глаза глядят лукаво,
Пока походка величава…
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить,
Еще в себе не сомневаясь,
В зрачках любимых отражаясь…
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить
Покуда под ногами тропка,
Пока идется не торопко —
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить,
Пока гнездо под крышей вьется,
Покуда жизнь не оборвется —
Спешите медленнее жить.

* * *

Памяти отца

1

Кто во гробе?.. — Папа мой лежит,
А вокруг — гвоздики да мимозы…
Мама бы заплакала навзрыд,
Но давно уж выплаканы слезы.

Пусть Всевышний так провозгласил —
Папа вскрикнул… Сбросил одеяло…
Мама б молча рухнула без сил,
Но давно уж силы растеряла.

Стылой прелью тянет от земли…
Что же ты наделал, святый Боже?
Маму б в черном под руки вели,
Но она давно ходить не может.

Лишь бессильно смотрит и молчит…
Снег на веках папиных не тает…
И невольно плачется навзрыд,
И под горло вечность подступает…

2

Детство… Палочки, буквы, счеты,
Хитрый соседский кот.
Папа скоро придет с работы,
Мама блины печет.

С папой рядом — никто не страшен,
С мамой — светлее свет.

Есть морковка… И быт налажен.
Жалко, картошки нет.

«Сам читаешь? Заплакал? Что ты?—
Девушка оживет…»
Папа скоро придет с работы,
Мама блины печет.

Две липучки… А на карнизе
Ткет свою сеть паук.
«Вдруг к Октябрьским цены снизят,
«выбросят» масло вдруг?..»

Детство, где ты? В сто тысяч сотый
Раз про себя шепчу:
«Папа, папа, вернись с работы…
Мама, блинов хочу…»

* * *

В годы войны на территории Беларуси фашисты создали 14 лагерей, в которых полностью забирали кровь у детей, переливая ее своим раненым. Тела детей сжигали.

— Я з Крыніц… Жыва пакуль…
Зваць Алеся.
— З Докшыц я… А ты адкуль?
— Я з Палесся…

Кровь возьмут до капли, всю,
Без разбору.
Было б восемь Михасю,
Шесть — Рыгору.

А Алесе скоро семь…
Время мчится.
Было б лучше им совсем
Не родиться.

Горе-горюшко родне…
Крови алость,
Что немецкой солдатне
Доставалась.

В госпитальной чистоте
Бывшей школы
Перелили в вены те
Кровь Миколы.

Заживляла след от пуль
Кровь Алеси,
Что шептала:
— Ты адкуль?
Я — з Палесся...

И фашист, набравшись сил,
Встав с кровати,
Нет, не «мутер» говорил,
Плакал: «*Маці...*»

И не мог никак понять,
Хромоножка,
Почему назвать кровать
Тянет «*ложкам*»?

Ведь не знал он этих слов…
Как, откуда
У немецких докторов
Вышло чудо?

Не понять ему — бандит —
В мракобесье:
Кровь Миколы говорит,
Кровь Алеси…

* * *

Вьюги поздним набегом
Города замели…
Я шептался со снегом
Посредине земли.

В суете паровозной,
У хромого моста,
Стылой ночью беззвездной,
Что без звезд — неспроста…

Я со снегом шептался,
Мне казалось, что он
Только в мире остался —
Ни людей, ни времен.

Хлопья рот забивали
И горчили слегка.
Комья белой печали
Все сжимала рука.

Я шептался со снегом,
Я доверил ему,

Что спасаюсь побегом
В эту белую тьму.

Так мне видится зорче,
Если вьюга и мгла —
Обхожусь, будто зодчий,
Без прямого угла.

А потом — перебегом —
По дороге ночной…
Я шептался со снегом,
Он шептался со мной.

Снег пришел осторожно
И уйдет невзначай,
Как попутчик дорожный,
Что кивнул — и прощай…

* * *

Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
С робкими и верными очами —
Женщины, которых разлюбил.

Я их всех оставил… Но они
Никогда меня не оставляли,
Появляясь в дни моей печали
И в другие горестные дни.

Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили,
Никогда вернуться не молили
Женщины, которых разлюбил.

С расстоянья ближе становясь,
Все мои терзанья разделяя…
Появлялась женщина другая,
Обрывала вспомненную связь.

Женщины, которых разлюбил,
Мне и это, кажется, прощали.
До смерти разлюбятся едва ли
Женщины, которых разлюбил.





Александр СИЛЕЦКИЙ

Сокровище

Рассказ

— Значит, не дадите?

— Дорогой, ведь я же объяснил…

Люций-Пров Гальбовиц горестно вздохнул, придав лицу гримасу вежливого понимания, и еще раз с жадным обожанием оглядел ровные ряды книжных полок.

Милый бог, чего там только не было!..

— Ну, хоть одну, — без малейшей надежды попросил он. — Любую. Я верну вам завтра.

— Любую, тоже мне!.. — пренебрежительно хмыкнул хозяин библиотеки. — Это, простите, даже как-то несерьезно. Что вы, книг никогда не читали?

— Н-ну… пока учился, брал по программе электронные аналоги в Информатории, — стыдливо признался Гальбовиц. — И сейчас приходится. А вот книги… Ваша правда, не читал. В том смысле, что ни разу даже не держал в руках. Сами знаете, теперь это такая редкость…

Его собеседник чуть заметно улыбнулся и самодовольно покивал:

— Еще бы! Бумага — материал недолговечный. Когда-то подсчитали: достаточно книге, в каком бы она ни была переплете, пройти через десяток рук — и всё, она превращается в месиво, ни к чему больше не пригодное.

— Ну уж! — усомнился Гальбовиц.

— Я вам точно говорю. При нынешнем отношении к чтению книга перестала оправдывать себя. Куда надежнее обычные электронные версии. Ведь главное — какую информацию мы получаем, а не во что она завернута… Книги теперь — анахронизм. Если быть честным до конца…

— И все-таки… у вас вон какая библиотека! — с тихой завистью перебил Гальбовиц. — Даже и не представляю, сколько тут томов!.. Выходит, любите анахронизмы. И многие, я знаю, тоже… А вот снять книгу с полки, дать хотя бы полистать — никто не позволяет…

Хозяин сокрушенно развел руками:

— И таких владельцев я прекрасно понимаю. Это не из жадности, как думают, отнюдь. Тут мотивы более возвышенные… И не спорьте! Книга — не предмет, не украшение. Это, так сказать, безотносительная ценность, как бы памятник самой себе. Музейный экспонат, который не принято трогать руками.

— А вы? — не удержался от вопроса Гальбовиц. — Вы-то сами их… читаете?

— Да, временами — раскрываю… Иногда, — уклончиво проговорил хозяин библиотеки. — Но чаще, безусловно, пользуюсь их электронными аналогами. Проще. И чего греха таить, удобней. А с этими новыми книгами так тяжело!.. Их выпускают крошечными тиражами…

— Да? — неподдельно изумился Гальбовиц.

— Естественно. Чтоб только-только снять с них дубликаты, а затем уж микрокопиями, в разных вариантах, обеспечить всех… Да, собственно, и сами вы…

— Нет! Я впервые слышу, — честно посмотрел на собеседника Гальбовиц. — С микрокопиями дело ясное, не спорю, но вот остальное…

— Странно. Мне казалось, это знают все… По крайней мере, ***я*** не представляю, куда потом идет тираж. Куда-то… Может быть, и впрямь — в музей?

— А как же ***это***? — Гальбовиц коротко кивнул в сторону роскошных стеллажей.

— Да, понимаете, — замялся вдруг хозяин библиотеки, — бывают в жизни редкие удачи… Если очень нужно, если очень хочется, в конце концов, если искать везде, не покладая рук, то, разумеется… Вы даже и не представляете, на какие порой приходится идти ухищрения!..

— Вероятно, — без энтузиазма, скорей из вежливости, согласился Гальбовиц.

У него самого покуда ничего не получалось, как он ни старался.

Другие обладали грудами сокровищ, но для него, Гальбовица, тайна их приобретения и по сию пору оставалась за семью печатями.

И еще одно удивляло — эти иррациональные метаморфозы с тиражами.

По официальным данным, тиражи стремительно росли из года в год, книг вроде выходило столько, что — с ума сойти, а на поверку оставались исключительно безликие, неосязаемые микрофильмы…

Толстые книжные корешки тускло золотились под стеклянной броней.

Восхитительные монстры, по чужой прихоти вставшие один к одному, в длинные ряды, застывшие, таинственные, манящие к себе, как глубокий омут в предвечерний час…

Формально Люций-Пров Гальбовиц имел к ним самое непосредственное отношение — был классным специалистом по настройке либропроекторов.

Ему частенько доводилось разъезжать по городу и окрестностям, ходить из дома в дом, встречаясь с разными людьми, которые нетерпеливо слали вызовы в контору, и всем ремонтировать, отлаживать аппаратуру для чтения — любых конструкций и размеров, от умещающихся на ладони до таких, что занимали чуть ли не всю стену…

И во многих домах он встречал вот ***это*** — благородное мерцание под запылившимся стеклом…

— Ну, хотя бы вынуть, подержать, — в последний раз попросил он. — Просто ощутить вес, раскрыть обложку — только на минуту!

— Нет.

Гальбовиц смиренно развел руками и раскланялся с хозяином библиотеки.

— Проектор я вам сделал. Все в порядке, — сказал он на прощание. — Хотя… не понимаю…

Рабочий день близился к концу.

Оставались, правда, еще два дальних вызова — пришли в последнюю минуту, но они — не срочные, в конце концов, успеется и завтра.

Городским публичным транспортом Гальбовиц пользоваться не любил.

Даже личные электрокары, элегантные, выносливые, донельзя простые в управлении, не возбуждали в нем особенных симпатий.

Всему этому он предпочитал велосипед.

В какой-то мере — тоже архаизм… Из моды вышедший давным-давно…

Пускай, зато надежно и вполне компактно. Да к тому же — а вот это, может, главное, — ты получаешь превосходную разрядку, когда всласть поработаешь педалями после утомительного копания в сложнейших электронных схемах.

Ведь современные либропроекторы дают изображения объемные, цветные, динамичные и воспроизводят даже тихое шуршание несуществующих страниц…

Любые запахи, любые звуки! Умные головушки на славу постарались. Тут и картинки завлекательные бегают, и диктор задушевно текст читает, а буквы… нет, они, конечно, тоже есть, куда без них, коль ***это*** называют книгой, но в действительности буквы, и слова, и фразы мало значат, их почти не замечают и воспринимают лишь как некую причуду оформителя, дань далеко не обязательной традиции, которой можно смело пренебречь…

Да уж!..

Город разрастался с непостижимой быстротой.

Вернее, прежде городов на самом деле было два, но они со временем настолько тесно подошли друг к другу, что определить, где же кончается один и начинается другой, навряд ли кто сумел бы, не рискуя ошибиться.

Названия, правда, остались — на карте.

Но ведь живут-то люди на грешной земле!..

Там, где еще год назад зеленели уютные лужайки, безмятежно шумели рощи и на берегах маленьких речушек весело резвилась детвора, теперь рядами возвышались огромные здания; будто волшебным образом застывшие брызги диковинного водопада, разлетелись во все стороны пестрые проспекты, ажурные эстакады, зазмеились на разных уровнях пешеходные и велосипедные дорожки…

Только в единственном месте еще была приметна отчетливая граница, разъединявшая города, — широченный овраг с размытыми, совсем пологими от старости склонами, буйно поросшими жесткой травой.

Унылое место, неухоженное, издавна заваленное всевозможным хламом.

Это была не то чтобы узаконенная городская помойка — что это такое, горожане, в сущности, давно уж позабыли, благо мусороуборочные комбайны везде работали быстро и четко, и главное, незаметно — нет, не помойка, но все же некое подобие гигантской свалки, куда на время, пока и здесь не развернулась стройка, те же комбайны, не до конца справляясь с отходами, иногда переправляли разное старье, а то и просто мусор, — с мест, где разрушали в это время ветхие, отжившие свое дома.

Смеркалось.

То там, то здесь в окнах домов начали зажигаться огни, над переполненными автострадами затрепетали разноцветные неоновые дуги.

Сегодня Гальбовицу пришлось работать в соседнем городе — так уж «удачно» разложились заявки, — и теперь на дорогу домой, по самым скромным подсчетам, выходило два, а то и два с четвертью часа.

Это, впрочем, Гальбовица нисколько не смущало. Он любил езду и за рулем велосипеда не скучал.

Всегда можно было вдруг остановиться и передохнуть, лишь только надоест крутить педали, и зайти куда-нибудь — в музей, в кино, в кафе, в уютный магазин — или же просто перекинуться десятком слов с каким-либо знакомым, ненароком встретившимся по дороге…

В седле он, как ни странно, ощущал себя подлинным горожанином и оттого немножечко сочувствовал другим — всем тем, кто словно заживо был вмурован в бешено несущийся по магистралям транспорт…

Справа, из-за вытянутых цепью гор-домов, выползала лилово-оранжевая туча.

Она уже вымахала чуть ли не вполнеба, косо надвигаясь на пожар заката.

Изредка бледные вспышки полосовали тучу так и сяк, и вслед за этим угрюмо, с какою-то даже ленцой, над городом прокатывался гром.

Плохо.

Дождь наверняка застигнет его в пути, до дому он добраться не успеет.

Гальбовиц машинально порыскал глазами — вот досада, и укрыться негде!

Надо торопиться, чтоб доехать хоть до тех, ближайших зданий… Ну, а там…

Гальбовиц очень кстати вспомнил: в одном из них живет его давний клиент, у которого вечно что-то не ладится с либропроекторами.

Надо полагать, хозяин не откажется приютить гостя на время дождя…

Чтобы спрямить путь, Гальбовиц привычно свернул с бетонного покрытия и покатил по узенькой тропинке, что вилась через овраг.

Еще от силы год — и здесь тоже вырастут дома, зазеленеют аккуратные газоны, все оденется, как и везде, в бетон и заискрится стеклом…

И тогда два города сольются. Окончательно и навсегда. И надо будет называть их как-то по-другому.

Хотя — кто может поручиться? — вдруг и прежние названия оставят — как бы в назидание и в память о минувшем, нынче это модно…

Поглядим, недолго ждать!

Гальбовиц с силою крутил педали, наслаждаясь тишиной и безлюдьем этого заброшенного места.

Вверх-вниз бежала узкая тропинка, петляя между котлованами, кучами щебня и песка, огибая грязные завалы непонятной рухляди, — подумать только, ведь когда-то это все было ***нужно*** людям, они этим ***дорожили***, это добывали, убивая время, силы, тратя жизнь!..

Бельмо на глазу города, последняя свалка, которой быть осталось, видно, считанные месяцы. Тоже своего рода реликт, анахронизм…

Как книги, пришла на ум несуразная мысль.

Люций-Пров Гальбовиц всегда, сколько помнил себя, испытывал странное благоговение перед стариною, перед всем тем, что отжило свой век.

Возможно, потому, что этого уже не будет никогда…

Шершавое какое-то, удушливое слово — «никогда»… В нем — и загадочность, и страх внезапно обмануться…

Сиреневые сумерки все плотней окутывали землю.

Гальбовиц осмотрительно включил фонарь, и теперь рыжий мячик света весело катился впереди, выхватывая из сумрака то неровную тропинку, то несусветный хлам, валявшийся по сторонам от нее.

Вдруг что-то белое, до неправдоподобия знакомое, мелькнуло на мгновенье и пропало.

Понимание пришло не сразу.

Еще какое-то время Гальбовиц по инерции работал педалями, крепко вцепившись в руль, и лишь потом, сообразив, отчаянно нажал на тормоз.

Стоп! Ведь там, на обочине тропинки…

Нет, не может быть!

Невероятно! Ерунда, самообман.

Но — очертания!..

Выскочив из седла, Гальбовиц опрометью бросился туда, где только что заметил ЭТО.

Вот оно!

В спешке он едва не наступил…

Он осторожно, словно бы завороженный самим действием, нагнулся и…

В висках тупо застучало от волненья, от восторга, разом обрушившихся на него.

Ну разумеется, он не ошибся! Наконец-то! Наконец-то — повезло!..

В руках он держал ***книгу***.

Настоящую. Такую же, как те, что видывал не раз в чужих домах.

Она была без переплета, без начала и конца.

Налетавший ветерок лениво теребил мятые, грязные страницы, кое-где рваные, почти истлевшие по краям.

Но не в этом было дело. Не в этом!

Кто ее бросил здесь, зачем — Гальбовиц даже представить не мог.

Вероятно, когда какой-то старый дом ломали… Никто же не станет нарочно следить, сортировать…

Его поразило другое, сам факт: теперь-то и у него есть собственная книга!

Не стандартный микрофильм — эта дешевая электронная подделка, виртуальный пшик, не объемная цветная фотография, а настоящее издание, которым любовались, которое читали, перелистывая тонкие шуршащие страницы, — вот так, одну за другой, или могли заглянуть сразу в конец, раскрыть на середине, а то и просто захлопнуть и зажимать в руке, наслаждаясь объемом, весом, фактурой…

Может статься, прежний владелец относился к ней гораздо прозаичней — ну подумаешь, книга, таким несть числа!..

Все возможно…

Но Гальбовиц-то держал ее в руке впервые и с наслаждением сродни благоговению смотрел, как от его дыхания шевелятся податливые ***настоящие*** листки…

При свете велосипедного фонаря Гальбовиц смог хорошенько разглядеть находку.

Это было что-то очень непонятное — с текстом, размещенным в две колонки, где едва ли не каждая фраза была пронумерована; вероятно, справочник какой-то, совершенно устарелый и теперь не нужный никому…

Или другое…

Он сейчас не мог определить.

Ну и ладно, упрямо подумал Гальбовиц, какая разница, ***что*** это такое. Все равно — ценность. Для меня — так уж точно! И плевать мне на других.

Он бережно опустил книгу в багажную сумку.

Невольно припомнились виденные им домашние библиотеки, составленные из лучших сочинений всех времен и народов, роскошные издания, сокровища, надежно спрятанные от посторонних на стеклянных стеллажах, однако на сей раз чувства острой зависти, как порой случалось прежде, он не испытал.

Каждому — свое, глубокомысленно решил он, теперь и у меня есть кое-что.

Своя Книга!

Ну, а сейчас — быстрее!

Только бы успеть, пока затишье… Будет до обидного некстати, ежели гроза застигнет где-нибудь на полпути…

Гальбовиц вскочил в седло и привычно заработал педалями, уже не обращая ни малейшего внимания на кочки и канавы, которыми был так богат овраг…

К спасительному дому он подкатил в то самое мгновение, когда по мостовой и плитам тротуара зашлепали первые крупные капли дождя.

Не мешкая, Гальбовиц втащил велосипед в подъезд, тщательно вытер ноги и направился к лифту.

Он хотел было прихватить с собой книгу, чтобы горделиво показать, но передумал.

Какой смысл?

У хозяина квартиры, куда он направлялся, тоже весьма и весьма недурственная библиотека, и чтó для него какая-то испачканная рваная книжонка, даже не книга — просто пачка склеенных листов без переплета?!

Разве можно сравнить ее с шикарнейшими — так что дух захватывает! — уникальными изданиями Гете, Достоевского, Сервантеса, Дидро, Мольера?

Только срамиться…

Все обладатели библиотек — при разных положительных качествах — были, как правило, отчаянные снобы. Об этом Гальбовиц никогда не забывал.

Поэтому свое сокровище он скромно оставил дожидаться внизу, в вестибюле, в багажной сумке велосипеда, вместе с несъеденным в обед бутербродом, кой-какими инструментами, пакетиком леденцов и кепкой с длинным козырьком — на случай жаркой солнечной погоды.

Он взлетел на лифте на сороковой этаж и раскатисто позвонил в знакомую квартиру.

С минуту было тихо.

Наконец динамик, вделанный в дверь, нахальным тоном осведомился:

— Хто тута?

Нате вам, подумал ошарашенно Гальбовиц, и эта чирикалка — из рук вон!.. Ладно, если в доме все в порядке, хоть ее починю. Опять же — не пустой визит.

— Люций-Пров Гальбовиц, — внятно отрекомендовался он. — Из Центрального бюро либрослужбы, наладка проекторов. Я уже не первый раз.

Дверь отворилась, и он вошел.

Навстречу ему, приветливо улыбаясь, возник из боковой комнаты хозяин квартиры, философ по специальности, еще крепкий на вид мужчина лет шестидесяти, с пронзительным, надменным взглядом, но как решил для себя Гальбовиц еще в первый свой визит, с мозгами малость набекрень.

Таких, «нестандартных», клиентов он и уважал, и недолюбливал одновременно.

Они вечно совались куда не надо и задавали под руку ужасные вопросы, а то еще хуже, начинали досаждать разными советами, когда их совсем об этом не просили. Хотя, конечно же, в своих делах, в своих предметах разбирались превосходно и не прочь были при случае любовно поболтать о том, что их волнует, да и вообще, считал Гальбовиц, к роду людскому настроены были суетливо-дружелюбно.

Это искупало массу прочих мелких неудобств в контакте с ними.

— Ба, какими судьбами?! Вот радость! — громко возвестил философ, пожимая гостю руку. — В прошлый раз мы исключительно душевно побеседовали. Но, простите, я, по-моему, не делал вызова. Так как же…

— Да все очень просто. Ехал мимо, дел особых нет, с заказами управился довольно быстро, ну и дай-ка, думаю, на всякий случай загляну, — слегка приврал Гальбовиц. Об истинной причине своего визита он, из деликатности, счел лучшим умолчать. — А вы, по счастью, дома… Как проекторы? В порядке?

— Да как будто… Впрочем, шут их знает! Я ведь слабо разбираюсь, — извиняющимся тоном ответил философ. — Но все равно прекрасно, что зашли. Так мило с вашей стороны! На улице вот-вот гроза начнется… Другой бы — без оглядки, поскорей домой… Нет, очень мило с вашей стороны, — повторил он. — Я всегда был убежден: уж если человек влюблен в свою профессию… Порядочность — вот его кредо!

Гальбовиц смущенно опустил глаза.

Ему внезапно показалось, что последние слова философа полны сарказма.

— Ну, если у вас и вправду все в порядке… — неуверенно промямлил он, делая осторожный шаг назад, к двери. — Если нет претензий…

— Так что из этого? — недоумевающе-строго уставился на него философ. — Пришли — и чудесно! Сейчас будем ужинать. Весьма кстати. Ужин с маленьким сюрпризом. Пустячок, а хорошо! Ведь вы, поди, проголодались?

Вопреки всему, Гальбовиц почувствовал себя крайне неудобно.

— Даже и не знаю… — пробормотал он. — Может, я невовремя?

— Ничуть, ничуть! — замахал руками философ. — Жена и дети уехали сегодня за город, а я как сыч один… Прелестно посидим! Ну, что вы встали? Проходите!

— Кстати, — спохватился Гальбовиц, — этот ваш дверной автомат…

— Скуден на язык, — вздохнул философ. — Истинно дремуч. Правда, в косности своей почти велик. Любого поражает. Впрочем, может и отвадить…

— Починить вам?

— А зачем? Это жена его не переносит, вечно отключает, а меня он даже веселит. Вы только вдумайтесь: дремучий автомат!.. Есть что-то в этом, а?

— Ну ладно, если вас устраивает…

Надобно сказать, Гальбовиц очень не любил, когда приборы барахлили. В его присутствии, по крайней мере.

Но вслух возражать он не решился.

— Итак, мойте руки — и к столу! — торжественно призвал хозяин. — Я тут припас одну пикантнейшую штучку. Пиво с Луны! Отпускается только служащим лунных станций… Сами посудите, не везти же его с Земли! Да и на Землю — тоже нет резона. Дефицит… А я достал!

— Как книги? — ляпнул наобум Гальбовиц и сам же испугался: вот, обидел человека — ни за что…

Хотя по правде, эти разговоры о диковинках, о странном дефиците его всегда безумно раздражали.

Ведь везде, по сути, было все!

Никто давно не голодал, никто не выстаивал очередей за нужными вещами.

Доступность товаров и невысокая цена уравнивали всех. Дефицит возникал из совершенных пустяков, из ничего — обыкновенно из того, что никому на самом деле и не нужно. То одно, то другое…

Смешно! Настолько мелко!..

Неужели людям было тесно в рамках повсеместного достатка, надо было выделяться как-то сверх того?

Зачем?!

Гальбовиц этого не понимал.

И лишь одно его и вправду занимало — книги. Даже крошечный намек на них…

Тут он моментально терял голову и мог в сердцах наговорить такого…

— Позвольте, а при чем здесь книги? — округлил глаза философ. — Ба, конечно! Тоже — редкость! — И он беззаботно рассмеялся. — Я их сызмальства люблю. В такие передряги попадал порой, чтобы достать!.. Но пиво, уверяю вас, сравнить ни с чем нельзя. Нектар!

Вопреки ожиданию, дождь затянулся.

Молнии сверкали беспрерывно, и после каждой раздавался гром столь оглушительной силы, что казалось, будто весь мир гудит, как гигантский колокол. С неба на землю низвергались форменные водопады.

Нечего было и думать двигаться куда-то дальше.

На улице совсем стемнело, и сквозь пелену дождя виднелись лишь размытые уличные огни да тусклые фары автомобилей, спешащих доставить своих седоков домой, прочь от разбушевавшейся непогоды.

— Вот что, — произнес хозяин, меланхолично поглядев в окно, — пожалуй, эта напасть до утра теперь не кончится. Вы на чем приехали сюда?

— У меня велосипед…

— Ах, даже так!.. Тогда и разговору нет. Вы остаетесь у меня. Переночуете, а утром — за работу.

— Может, лучше вызвать такси? — на всякий случай запротестовал Гальбовиц, которому и впрямь нисколько не хотелось никуда сегодня ехать.

Дома, если разобраться, никаких срочных дел не предстоит, а здесь так приятно посидеть и поболтать!..

— Пустое, — отозвался хозяин. — Только лишние хлопоты, ей-богу!.. Вы меня нимало не стесните. Целая ж квартира!.. Чувствуйте себя запросто.

И Гальбовиц остался.

— Как вам пиво? — явно напрашиваясь на комплимент, поинтересовался несколько спустя философ. — Ведь очаровательно, не так ли?

— Да, недурно, — рассеянно кивнул Гальбовиц, хотя, по совести, ничего замечательного в этом пиве не заметил.

Право, на Земле не хуже. Может, даже посвежей.

Конечно, дефицит — он сладок, придает всему особый шарм, волнует…

Чувствуешь себя добытчиком, как будто в дикой чаще голыми руками мамонта поймал.

А то, что рядом ходят те же мамонты, пускай другого цвета, — этого не замечаешь…

Ах, лунное пиво, сказочная редкость!..

Но на организм-то действует, как самое прогорклое земное! Вот что обижает.

Стоит после этого стараться?

А ведь, глядишь, еще придумают…

Пельмени марсианские, к примеру. Или сливной бачок по-венерянски, с музыкальной поднатужкой…

Как же, редкость! Где достать?!.

Здесь, в этом вальяжном доме, тоже было великое множество книг.

Им отвели целую комнату, где они царски-величаво и покоились на тускло полированных полках из настоящего дерева, — так, во всяком случае, уверял гостеприимный хозяин, а сомневаться в правдивости его слов у Гальбовица не было ни желания, ни причин.

Волнующая близость дорогих — само собой, не всякому доступных! — книжных стеллажей автоматически настраивала на определенные, лирически-возвышенные мысли и, по мере поглощения редчайшего на свете пива, невольно направляла разговор в единственно возможное теперь русло.

Показать какую-нибудь книгу Гальбовиц уже и не просил — знал заранее, что все равно откажут. Поэтому он лишь участливо поинтересовался:

— Я так полагаю, не каждому из нас дано книги собирать? Целую-то библиотеку?! Ведь, надо думать, столько сил уходит? Это — как талант: умеешь — собираешь, не умеешь — ну и до свиданья. Или я не прав?

Философ откинулся на спинку кресла и безмятежно посмотрел в дверной проем: там, в соседней комнате, как диковинные аквариумы, взгроможденные друг на друга, как океанский лайнер, притушивший на всех ярусах огни и ошвартовавшийся на зимнюю стоянку, чуть светились отраженным светом и загадочно мерцали в полумраке стекла стеллажей.

— Если поставить перед собой значительную цель, — назидательно сказал философ, — и идти к ней неуклонно, день за днем, в конце концов удача улыбнется. Трудно, безусловно. А что до какого-то особого таланта собирать… Не мне судить. Я признаю один талант: умение поставить цель перед собой. Без этого все остальное — чепуха.

— Но… зачем они вам? — неожиданно спросил Гальбовиц. — Есть ведь электронные аналоги…

Философ растерянно пожал плечами, точно услыхал нелепицу, какую даже затруднительно себе вообразить.

— Х-м, в самом деле, для чего? Я даже и не знаю, что ответить. Так уж как-то получилось, незаметно… Мне приятно. Беспрерывно хочется все больше, больше… Не суррогат, а подлинную ценность… Вы проводите рукой по корешкам и словно ощущаете тепло, идущее от них, как будто в вас перетекает удивительная сила. Мысли всех веков, страдания и обретения, добро и зло — застыли перед вами, они — ваши, здесь, всегда, и сами вы — их неотъемлемая часть. Это, знаете ли, поразительное чувство…

— А как украшают квартиру, какое благородство придают хозяину! — в тон ему откликнулся Гальбовиц.

Вдруг невероятно захотелось сказать какую-нибудь пошлость, гадость этому самовлюбленному владельцу…

Я опять завидую, подумал с горечью Гальбовиц, неужели так и будет — всю оставшуюся жизнь?!

Некоторое время философ изучающе-настороженно разглядывал гостя, а затем, что-то словно решив для себя, ограничился короткой снисходительной усмешкой.

— Да! — не без вызова ответил он. — И это — тоже! И, пожалуйста, не иронизируйте. Для того, чтобы сопереживать, нужно иметь самому.

— ***Иметь***! — невольно вырвалось у Гальбовица. — Обязательно — иметь!

— А вы как думали? Проникнуть в суть предмета, не имея такового, невозможно, как и невозможно дорожить тем, чем не обладаешь. Нельзя любить, когда объекта для любви перед собою нет. А эти умозрительные рассуждения — не стоят ровным счетом ничего.

— Ну, хорошо, — возразил Гальбовиц, — вы так поступаете и говорите, потому что книг достать практически нельзя. Добывая каждый раз новую, вы тешите свое тщеславие, вы как бы возвеличиваетесь в собственных глазах.

Философ только досадливо замахал руками, но Гальбовиц, будто и не замечая этого, упрямо продолжал:

— А вот скажите мне по совести: будь книг везде навалом, не имей они такой, что называется, престижной ценности, вы стали бы их собирать, не пожалели бы расходов, времени, усилий? Или тогда ваш интерес нацелен был бы на иное, в свой черед — ужасно редкое? Скажем, каменные топоры неандертальцев… Ведь отыскались бы, наверняка, умельцы, наловчившиеся их вытесывать, поскольку это — модно!

— Господи, при чем здесь какая-то мода?! — Философ горестно воздел руки к потолку. — Вы путаете вещь сугубо утилитарную с духовной, лишь облеченной в вещественную оболочку! Впрочем, это свойственно довольно многим… Что теперь поделаешь?! Так уж устроен мир. Таково наше отношение к нему. Даже высшие духовные ценности, ни во что не материализованные, становятся нелепыми. И вообще, в конце концов, что вы хотите от меня? Чтобы я выбросил все книги?.. Такое впечатление, как будто вы упорно стараетесь уличить меня в грехе, в каком-то невозможном преступлении!..

— Ну что вы, зачем уж… — вяло улыбнулся Гальбовиц, подавляя внезапную зевоту: ни с того ни с сего его разобрала сонливость. То ли выпитое эдак подействовало, то ли просто вымотался за день, много нынче выдалось работы… — Нет, я ни в чем не обвиняю вас. Было бы смешно!.. Я лишь хочу понять… Мне это важно — самому… Или и вправду я покуда не дорос, или другие что-то делают не так…

— Скажите-ка на милость!.. Стало быть, не все благополучно в Датском королевстве? — хмыкнул с напускной беспечностью философ.

— Может быть. Мне судить трудно. Слишком незаметная фигура — так, настройщик либропроекторов…

— Помилуйте, отличная профессия! Что бы мы все делали без вас?!.

— Может быть, — повторил Гальбовиц. — Хотя, наверное, мечтал о большем…

— Ну, таких разговоров я не призна***ю***, — ободряюще похлопал его по плечу философ. — Любое дело, если это ***дело***, безусловно, — только возвышает. В конце концов, уж коли вас так удручает невозможность достать книгу, я вам помогу. Дам адресок. А впрочем, нет, сам позвоню и кому надо отрекомендую: так и так, мол, человеку ***надо***… Познакомлю кое с кем… Но это лучше сделать завтра. Сейчас, боюсь, немного поздновато… — он мельком глянул на часы. — Да, сейчас неудобно. А утром встанем — и все-все обговорим. Идет?

— Еще бы! — радостно кивнул Гальбовиц.

Уж чего-чего, а эдакого поворота в разговоре он нисколько не предвидел. Прямо сказка наяву!..

— В таком случае — за нового библиофила! — заговорщицки подмигнул ему хозяин и приподнял свой бокал. — Спать ляжете в библиотеке, на диване. Будет, может, не совсем удобно, но, к сожалению, просто больше негде.

— Ну и ладно. Вот и превосходно, — беспечно возразил Гальбовиц, чокаясь с новоиспеченным благодетелем. — Я, знаете, не из капризных…

И вот настал миг сладостный и вожделенный.

Хозяин, пожелав гостю доброй ночи, величаво удалился в свою спальню, и Гальбовиц — наконец-то! — очутился один на один с тысячеликим чудом, с волшебством, в себе таящим миллионы дивных сутей, из которых каждая звалась пусть внешне и неброско, но загадочно-неповторимо — книга.

Он лежал, не шевелясь, на узеньком диване и дышал ровно, полной грудью.

Казалось, самый воздух в этой комнате был изначально напоен немыслимыми ароматами, что невидимо струились по страницам книг, закрепленные навек в словах, возвышенно-прекрасных, мудрых, ясных…

Точно долетели ниоткуда шепчущие голоса, ведущие между собою нескончаемые разговоры, голоса, способные, как, может быть, никто другой на целом свете, радоваться, огорчаться, обожать и проклинать…

Вон там — на полке сверху — кто живет сейчас? Шекспир? Платон? Рабле? Или Алиса из Страны Чудес? Или Коровьев в треснутом пенсне?

А здесь, на полке в метре от дивана, кто поселился? Эй, откликнись!

Как дела, друг неизвестный, что поведаешь, какие в мире чудеса?

Дождь перестал, гроза ушла. И только отдаленные раскаты грома разносились среди ночи, да в тишине с ветвей деревьев гулко падали на землю капли.

Город спал…

Было спокойно, было очень хорошо.

Но вместе с тем Гальбовиц смутно чувствовал, что еще самой мелочи какой-то, пустяка по сути, ему сейчас, вот здесь — недостает.

Ему необходим один, последний, самый важный штрих, чтоб ощутить себя на острове блаженства.

Что-то нужно сделать, сотворить немедленно такое, о чем он, если вдуматься, мечтал всегда, о чем не раз просил других, но — безответно.

Он включил торшер у изголовья и, взволнованный, уселся на диване.

Что ж, в конце концов, его желанье не содержит ничего преступного!

Он только на минуту снимет с полки книгу, пролистнет — и тотчас же на место…

Странно, почему никто не позволяет?

Разумеется, любая книга — ценность, но не до такой же степени!

Ведь сами-то хозяева читают их — и ничего…

Тогда Гальбовиц встал и, не дыша, как будто это делало его шаги воздушно-невесомыми, волнуясь, одолел те метры, что отделяли его от стеллажа.

Вот они, книги, покоятся перед ним ровными рядами, одна другой желаннее — любая, как колодец в бесконечность, как телескоп, приближающий далекие миры…

Стараясь действовать бесшумно, Гальбовиц осторожно сдвинул вбок стекло.

Сейчас…

Внезапно вспомнились недавние слова хозяина квартиры: «Вы проводите рукой по корешкам — и словно ощущаете тепло, идущее от них…»

Черт побери, ведь он, пожалуй, прав!

Гальбовиц неожиданно почувствовал, что весь он будто наэлектризован…

Может, просто от волнения, от нетерпения, от бесконечного восторга?..

Не в силах совладать с собой, он торопливо ухватился за первую попавшуюся книжку, толком даже и не разобрав названия на корешке, и резко потянул ее на себя.

Книга извлеклась на удивление легко, точно силы тяготения над ней были не властны, и, выскользнув из пальцев изумленного Гальбовица, по инерции описала в воздухе широкую дугу и мягко шлепнулась на пол.

При этом звуке Гальбовиц инстинктивно съежился, со страхом ожидая, как сейчас распахнется дверь и в комнату влетит разгневанный хозяин.

Все, однако, было тихо.

В доме царил благочинный покой.

С облегчением вздохнув, Гальбовиц нагнулся и подобрал с пола книгу.

Нет, нигде не порвалось, обложка даже не помялась — вот и хорошо!

Но странное дело, книга, несмотря на свой внушительный объем, была какой-то чересчур уж невесомой…

Непозволительно легкой, скажем так.

Еще ничего не понимая, Гальбовиц осторожно приподнял обложку и — остолбенел.

Книга была совершенно пустой.

Точней, это была обыкновенная коробка, сработанная внешне под книгу.

Лишь на самом дне ее лежало несколько ничем не примечательных объемных слайдов, на которых с озорным самодовольством улыбался еще молодой философ…

Все это походило на коварный, непонятно кем подстроенный обман, несвоевременный, неумный розыгрыш, напоминало хитрую ловушку…

Только — для кого? Зачем?

Смутная догадка поразила вдруг Гальбовица.

Он торопливо бросился обратно к стеллажу и с исступленно-жадной, злой остервенелостью, не разбирая, начал потрошить подряд все полки…

И наконец, когда у ног его образовалась целая гора жалких в роскошной никчемности своей книжных муляжей, он бессильно опустил руки.

Дальше смотреть не имело смысла.

Он уже понимал, знал доподлинно: и дальше — будет только так!

Красивейшие, в золотых тисненьях переплеты, а внутри них — пустота…

Неожиданно им овладел приступ сумасшедшего, удушливого смеха.

Но нельзя шуметь, нельзя!

Он изо всех сил зажимал ладонями рот, давился, корчился, дрожа всем телом, слезы текли и падали на пол, на то, что некогда он принимал за книги…

За ***подлинные*** книги, сохранявшие культуру мира, за настоящее, бесценное сокровище…

Вот почему его не подпускали к стеллажам!

Смотри, любуйся, брат, завидуй! Мы — такие, что угодно раздобудем, только надо умеючи жить!

Жить умеючи…

О да, они умели!

Пыль в глаза пустить — для этого нужна сноровка, нужен несгибаемый талант все профанировать, все опошлять и извлекать из этого утеху для себя, в том видеть цель и высший смысл существованья.

А он, простак, и впрямь завидовал, нешуточно страдал, порою даже — унижался…

Метал бисер перед свиньями…

А им-то ведь того и надо!

Им ведь всем — чем горше ближнему, который что-то не имеет из того, что есть у них, — тем только радостней и легче на земле дышать.

Ну ничего, теперь он получил такой урок!..

Они еще кичатся редкостями, что-то добывают, прячут — вот их настоящая цена!..

Поразительно, философ утром собирается звонить куда-то, будет корчить благодетеля…

Да неужели он действительно считает, что Гальбовиц — как ***они***, что, уподобясь прочим, вовсе не по книгам он страдает, а по магическим названиям на толстых корешках, по некой книжной массе, которую легко не без изящества размазать по стенам, включив в круговорот сегодняшнего интерьера?!

Неужели он уверен, что Гальбовиц, увидав обман, нисколько не смутится, но, напротив, разом подключится к этой подленькой игре, восторженно захлопает в ладоши и воскликнет: «Вот, и у меня теперь, и я теперь элита — в некотором роде!..»

Дольше здесь оставаться Гальбовиц не мог. Ему было стыдно и противно.

Аккуратно все расставив по местам, он начал торопливо одеваться.

И ведь что ужасно: вновь и вновь он будет приходить сюда и видеть ***это***… И не только здесь…

Он будет каждый день являться — то в один дом, то в другой, знать тайну и — молчать. Работа, что поделаешь… Такой вот новый, неожиданный аспект…

А надобно терпеть, и делать вид, и улыбаться… Эх!..

Внизу, под лестницей, у входа, ждал испытанный его велосипед, где в багажной сумке вперемежку с разной мелочью, лежала Книга.

Очень старая и очень рваная, наверное, и в самом деле никому не нужная.

Но — настоящая. Единственная.

Только у него?

Или теперь — на всей Земле?

Он хотел было оставить на столе записку, где извинился бы перед хозяином, поблагодарил бы за прием, за доброе участие, — но передумал.

Нет, просто тихо уйдет — и не надо никаких расшаркиваний. Глупо.

А утром позвонит и скажет, что приобретать для дома книги расхотелось — есть на то досадные причины, — разумеется, большущее спасибо, но не стоит утруждать себя и уж тем паче досаждать другим.

Как говорят, расстанемся друзьями.

Так-то оно лучше и спокойней.

Он погасил торшер и вышел в коридор.

Флюоресцирующая панель под потолком — своего рода ночник, обязательный атрибут любой квартиры — давала достаточно света, чтобы, не натыкаясь на предметы, можно было без помех покинуть жилище.

Сухо щелкнул замок — и Гальбовиц очутился на лестничной площадке.

— Нада тиха. Ночью труженики спят. Вот только я… — напутствовал его привратный автомат. — Осадитя разговоры, уважайтя спящих дома… И-йех, калинка-малинка моя! Да растудыть, и вообще!.. Ну, гость пошел!..

И тут впервые в жизни Гальбовиц с изумлением отметил для себя, что у него начисто отсутствует желание чинить этот разладившийся автомат.

Прежде — было, да, а вот теперь прошло. И — никакого сожаления…

Поскольку, понял он, и в этом электронном препохабном скоморохе заключался тот же непотребный шарм, что и в роскошных книжных стеллажах…

И во многом другом, и во многом другом…

Может статься, эта диковатая юродивость, убогость специально поощрялась кое-кем, и даже были некие секретные умельцы, создававшие особые, «веселые» программы на потеху разным снобам.

Дескать, мир несовершенен, а мы выше этого, мы — избранные, не чета другим!..

На первом этаже, стараясь не шуметь, Гальбовиц выкатил из бокса свой старенький велосипед, на всякий случай проверил содержимое багажной сумки, удовлетворенно улыбнулся и лишь затем шагнул на улицу.

После грозы было несколько прохладно, даже зябко.

Влажный воздух, безмятежно чистый и бодрящий, напоен был свежим ароматом.

Распускается сирень, мелькнула мысль, что-то в этом году поздновато…

Эх, в такую ночь гулять бы да гулять!..

На улицах — безлюдье.

Еще не просохшие мостовые искрились, отражая свет вознесенных к небу неоновых дуг.

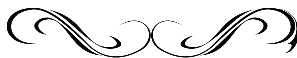
Чтобы скорее согреться, Гальбовиц изо всех сил налег на педали и помчался по улице, с шипеньем распуская по бокам от себя шлейфы воды, когда очертя голову врезался, как мальчишка, в очередную лужу, что встречалась на пути…

Быстрая езда, вопреки всему, успокоила, настроив на мажорно-безмятежный лад, и недавняя обида как-то незаметно, исподволь прошла, угасла наконец.

Ведь — мелочи все это, что ни говори. Пустые мелочи, пустые!..

И не на этом жизнь стоит…

Если ничего в дороге не случится, подумал Гальбовиц, через полтора часа я буду дома. И еще часика три смогу поспать. А перед сном я возьму свою Книгу и немного ее полистаю. Говорят, это чертовски приятное занятие…



В пламенном дыхании зимы

Алла НИКИПОРЧИК
Гродно

* * *

(В Крещение)

Господи
дай мне воды
хотя снежинки огромны и влажны
и сразу становятся водой на губах

Господи
дай мне воды
хотя сам воздух разверст
как Иордан
он омывает и очищает

Господи
дай мне воды
прошу как самарянынея у колодца
чтобы мне вовек не почерпать
чужих и неправильных вод

Господи
как в наивысшую жажду духа
дай мне воды

* * *

кормила голубей морозом белым
и что-то пела
и это что-то плач напоминало
оно не выражалось ни словом
и ни звуком
какою-то невысказанной мукой
затерянной на донышке души

оно и мукой
давно быть перестало
и стало
самой душой

кормила голубей морозом белым

Николай КОВАЛЕВИЧ
Брест

* * *

Мороз
Сжимает землю
Крепче, крепче…
Стоят деревья в инее седом.
Воспев Богоявленью славу,
Речка
Остановилась, скованная льдом.

Все звонко…
Все прозрачно…
Все узорно…
Нам в пламенном дыхании зимы
Щемяще-тесно…
Царственно-просторно —
И сетуем…
И радуемся мы.

Светлана АГЕЕВЕЦ
Ружаны

* * *

О, как мне нравится
Зима-красавица!

С пушистым снегом
И санок бегом,

С метелью, стужей,
Ледком на лужах.

С морозным кружевом,
Крещенским ужином,

С мечтой о суженых
Девиц-подруженек.

* * *

Душе летать не запретишь —
Даны ей крылья неслучайно.
Взмывает в небо выше крыш
От счастья и когда печально.
Не запретишь душе болеть,
Страдать, надеяться и верить.
Стремится жизни круговерть
На человечность нас проверить…

Елена ПЕТРОВА
Минск

Зимняя сказка

Домовой за печкой лопочет:
Учит разуму серых мышей;
Мать-старушка у печки хлопочет,
И огонь — все светлей и рыжей…
В драных валенках разве ты выйдешь?
А за окнами — снег да снег;
И морозные сказки пишет
Зимний вечер в моей голове.
«Кошка, слушай! Давно, зимою…»
Кошка тихо себе поет,
Кошка мордочку лапкой моет,
А потом на коленях уснет…
Мать колдует, о чем — не слышно.
А в реке застонал водяной,
Кто-то тяжкий под дверью дышит
И балуется тонкой струной…
Мамка! Белые резвые кони
Снег взметали под самым окном.
Они самую зиму нагонят…
В хлев давай их к себе отведем!..
Скрипнут двери — и разом кони
Станут ветками белых берез…
Эх! Всегда самый сон прогонят!
Да напустят в избу мороз…

Вячеслав НЕСТЕРУК
д. Круговичи, Ганцевичский р-н

Синичке

Привет тебе, гостья-синичка,
Мне нравится твой голосок.
Ты самая мирная птичка,
Крестьянских подворий дружок.

Поверишь, на сердце теплее,
Лишь только услышу «тинь-тинь».
С тобою и жизнь мне милее,
Светлее небесная синь.

Филмор ПЛЭЙС
Минск

* * *

И падает, и тает снег,
И вместе с ним и падаю, и таю,
И в травах безмятежно засыпаю,
И с ручейками начинаю бег.

Но снега больше, и земля белей,
И вот уже деревья засыпают,
И птичьи крики в бледном небе тают,
Прощаясь с белым бархатом полей.

Как тихо в мире! На душе светло!
И музыка глубоко в сердце тает…
И, кажется, природа засыпает
Лишь для того, чтоб накопить тепло…





Андрей АНТИПИН

Смола

Рассказ

В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой преломится как-нибудь так исключительно, что прожжет мерзлый слежалый снег, и отпотеет небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом сером щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпертом частыми кольями, вдруг вспыхнет, вдруг заиграет, загорится морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной лиственничной смолой. И такая она сделается янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через нее — все равно что приблизив к глазам луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесет снегом, рваным печным дымом — и снова ветхий забор, шершавые от вгрызшейся пыли доски, сплошной мертвый хлам. Но ты-то знаешь, что это не так.

Об этой доске со смолой я думаю, когда на реке вижу Пузырька.

Пузырек — мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими уделами ленские крестьяне, промышлявшие зимой налимов, и из года в год эти речные границы строжайше соблюдали, а когда оставляли свое ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим владельцем или на правах наследования, получали реку в виде своеобразных угодий, размежеванных незримо, но зато и незыблемо. Из числа местных мужиков таких властителей сопредельных рыбацких территорий теперь несколько. О Пузырьке следует сказать особо. Сперва, конечно, о его прозвищах, которых три. Основное — Пузырек, потому что занимает на водку одной и той же фразой: «Выручай на пузырек!» Суслик: это смалу и порядком забылось, а пошло, скорее всего, от физических признаков. Но самое комичное — Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя Милентий, ядовитый на язык рыбак, отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прет с реки рюкзак, будто набитый мягкими поленьями, поневоле взмолишься: «Да хоть бы ты загулял!» Чтобы понять, почему от Пузырька ждут, что он запьет и заморозит крючки, надо вспомнить его жизнь.

После армии он, как почти все деревенские, работал в совхозе, и даже была напечатана в районке фотография, на которой молодой Пузырек и другой наш мужик, Валентин Михайлович (которому под этот Новый год откромсали ногу), поднимают в честь конкурса пахарей Трудовое Знамя с профилем Ленина на остром от ветра треугольнике. Хорош ли, плох ли был Пузырек как пахарь, теперь неважно, худо ли, бедно ли, но корпел за общее дело, скорее всего, и не подозревая об этом, а все-таки жил и трудился. На памяти только

то, что этот маленький невзрачный дядька с тонкой шеей, похожий на беспутного подростка, которого вышибли из школы, едва ли не всегда ходил с оплывшим, как раздавленная сливовая мякоть, синяком под глазом, потому что кто-то неведомый раз за разом стрелял в него с плеча. Стали, что ли, в сеялку зерно насыпать, да Пузырек выронил мешок или кого-то перепил в честь красной даты, кого перепивать нельзя, и этот, кого перепили, оскорбился, полез бодаться. И мужики, черти, не мешали, обступили кругом и глазели, а кто-то, наверное, запрыгнул на ГАЗ-53 и комментировал. И Пузырек, чтоб не упасть в грязь лицом, тоже стрелял, но кулаки были мягкие и ватные, парусили по ветру... Так они жили-были: то пашут не за награду, то пьют до упаду, а то пластаются за комбайнами. Стоят на общем снимке в обнимку. Потом сама Москва выстрелила залпом, и мужиков разбросало. Один мертвым остался, второй в город смотался, а третий залег на дне воронки и время от времени высовывает на палке шапку: не перестали бить по своим?! Шапку сбивает ветром.

Нынче жизнь Пузырька такова: все он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, о чем, как водится в деревне, — многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он не шатается по поселку, а проворно бегает из конца в конец, иногда не по разу за день, и все равно что-нибудь да смышкует. Клепаешь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, встал через миг, а тут — глядь-поглядь! — Пузырек! Навалился на штакетник, давно уже наблюдает, только ты его не замечал. Сейчас спросит двадцать рублей! Он всегда просит на «боярышник» — ни больше ни меньше. Глаза мутные; рот накось; ворот свитера распялся, и видно бледно-красное, как у ощипанного гуся, горло, все в пупырышках и морщинах. Жалко его, и зло берет, и надоел хуже горькой редьки, но и отказать нельзя, сославшись на отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли все, чем они жили, а жить по-другому они не умеют. Тебе легче. Ты сподобился, как паршивый пес у булочной, который сунул нос в приотворенную дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит! Этим людям так нельзя, они гордые. Они и просят от безысходности, а то бы и век тебя не знали. И вынесешь, и сам подашь в руку. «Чтоб отвязался!» — сужаешь область боли. И скорее выпроводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырек все-все поймет, сожмет мелочь в кулаке и, ничего не сказав, на всех парах к магазину, но, зайдя за угол, с тревогой пересчитает. Все точно, шире шаг! Но это недоверие к тому, кто выносит, эта нелюбовь к дающему не из-за черной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги, несмотря ни на что, есть, кто призывал рабочего к станку, крестьянина — к сохе, а сам, курва, жил несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он поправил очки и преспокойно вынул из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, он, конечно, пропьет, но не в этом дело.

Оттертый на обочину, Пузырек спасается как может. Сын с дочкой в городе при грошах; жена на пенсии, а ему не вышел срок. Скот он, как и большинство в поселке, давно зарезал: на все рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же комбикор-

ма — тридцать, в район — тридцать, в районную деревню — еще тридцать... В копеечку! Из прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырек нанимается на пилораму. Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрестке возле сельсовета, ждет вахтовку. И уезжает на весь день. Вечером, отжатых, молчаливых, их высаживают тут же до следующего утра. Но дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делянками, а когда производство застаивается, командирует народ по домам, чтоб не платить даром. И надолго Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет, так он отвяжется. Или лучше на реке будет, а то в лесу. В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, пережидает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была обнаружена недоимка. Собачонка при нем на вооружении, тоже пропитая и прокуренная, всю дорогу выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берет на себя. Топнешь — показывает Пузырьку, куда убегать. Пузырек не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землей в отливающих синевой раковинах и с налипшими хвоинками. Весел по случаю, козырек сползшей на уши бейсболки задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой подвернуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленями — во всем Пузырек мал. С удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую дужку пустого ведра.

О том о сем:

— Рябчиков-то видал?

— Нет.

— А я спугнул выводок! Надо завтра с пулеметиком прошвырнуться...

Вечером едет на мотоцикле «Иж-Планета» с дощатым коробом вместо коляски, упраздненной за ненадобностью, кончик титанового советского спиннинга раскачивает огромная тяжелая блесна, подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них нечего. Все равно что сжинать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный — механизированный, с социалистической размашкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдернет с короба брезент, а под ним — сморщенная надувная лодка и китайские сети... На рассвете, желто горя фарой, спешит проверять, на всякий случай — тоже для понта, да и затем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, которого на два пальца в баке, — везет в коробе пару алюминиевых фляг под воду. Перед спуском под угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк — фляги... Иногда случаются проколы: завоет в тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, щетину тальников, мерцающую от капель сеть и пересравшего мужичка в резиновой одноместке, и вот уже, бросив концы в воду, Пузырек шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребающих реку маленьких пластмассовых весел, а за ним тем энергичнее — катер государственной рыбинспекции...

С замерзанием Лены Пузырек переключается на уды. У него два участка — по оба берега. Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые наследовали эти берега еще от отцов, а те от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому что это время срыло всех: и сильных, и слабых. И Пузырек колотится один, как исчисляющий последнее исконное метроном. Сообщить, что он выходит на лед первым, будет мало. Он и живцов запасает прежде всех, еще ранней осенью, по открытой воде, зачастив сквозь облетевший ольшаник на речку Казариху. Там, в тихих заводях, выстланных желтыми листьями, он караулит корчажкой гольянов — небольших рыбок из сорных пород, с крапленой синевой на боках, с черной или светло-коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на угор и ждет, когда сплывутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни три-четыре, учитывая потери, неизбежные при хранении. И все равно не хватает, в феврале или марте снова спешит на Казариху, дырявит лед промерзших ям. Но до этого еще далеко, а пока шуга дернулась раз-другой... и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырек скорей на лед! Из-за спины, словно огромные стрелы из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки с привязанными крючками. Назавтра с утра на реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловятся, а «идут». Пузырек, проверив крючки и переменив одежду — шубенки на варежки, ушанку на пидорку, драные бахилы на парадные суконные боты системы «прощай молодость», — ходит с авоськой и продает. Из уцелевших учреждений самый верный прибыток дают клуб и сельсовет, да Пузырек еще и скостит десятку в сравнении с городским рынком. Сто тридцать *за ки*ло! Домой только через магазин... Шпана, бывает, скучкуется к ночи, пройдет с саночками сверху вниз, и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые следует засыпать снегом. Пузырек на другой день патрулирует по поселку, гоняется за воришками:

— Да я же вас вычислил по следам!

Зимой Пузырек не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает капканы на соболя — штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на ее конце площадку под капкан, который привязывает к наклоненному перевесу — гибкой деревинке, укрепленной выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании попавшегося зверька капкан соскальзывает со стопора, и деревинка, перевесившись тяжелым комлем, другим концом, а именно легкой вершиной, вздергивает добычу, делая ее недоступной для мышей и лис. В качестве приманки Пузырек не мудрствуя лукаво гвоздем на сто пятьдесят прибивает к жерди обрывок дохлой курицы. И судя по всему, ничего не ловит, но виду не подает. Так, возвращаешься из леса — румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша бахил точится, как жучок под корой валежины, а Пузырек, если он в это время на реке, обязательно подождет, детально осмотрит с ног до головы, главным образом сосредоточась на брезентовом рюкзаке с заскорузлыми от смерзшегося пота лямками, объем которого может послужить Пузырьку при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит:

— Ну, откуда идешь?! Чё несешь?!

И подробно: сколько капканов, скольких соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей, и вообще, резонно ли ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который оперся на черенок пешни и курит, скашливая на снег, все закипит в тебе, и уже обложишь себя за то, что не перешел Лену в другом месте, а Пузырька — за то, что стоит, сломав лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно снял с крючка и спрятал, рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы нигде не выпирало и выглядел совершенно пустым, все улики уничтожил — кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и лезвие складного ножа вытер о рушник. И вот это, что подготовился, а тебе уже свернуть нельзя, изозлит в край! И уже зарядишь тяжелый крупный мат, чтобы с честью ответствовать любопытному Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело туже и выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина: сейчас его убьет наповал, а он и не знает! Но лишь только Пузырек заговорит — и все в тебе словно ветром задует, хотя ничего особенного в речи Пузырька нет, однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанного, то, о чем тебя никто не спрашивал.

Пузырек, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и не моргнув глазом соврет:

— Я-то тоже задавил в ельнике трех! Сра-а-азу!

Намекает, что в трех из шести поставленных с грехом пополам капканов при первом же обходе оказались соболя.

Или начнет вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Ну, шел так один раз, добыл два десятка белок и соболя, каких теперь нету, а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да здоровенного, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло, тут же освежевал; шею, грудинку и сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворенный на скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. Назавтра вернулся с саночками — ни кровинки, ни шерстинки...

— Сука у меня текла, а за ней по следу шли от поселка девять кобелей! Ка-ак я не знал?! Только потом вычислил... — Пузырек отсекает рукой: — Все-е подобр-р-рали! Даже снег до земли слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил...

Вежливо — чтоб не оскорбить взаимной симпатии — просветишь потемки Пузырьковой души наводящими вопросами, еще раз убедишься, что врет, и сам сменишь пластинку. Посетуешь, например, что нынче капканы-то запретили, аж из самой столицы бумага пришла, — так это он пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька — две небрежно обструганные доски с едва задранными носками. И Пузырек, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, дикие и лохматые:

— Из чего сделал?

— Из елки.

— Кла-а-асные!

Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырек и о своих скороходах, и когда ему напомнишь, что раньше он прятал лыжи

возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырек позволит себе необходимое уточнение:

— Дак это старые были, чуть ли не мои погодки! Еще батя ходил! А эти-то?! — И тогда догадывайся, что зарой Пузырек новые лыжи в снег — всю округу вдоль и поперек проскребут граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте — никто не тронет, разве что какой-нибудь полоротый, проезжая на «Белорусе», зачекерует и утащит на дрова...

Но лес лесом, а Пузырек, прежде всего, жив рекой.

Во всем, что касается рыбалки, в особенности подледного лова налимов, он придерживается неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти старики мало кому памятны. Пузырек не преминет, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь свою уду слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же дыхании, с каким минутой ранее снял верхонки и развернул на морозе карамельку:

— Чё-то границу не соблюдашь! Соблюдай-ка!

Или повадится ловиться мелюзга, жалко на такую изводить живцов, все ходят от уды к уде, как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чем причина, и только Пузырек знает секрет:

— Такая ерунда раз в семь или шесть лет случатся! Я уж давно заметил. Она, мелочевка-то, или спускатся сверху, или, наборот, подыматся, большие налимы ни хрена не успевают! Большой только-только подойдет, а этот, п...деныш, уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то все равно надо, чё поделашь...

Пузырек, атакующий Лену со дня образования заберегов и убирающий крючки незадолго до ледохода — все давным-давно закруглились и вдоль берега синеют отволгшие старые лунки с чернеющими штрихами вешек поперек, — только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с реки под вечер 31 декабря и образуясь на ней снова и так же порывисто, как и пропал, уже после Рождественских колядок, когда все пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, вдобавок и «про...бено». Но это уже не тот Пузырек, что был до Нового года, а результат его кустарной реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выскребла мужа из-под стола, отряхнула, раз и другой стукнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы — и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведенной, катился прямо и беспечально до самой матушки Лены. И вот уже, не прошло и полгода, Пузырек опять на реке! Бродит от лунки к лунке, худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с пешней и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной, чем-то заляпанной в связи с последними событиями аляске со светящейся в темноте наклейкой «ВЧНГ», что есть «Верхнечонское нефтегазорождение». Сию справу Пузырек приобрел у вахтовых мужиков, когда шуровал им налимов.

За полмесяца, что медведь находился в рабочем отпуске, лунки промерзли насквозь, и пешни уже не хватает. Пузырек, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырек неистово молится. Пока выстеклит одну лунку, не раз размажет по лицу горсть шершавого

снега. Но уж когда пешня прорвется в пустоту, а в лунку брызнет вода и вешка отколется с ледяной перемычкой, то Пузырек, обливаясь потом, с похмельным причетом: «Ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох!» — отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адового возвращения, медленно вознесет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет на лед мертвого, размытого, как банное мыло, налима с белым брюхом: налим, вопреки известному мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тугого от икры и печени. Вызволять из протухших рыб крючки Пузырек считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо отшвырнуть налима лопатой, с затаенным дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь облеваться. Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплен гольян, и в ушке, к которому привязана нитка, и для повторного пользования все равно не годится. И хотя ни крючок, ни тем более дохлый налим ни к чему, замороженную снасть Пузырек ни за что не бросит, будет клевать до победного, пока не восстановит все свои уды, словно колья, которыми сам себя подпирает. Вешек же у Пузырька — только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!

...И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырек сидит на моей лыжне, сдвинув шапку на затылок, и по своему обыкновению курит, только уже не сигареты, которым вышел расход, а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, еще больше зачерневшее лицо. Глаза голубы. Но голубизна эта такая — не сплошь, а мазками, вроде сливок с раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит — весь...

То да се.

Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми словами воздух. До самых пальцев сосет самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не дослушав твое, тут же — поперек! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или плутал в пургу по тайге, ломая за собой веточки, а там, глядь, чья-то лыжня, собачий лай и дымный вихрь за деревьями. Откровение души — вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: сверху ночной ледок, а под ним — а ну-ка! Нырнешь с макушкой, да еще и дна не проскребешь. Одна ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь...

— В сеть-то чё, попадат, нет?! — раскуривая новую самокрутку, заливистым криком допытывается Пузырек, и весь он сейчас в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда ломается голос, и вдруг то пискнешь, то забасишь. — Чё-ё-ё молчишь?!

Сети ставят по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну — основную и большую прорубь, через которую потом выматывают сеть, — дальше с заданным отступом ноздрят лунки поменьше, так что последняя будет там, куда придется конец сети. Затем в майну просовывают длинную гибкую жердинку с привязанной веревкой, равной длине сети плюс необходимый запас, и будто стежки ведут, время от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают конечной проруби, поддевают жердинку за кончик и вынимают.

Все, веревка пронизана от майны до противоположной проруби. Потом, потягивая за веревку, стравливают сеть под лед...

Работа нехитрая, руки помнят ее с детства, так что закрой глаза перед сотней других работ — руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же и припозднился, вышел на промерзший лед. Да еще, как назло, скрала напасть: то лед двойной, то блуждающие обломки торосов, а то в спешке не размотаешь и упустишь вместе с мотовильцем уже протащенную веревочку. В довершение ко всему, вероятно, чтоб уж совсем доконать, хрястнул черенок пешни! Тут еще Пузырек, действуя согласно выработанному плану, то и дело поднимался из-за горки откиданного из проруби льда, словно из-за нарытой рядом с норкой земли, и застывал любопытным сусликом, с беспокойством контролируя мои перемещения и душевно желая, чтоб наступила какая-нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то еще подуло и принесло с другого берега Лены самую суть совершающихся там событий, о чем спросить открыто, крикнув, например: «Ты чё там опять выдумываша?!» — он не решался ввиду чрезмерности расстояния, а я все время молчал, стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, знать которые обидчивому Пузырьку было ни к чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому и, разумеется, разрушительному влиянию соседа.

Ну, с грехом пополам управился, однако с того дня на всякий случай решил обходить Пузырька за километр. Пузырек, напротив, искал встречи, но найти не мог.

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть в Сибири если не верная и не мгновенная удача, то ее бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемалывает все: и пот, и мороз, и незадачи, и само долгое и часто напрасное ожидание. Однако удача удачей, а пойманная рыба для северной деревни значит все еще много. Поэтому иные, такие, как Пузырек, наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но как не из жадности, а единственно из-за языческой боязни сглаза сторожат свое ремесло, буквально, например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумеет ленок, так и выслеживают других вовсе не затем, чтобы спугнуть фарт, а опять же, с одной лишь надеждой — пополнить собственный ларец еще одним бесценным знанием, отложив его в голове поверх других, как в несколько слоев солят рыбу...

И вот Пузырек дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочевка, из которой рыба только двухсотграммовый харииус.

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную.

— Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельцовку, — и тоже ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток — на 60 или 70, я уж забыл! — сра-а-зу смотали кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят...

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:

— Поставь-поставь, дело тебе говорю!

И, глядя прямо в глаза, дразняще смеется, только отомкнутый рот и видать, а в нем — белый с похмелья шмат языка:

— Я-то, как ты, не выеживался, прорубь продолбил — и все!

— Как это?!

— А вот так! Кинул бутылку — и готово!

Вымотать душу из северянина — все равно что из проруби сеть: то же нарастание кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят еще незримой рыбиной. Но когда вымотаешь — что же? Окажется, что этот некорыстный русский мужичок, мимо которого пройдешь и не заметишь, ведет вот какую политику: выдолбит майну на умеренном течении, таком, чтоб не «ложило» снасть, бросит в прорубь налитую водой пластиковую бутылку, привязанную к концу сети...

— Не забудь второй конец зарочить! — давится, не может ни проглотить, ни отхаркнуть, как будто навязло на языке. — А то у меня так одну сеть утартало!

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.

— Как ракета полетит! — отметает Пузырек.

И, внезапно осекшись, переводит взгляд на едва початый ряд нераздолбленных лунок. Глаза, между тем, все еще сверкают, но уже так, как бывает на кончиках мартовских сосулек, когда весь день текло, а под вечер, вместе с приморозком, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо над тобой дрожат живые капли.

— Видишь, какая у тебя удача?! — качает головой, словно хочет стряхнуть эти капли на снег, уверить всех и самому увериться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. — Наверное, и спать не будешь!

— Уд-то у тебя еще много? — спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от этой «удачи», избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя всю лживость своего якобы «сострадания» к чужой судьбе.

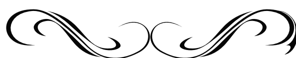
— Ой, и не говори! — вздыхает почти мученически. — Да я выдолблю все, мне один хрен делать нечего... — И, поковыряв носками бахил, сует ноги в стоптанные стропяные ремни, подхватывает пешню и лопату и идет, оступаясь на своих косолапых лыжах и тихо матерясь...

И ты, словно расщепленный молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой отныне и до конца больно за все, что творится под этим небом, — внезапно очухиваешься этой первой половиной и, сращивая ее со второй, даже не вспоминаешь, потому что никогда не помнил этого, а как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разрядом, что это никакой не Пузырек был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а дядя Витя, бывший совхозный механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто тыкаешь. Нынче ему на пенсию — и слава Богу, потому что последние пятнадцать-двадцать сводит концы с концами, ходит в старом и заплатанном, частенько отвязывается и, окликая в дороге, унизительно клянчит: «Займи на пузырек!» — а когда отказывают или даже прогоняют, отстает и плетется позади с таким видом, как будто не дали со стола красное яблочко. Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоем мнимом добре разных примесей, нужных, в первую очередь, тебе; да и даешь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, возводя на этом некую народолюбивую философию, благоприятствующую, опять же, только тебе, между

тем как самому народу от нее ни холодно ни жарко; да и сказать по совести, не сделал ты ничего для этого народа, помимо того, что скрепя сердце потряс копилку и выручил одного-единственного страждущего, и когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое свое, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от тебя не спросясь, не нагрузил свой поступок каким-то выгодным только ему образом мыслей и поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своем роде и цельное, как монолит, свое отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, братцы, «чисто случайно» отыскалось чем помочь.

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлебывающимся, перебивающим самого себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поет и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на все, что ждет его впереди.

И когда ты обо всем этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слез не видно, ты вдруг, еще сам не зная, за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, назавтра дядя Витя раскается в излишнем откровении и опять надолго засунет душу в верхонку, но этот миг расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке.





Елена ТУЛУШЕВА

Чудес хочется

Рассказ

— Тук-тук! Можно?
— Заходите.
— Я с мужем.
— Ну, давайте вместе, куда ж его деть... Ого! Это кого ж мы рожать будем с таким папой?! В вас сколько — метра три?
— Два... — смущенный здоровяк протиснулся в кабинет.
— А вес?
— Сто двадцать.
— Что ж это вы, голубчик — эдакий шкаф, выбрали себе дюймовочку, а рожать-то ей как, подумали?
«Шкаф» сконфуженно заулыбался, отчаянно пытаясь сжаться.
— Да вроде она у нас небольшая, два восемьсот была по УЗИ в прошлом месяце, — посетительница пыталась пристроить спутника в какой-нибудь угол, но тот постоянно что-то задевал и в итоге предпочел просто замереть, взглядом умоляя больше его не трогать.
— Тогда УЗИ и — вперед. Роды первые?
— Первые. Боюсь очень!
— Ну что, женщины веками рожали, ничего. А беременность какая?
— Я ж говорю, первая!
— До этого выкидыши, аборты, в том числе на ранних сроках?
— Нет, все впервые!
— Ну, как скажете. Если вдруг вспомните, сообщите, — он быстро заполнял бумаги, про себя вынося вердикт: «Наверняка врет! И что ты с ними делать будешь? А если какие осложнения — нам ведь разгребать!» Он недовольно поморщился, вспоминая осложненные роды годичной давности. После того случая он стал крайне скептически относиться к информации из уст беременных и сейчас по привычке внутренне проговаривал: «Врешь. И тут тоже врешь».
— Игорь Владимирович, можно вас? — раскрасневшаяся толстушка застыла в двери с извиняющимся взглядом.
— У меня пациент, — он резко обернулся и понял, что дело срочное. Вошедшая медсестра Маша работала в бригаде детской реанимации. Бригада укомплектована неонатологом и хирургом. Раз пришла за ним, значит, рук не хватает. Просто так во время приема никто не заходит: персонал вышколен, отделение платное, пациенты возмутятся.
— Минуту, — кивнул он Маше. — Видимо, «сверху» звонят, начальство, сами понимаете, — обратился он к пациентке. — Вы пока снаружи подождите, я быстро.

Как только вышли из отделения, Маша затараторила:

— Там Кузякин разрывается. У нас плановое кесарево. Тройня. У одного на УЗИ выявили то ли грыжу, то ли опухоль, в общем — не отойти. А тут экстренную привезли. Схватки в метро начались. У плода сердцебиение плохое, похоже, обвитие. Меня отправили помогать, но Александр Степанович послал еще и за вами.

— А Усачев где?

— Усачев дома после суток: дежурил за Камышева, тот в больнице с язвой.

Когда они вбежали в палату, дежурная бригада суетилась в ожидании последнего этапа родов. Переодеваясь, моя руки, он отметил, что для ребенка уже подготовили реанимационный набор.

Роженица была с виду крепкой. Длинные пшеничные волосы, даже слипшись от пота, сияли здоровьем. Орала она громко, значит, силы есть. Хотя обычно такие не орали. Он уже привык делить всех их на две категории: деревенские и городские. Конечно, не по месту жительства — на разговоры, кто, откуда, времени тут не было. Деревенские, в его понимании, — плотные, мясистые, с крупными бедрами и сильными руками. Рожали они так, будто в поле косили: жарко, сил нет, тяжело, но куда деться, сделай дело и отдыхай. Такие инстинктивно знали, когда и как тужиться, как дышать. Городские же — вот это морока. Щуплые, в чем душа держится, все за них сделай. И анестезию им побольше, и пить хотят, прям умирают, а тут еще моду взяли за деньги мужиков своих притаскивают смотреть. Врачей не слышат. Ты им — «дыши», а они тужатся, ты им — «толкай», а они «не могу»! Правда, такие тысячу раз потом отблагодарят, и мужики их всей бригаде и конверты, и бутылки носят. Тоже приятно...

Эта была из «деревенских», но похоже, ребенку что-то мешало, и орала мать беспрестанно.

— Так, заканчивай кричать. Тут работы на полчаса. Ну-ка, соберись!

Роженица будто и не слышала, только орала и мотала головой. По глазам коллег он понял, что шансы ребенка невелики. Сестры начали распечатывать дополнительный хирургический набор.

— Сколько уже?

— У нас она четыре часа, да плюс пока везли. Сама сказать не может, как давно первая схватка была. — Маша суетилась, поправляя ему халат и натягивая перчатки. — Сначала шло хорошо, думали, стремительные роды будут. А как головка показалась, так и застопорилось. Очень долго не продвигается.

— А резать, видимо, было поздно... — пробубнил он сам себе. — Что делать, Саш? Может, надавить?

— Да уже пробовали. Давай, может, ты посильнее... — На лице его друга блестела испарина, сзади из-под шапочки пот каплями сползал по бритым складкам затылка за воротничок уже изрядно взмокшего халата. — Что-то неладно. Как выйдет, он на тебе, мне — мать.

Через несколько потуг ребенок, наконец, вышел. Мальчик. Синий. Тройное обвитие. Молчит.

Игорь быстро перехватил обмякшее маленькое тельце, в два шага перенес его на столик, где сестры уже приготовили трубки и отсос. Наспех обтерев не дышащего младенца, он, как в режиме ускоренной перемотки, начал реанимацию. Счет шел даже не на секунды.

Вокруг было множество звуков. Саша сердито что-то требовал от сестры, со звоном бросал зажимы, равномерно пищали датчики давле-

ния, из открытого окна доносился звон трамвая. Но всего этого Игорь как будто не слышал. Его слух был настроен лишь на одну частоту: сигнал от этого маленького человека. Человек молчал. Игорь вновь и вновь методично выполнял инструкции учебника по экстренным родам. Он понимал, что каждая минута уменьшает шансы на жизнь, а каждая секунда может обернуться инвалидностью ребенка.

Ему казалось, что прошло уже полчаса: время здесь растягивается. В реальности он спасал младенца всего несколько минут: без остановки делал непрямой массаж сердца, ощущая под пальцами крохотные ребра, которые вот-вот готовы были треснуть под его натиском. А там, за ними, все еще молчало маленькое сердце.

«Давай, парень, давай. Мы с тобой прорвемся! — он пытался передать через пальцы свой импульс жизни, свою силу. — Давай, ты же мужик!» — уговаривал он.

«Стукнуло! Только что! пробилось ведь!.. Молчит... Ну, что же ты?! Показалось? Не может быть! Это ни с чем не перепутать. Ну же, давай! Один раз уже смог. Давай, парень!» — под его пальцами отчетливо послышался второй удар. Тишина. Еще тишина. Молчит... Вот он: третий. Четвертый. Еще!

— Умница! Настоящий мужик! Борец! Давай, мой хороший, не останавливайся. Мать тебя как услышит, взлетит от счастья.

Младенец слабо двинул ножкой, подтянул обе ручки к груди, медленно заворочал головой и издал слабый шипящий звук. Игорь подхватил его, ловко хлопнул по ягодицам, повернул головкой вперед.

Слабое подобие детского крика заглушили вздохи всей бригады.

— Красавец! — Игорь завернул его в полотенце и двинулся к матери. — Ну, заслужил, брат. Вот она — мамка твоя! — развернул малыша личиком к маме. — Что, выкладываю? — обратился он к Саше.

Саша недовольно поморщился и отмахнулся.

— Да ладно тебе, Александр Степаныч. Ты же помнишь, решение главного. «Психологи установили, что в первые минуты жизни ребенку необходим телесный контакт с матерью...» — Игорь передразнил главврача.

— Да шли бы эти психологи... — беззлобно буркнул Саша, — ...в бухгалтерию. Давай, быстро, я еще не закончил.

— Слушаюсь! — Игорь комично поклонился и поднес младенца к лицу матери.

— Уберите, — едва слышно прошелестела женщина.

— Чего? — не расслышал Игорь. — Гляди, мама, вон какой у тебя богатырь! Давай, положу его тебе, готова?

— Уберите, не хочу, — чуть громче прошептала она.

— Ну, приехали, «не хочу». Теперь, дорогая моя, лет на восемнадцать свои «хочу — не хочу» забудь. — Игорь поднял пищащего младенца повыше. — Теперь вот он за тебя решать будет.

— Не надо! Уберите! Я не хочу его видеть!

Игорь озадаченно замер. На родовые горячки он насмотрелся. Обычно он резко пресекал подобное поведение рожениц. А как по-другому: не рявкнешь на них, перестанут работать, а ребенку-то ничуть не легче, чем им. Но сейчас он чувствовал такой прилив радости оттого, что это маленькое сердце забилось под его пальцами! Ему не хотелось портить себе настроение — сегодня еще до ночи дежурить в родовом.

— Ладно, отдыхай. А мы твоего красавца пока взвесим и измерим. — Он направился к весам, бережно держа своего подопечного.

— Так, что тут у нас... Маша, записывай, три семьсот пятьдесят. Так... аккуратненько, головку... пятьдесят два сантиметра. Записала?

— Да-да, записала.

— Внешних повреждений не наблюдается. А конкретней наши неонатологи скажут, как освободятся.

— Игорь Владимирович, а как записывать — документов никаких нет.

— Как нет? А родовая карта? Сертификат? — Он держал малыша, невольно покачивая, пока сестры нагревали лампу для младенца.

— Ничего не было, — Маша поморщилась. — Ни карты, ни паспорта. Спрашивали фамилию — не говорит.

— В смысле — не говорит? — у Игоря неприятно потяжелело в груди. — Тебя как звать-то? — повернулся он к родившей.

— Наташа, — вяло отозвалась она, прикрывая рукой глаза от яркого света ламп.

— Ну, ты не в первом классе, полностью — фамилию, отчество. Ребенка как назовешь, решила?

— Иванова. Иванна.

— Так, ребенок, значит, Иванов. Имя придумала ему?

Женщина молча отвернулась. Игорь начал раздражаться. Саша как-то странно на него взглянул и тоже раздраженно начал поторапливать сестер:

— Я же сказал, восьмерку, а вы мне шестой даете! Вы на работе, внимательнее надо быть!

Игорь с мальчиком на руках подошел к матери.

— Так, давай-ка приходи в себя. Миллионы женщин рожают. Все нормально. Нам тут время дорого, нечего тянуть. Карты у тебя с собой нет. Кто-то привезет? Иначе нам нужно будет взять у него кровь на ВИЧ, гепатит.

— Берите, делайте что хотите!

— Приехали! «Что хотите» не можем. Теперь на каждый чих подпись матери нужна. Твой ребенок — тебе решать.

— Нет у меня ребенка! — крикнула она внезапно. — Не-ту! Это не мой! Уберите!

На мгновение все замерли. Стало слышно, как жужжит, нагреваясь, ультрафиолетовая лампа над детским столиком.

— Ты чего? Ау, мамаша, ты уже родила! Живой он, все хорошо! Ты что же, не слышала, как он кричал? Вот, смотри, богатырь твой.

— Уберите. Не хочу. Я его не хочу. Я не буду его брать, — женщина уже не кричала, а говорила громко, отчетливо и пугающе внятно.

— Игорь! — рявкнул Саша.

Игорь растерянно обернулся. Саша кивнул ему в сторону стола и чуть махнул локтем.

— Ничего, мой дорогой, всякое бывает! — приговаривал он, отворачивая все еще пищащего младенца, как будто заслоняя от матери. — Устала мамка твоя. Перепугалась, небось, пока ты молчал. — Он сам бережно укутал мальчика в пеленку и одеяло. — Но мы-то знаем, что все у тебя в порядке, успел ты, братец, вовремя задышал. Умница, обойдется без патологии. У Александр Степаныча руки золотые! — Малыш перестал пищать и как-то сосредоточенно начал разглядывать лицо врача. Игорь прекрасно знал, что в первые дни, а то и недели младенцы не могут различать и понимать увиденное. Но сейчас он был готов поспорить, что этот ребенок смотрел ему именно в глаза, причем серьезно

смотрел, осознанно. — Ух, какой ты! Да, брат, задумайся. С женщинами этими нелегко, попробуй пойми, что у них в голове! Ну, полежи теперь, погрейся, — он подмигнул малышу. Тот беззвучно шевелил губками. В груди все так же неприятно давило. Когда он направился к Саше, ему показалось, что младенец смотрит ему вслед.

— Что у тебя? Помощь нужна? — он говорил уже негромко и выдержанно.

— Нормально, заканчиваю. Что думаешь, она из этих?

— Из каких?

— Сяких. «Кукушка»?

Игорь не хотел об этом думать, он все еще чувствовал в пальцах отзвуки этих долгожданных ударов.

— Да не, просто очередная неженка. Распереживалась, вот и немного «того» на нервной почве, пока ребенок молчал.

— Ну да. Вся ухоженная, а документов ни единого. Как специально. Даже карточек кредитных не нашли. Подготовилась. Ты внимательно на нее посмотри.

— Некогда мне тут смотреть. У меня внизу контрактники. Так что, если тебе помощь больше не нужна, я пошел. — Игорь чувствовал, как в груди нарастает тяжесть.

Направляясь к выходу, Игорь мельком еще раз взглянул на мать. Ничего особенного. Баба как баба. Ногти накрашены, вроде приличная, на мигрантку или бездомную не похожа. В груди у него уже ныло так, будто сверху поставили мотоцикл. «Да мне-то какая разница. Мое дело — роды принимать, мне чистые мозги нужны, а не философствования!» — разозлился он.

— Игорь! Ты еще здесь? Подойди! — послышалось сбоку.

— Тьфу-ты, Кузякин, сядет, так не слезет, — пробубнил он себе под нос. — Что там у тебя? Тройня, говорят?

— Да у меня нормально, в третий загляни. Там одна акушерка, мне еще зашивать, а там уже головка пошла.

В третьем боксе деловитая Марья Михайловна — акушерка с тридцатилетним стажем — уже организовала двух сестер и готовилась сама принять роды.

— А, прислали! — забухтела она, снимая маску. — Ходят табунами, дел, что ли, у вас нет других.

— Нет-нет, я так, только если что пойдет внепланово. Вы же сами справитесь? Или помощь нужна?

— Тридцать лет как-то обходилась. Вон ей помощь нужна. Успокой девчонку, перепуганная совсем. А здесь уж я разберусь.

Игорь улыбнулся ворчливой акушерке. Она и правда справлялась на «отлично» даже в экстренных ситуациях, еще и врачей строила, если вдруг кто растеряется. Сейчас ему хотелось чего-то обычного, понятного. Хотелось, чтобы все шло по плану. Нормальный ребенок, нормальные роды, нормальная мать.

На столе он увидел пустые метрики.

— Давайте заполню пока. Что писать, Марь Михална?

— Ничего не писать! Партизаны у нас тут.

У Игоря кровь прилила к вискам, тяжесть из груди начала перекатываться по всему телу, давя то на голову, то на ноги. «Еще одна. Да что ж за день такой?! Чтобы два отказника за дежурство... Куда этот мир катится? — Он поморщился от штампованной фразы. — Ну, с этой все

понятно», — он мельком окинул взглядом роженицу. Ей с трудом можно было дать лет шестнадцать. Удивительно, что решила выносить. Хотя Игорь был уверен, что такие просто дотягивают до последнего. Сначала не понимают, что беременны, потом боятся сказать, а потом уже поздно аборт делать. Девушка ныла и причитала.

— Больше не могу, подождите! Совсем не могу!

— Милочка, я-то подожду, а девчонка твоя на свет идет. Не обратно ж ее запихивать?

Игорь всегда удивлялся, с каким юмором и при этом с теплотой и заботой Мария Михайловна общалась с пациентками. За столько лет ей бы давно уже выгореть. Сама четвертых родила. Обычно его коллеги, особенно женщины, особенно родившие, говорили с роженицами жестко, подчас резко. Не хватало сил на нежности.

— Ты чего там уселся? — прервала она несвоевременные размышления Игоря. — Помоги человеку, успокой хоть. Или иди в свою операционную. Девчонка в первый раз рожает, молодая какая. Посмотрит на тебя и не захочет больше! — акушерка шутливо погрозила ему пальцем. — Ты давай, милая, соберись. Эти мужики просто не знают, как оно. Только кричать и могут. Нам еще пару раз поднапрячься, и все хорошо. Вон уже столик нагрели, ждем твою принцессу.

Игоря всегда успокаивала слаженная работа. В такие моменты он вспоминал, как в детстве отец в первый раз показал ему улей, и он никак не мог поверить, что пчелы сами так все выстроили, как по линейке. Марья Михайловна умела четко организовать процесс. Рядом с ней он всегда чувствовал себя нерадивым мальчишкой, которому только и могут доверить смотреть со стороны. Но сейчас ему именно этого и хотелось — стать просто винтиком механизма, чтобы отвлечься от своих унылых мыслей. Он отстраненно смотрел на эту девочку: волосы каштановые, веснушки. На шее крестик на простой веревочке. Ему и жалко ее было, и злился он на таких. Понятно, конечно, что совсем ребенок. Но если до секса додумалась, то предохраниться тоже могла бы. И ребенку всю жизнь искалечит, и сама ведь взвоет потом, ночами спать не будет, думая, где теперь ее малыш.

Громкий крик пробудил его.

— Умница! Без разрывов! Ты моя хорошая! Ох, красавица у тебя, ты глянь, какая глазастая!

Игорь машинально встал и направился к выходу. Он несколько раз видел, как потом эти девчонки плачут, как мечутся, подписывая отказную. Смотреть на это снова не хотелось.

— Все нормально? Я пойду?

— Иди-иди. Отлично у нас все! — Марья Михайловна обтирала звонко кричащего младенца.

Выйдя из бокса, он мельком заметил, как акушерка кладет ребенка на живот матери... Матери... как они так: девять месяцев ходят и знают, что отдадут? А мужики-то их — тоже странные. Это ж твоя кровь, как ты ее отдать можешь кому? Ничего ж не может быть в этой жизни настолько твоим, как ребенок, инстинкт самца должен срабатывать. Никакой закон или обман не сможет сделать его *не* твоим: природа сильнее, как бы дальше ни пошло, но ты дал ему жизнь... Игорь не считал себя религиозным. Да и о Боге вспоминал обычно только в самолете, когда трясло. Но размышляя об отказниках, он был уверен, что так нельзя. И неважно, почему. Просто нельзя, и все.

Он спустился в платное отделение. Хотелось пить и выпить. Еще хотелось в душ, смыть впечатления. Возле кабинета нетерпеливо расхаживал здоровяк. Его жена сидела, обмахиваясь журналом.

— Проходите! — буркнул Игорь. — Прошу прощения, вызвали. — Он совсем не был расположен к лишним разговорам и хотел пресечь излишнюю болтливость, свойственную беременным.

— Так... значит, УЗИ. Ложитесь. А вы берите стул, пододвигайтесь к монитору.

На экране замелькали привычные очертания. Все выглядело нормальным. Хоть здесь можно не дергаться. Он на автомате высчитывал замеры, заносил в карту, а в пальцах все еще ощущал робкие удары.

— Что-то не так?! С ней все в порядке? Она в последнее время стала очень мало толкаться! — женщина с испугом переводила взгляд с молчащего врача на озадаченного мужа, не имея возможности заглянуть в монитор.

— Растет, вот и меньше места остается, чтобы шевелиться. Все в норме. Я отклонений не вижу. По срокам тридцать восемь недель.

— А лежит нормально? Нет показаний к кесареву?

— Если бы были, я бы сказал.

— Уф, слава Богу! Я просто испугалась, мало ли что! — Она умиротворенно улыбалась мужу, удивленно вглядывавшемуся в шевелящиеся на экране тени.

— Меньше себя накручивайте, и ребенку спокойнее будет. — Игорь вдруг почувствовал какую-то странную тоску. Он смотрел на эту пару и представлял, с какой любовью они будут держать новорожденного, как этот «шкаф» все же заплачет, перерезая пуповину, как целая делегация будет встречать ее у дверей на выписку с шариками, надписями на асфальте, наклейками на машине. А для другого такого же крохотного человека первая встреча с родной матерью останется единственной. И забирать его будут дежурные сестры дома малютки. А его мать, скорей всего, уже сегодня под расписку уйдет через запасной выход, не выдержит после нескольких часов в палате с другими женщинами, не спускающими с рук своих малышей.

Пациентка что-то говорила, он машинально кивал в ответ для приличия еще несколько минут, пока совсем не выдохся.

— Как схватки начнутся, берите такси и сюда. Обычная «скорая» не станет вас спрашивать, в какой роддом.

— А если не начнутся?

— Да куда они денутся. Кто там у тебя — мальчик?

— Девочка! — с нежной улыбкой выдохнула она.

— Ну, девочки могут лениться. Тогда через две недели будем стимулировать. Только предварительно позвоните, договоримся. Всего вам хорошего, меня ждут в родовом.

Закрыв кабинет, он зашагал в сторону выхода. Уже два года как не курил, но сейчас очень надеялся угоститься хоть одной сигареткой.

— Вот видишь, все хорошо, а ты переживала, — здоровяк обнял свою жену и поцеловал в макушку. — Только ты уверена, что хочешь рожать *у этого*? Какой-то он неприятный.

— Да вроде уже решили. Не знаю, может, просто занятой очень...

— Уж мог бы запомнить, что у нас девочка, или хоть в карте подглядеть, или на экране своем, раз такой занятой. Он за это деньги получает.

— Ты не заводись. Главное, чтобы не грубый, чтоб во время родов не прикрикивал, а то я еще расплачусь.

— Еще чего! Я рядом буду, я на него сам прикрикну, если надо. Идем. Мороженого хочешь?

— Давай! Лимонного.

Игорь не спеша подошел к турникету на входе. Охранник поделился с ним «Явой». Дрянь редкостная, но стало полегче.

— Это вы, Игорь Владимирыч? — окликнули сбоку. Доктор устало обернулся. Лопоухий паренек лет шестнадцати растерянно теребил пакет из соседнего супермаркета.

— Слушаю вас. Только я очень тороплюсь.

— А я вас везде ищу! Я на минутку! Вот! — парень протянул пакет. Спасибо вам!

— Это что? — Игорь озадаченно взглянул на пакет, потом на его дарителя. Волосы растрепанные, лицо неумытое, рубашка в пятнах пота, как у него бывает после дежурства.

— Эт вам. Ну, и тем, кто там еще был. В магазине только это было. А мы потом уж отблагодарим нормально.

— За что? Вы, собственно, кто?

— За жену! То есть за ребенка! За дочку! — парень широко улыбнулся. Игорь скептически окинул взглядом собеседника еще раз. Обручальное кольцо у того и правда имелось.

— Мне сказали, принимали вы и акушерка Марина... забыл отчество. Это вам чаю попить. Что успел. Я ведь как ночью с ней приехал, так все боялся отойти. Думал, это у них быстро.

— У нас нет Марин. Вы ничего не путаете на радостях? Спасибо, конечно, но мне, видимо, стоит это кому-то передать. Я роды сегодня еще не принимал.

— Как же? — озадачился парень. — А мне сказали... Жена моя — Светка. Маленькая такая, с веснушками, волосы темные. Час назад родила! Дочку! Мы еще не назвали: она переживала очень, сказала, что имя выбирать будем только после того, как родит. Первая у нас. Во, вспомнил: Михална. Марина Михална — акушерка.

У Игоря в голове складывалась картинка, но вид паренька не внушал доверия.

— Мария Михайловна принимала... Это сколько же вам лет?

— Девятнадцать! Обоим! — засиял лопоухий. — Мы со школы вместе. Сразу поженились и это... Доча теперь! Спасибо вам!

— Да мне особо не за что. Основную работу делают женщины, мы лишь страхуем. Не рановато ли вы решились?

— Не, мы много детей хотим, пока молодые! — парень почему-то похлопал себя по голове, как будто там находился источник молодости. — Короче, я побежал! Светка сказала в церковь зайти, поблагодарить, что все хорошо. У нее ведь все хорошо там? У них, то есть.

— Да, все в порядке, насколько мне известно.

— Спасибо вам! До свиданья! — парень впихнул Игорю в руку измятый пакет и побежал к калитке.

Игорь рассеянно смотрел ему вслед. Потом заглянул в пакет: «Тортик и конфеты. Девчонки будут рады. Смешной какой папаша... — В груди стало полегче. — «Много хотим». — Игорь хмыкнул, вспоминая растрепанный вид паренька. — Хорошо, если так. Посмотрим, что ты через год скажешь».

В родовом уже ощущались сумерки. Каждое время дня здесь сопровождалось своим ритмом работы. Под вечер рожают больше. Счастливых измученных женщин с закутанными конвертами у груди вывозили на каталках. Звуки отделения превращались для него в шум единого механизма. Работа была отлажена, как в муравейнике: хотя внешне могло показаться, что персонал двигается хаотически, бездумно перебегая из угла в угол.

— Какой бокс рожает?

— Пятый!

— А почему орет третий?

— Обезболивающее ждет! Анестезиолог в первом — отойти не может, там кесарево с астмой, побочки на наркоз боятся.

— Пошли Валю в третий, обезболит своей болтовней.

Игорь пару минут наблюдал за своим «муравейником», пытаясь отключиться от эмоций и настроиться на рабочий лад. В конце коридора стояла странная парочка: мужчина и женщина в бахилах и наспех накинутых одноразовых халатах. Женщина беззвучно плакала, приложив ко рту бумажный платок. Мужчина что-то ей говорил, то как будто злясь, то пытаясь приобнять.

Игорь двинулся к ним. Явно не комиссия и не интерны. Не роженица. Родственники. Плачет — что-то случилось. Но почему сюда пустили? Если рожают в VIP-боксе, то сопровождающие находятся внутри — санитарные нормы. В случае осложнений должны проводить из отделения. Другим женщинам вовсе ни к чему переживать за чужие беды: им всем рожать в ближайшие сутки, и так перепуганы собственными схватками.

— Вы к кому? — начал он нарочито жестко, как будто именно эти двое были виноваты в его сегодняшних наплывах сентиментальности.

— Мы из шестого блока. У нас контракт, подписано вашим главным, — мужчина говорил выдержанно, но, видимо, из последних сил. Казалось, сейчас сорвется на крик или плач. Женщина не поднимала глаз.

— Родственники? Почему не внутри? — он осекся, понимая некорректность вопроса. Шестой блок как раз VIP. Раз вышли, значит, там плохо. Теперь в лучшем случае женщина окончательно расплачется, в худшем — начнут рассказывать, что произошло, а то и истерить на весь коридор.

— У нас тут беременные, со схватками, обстановка нервная. Давайте я вас провожу в холл. Там кулер с водой, автомат с кофе, передохнете, — ему совсем не хотелось знать, что произошло.

— Спасибо, — мужчина поднялся, поддерживая жену под локоть. — Идем, посидим, все будет хорошо.

Игорь довел их до выхода. Мужчина поблагодарил кивком. Возвращаясь в отделение, Игорь в очередной раз за сегодняшний день пытался перекрыть доступ к своим чувствам, мешавшим работать. Хотя бы на ближайшие три часа. Ему необходимы трезвый рассудок и уверенные руки.

Постепенно работа пошла ровнее. Он помог Кузякину, принял еще двое родов, ассистировал при кесареве, заглянул на вечерний обход в детскую реанимацию. Напряженный день съеживался под натиском густых августовских сумерек. Там, снаружи, они уже заволакивали небо, проникая во все закоулки. И только здесь, просачиваясь сквозь распахнутые окна, вступали в неравную схватку с ярким больничным светом.

Поток рожающих временно прекратился. Следующий наплыв обычно наблюдался к трем часам ночи. Обычно это были те, кто чувствовали первые схватки еще с вечера, но думали, что обойдется. А потом посреди ночи просыпались с уже отошедшими водами. Привозили их быстро, хотя некоторые успевали родить в «скорой» или в приемном внизу.

Но все это позже. К тому времени Игорь будет спать дома под мерное жужжание телевизора. А пока отделение затихает, чистится, приходит в себя. Санитарки неспешно шелестят пакетами, сестры загружают боксы лекарствами, врачи засели за карты. Любимое время дежурства. Обычно в такие минуты ему приятно было пройтись по палатам, поговорить с новоиспеченными мамками, заглянуть в детское отделение. Там, в детском, он особенно остро ощущал свою причастность к этому священному действу природы. В свое дежурство он чувствовал себя первым крестным отцом всех этих малышей. Если Бог есть, он где-то наверху — над всеми людьми. Тогда он, Игорь, вот здесь, на земле, на своем участке, как маленький бог. Именно родов. Именно сегодня.

В ординаторской, обложившись бумагами, Саша накручивал на пластиковую ложку заварную лапшу.

— М-мм, жаходи. Чай шкыпэл вон, — пригласил он с набитым ртом, кивая в сторону бурлящего чайника.

— Спасибо, гурман ты наш. Камышев с язвой лежит, и ты за ним собрался? — Игорь плеснул кипятка и плюхнулся на диван напротив Саши. — Печенье, что ль, дай?

— Вон тортик бери, Марь Михална угостила. Наш любимый — с ромом. — Саша пытался поймать соскальзывающую макаронину. — Тьфу ты, идиоты, хоть бы вилку положили... Эта-то все-таки ку-ку.

— Чего? — Игорь не понял, о чем идет речь.

— «Кукушка», говорю, наша, отказную написала, зараза.

Игорь с раздражением подумал, что лучше бы и не заходил. За вечерней работой он отключился от воспоминаний об отказниках. А теперь в пальцах снова ощутил те слабые удары маленького сердца. Он постарался вспомнить наставления их профессора по этике. О праве выбора женщины, о жизненных препонах, о которых врач может и не догадываться, о том, что лучше не родная, но любящая, чем родная, но не готовая к своей миссии... Игорь взглянул на торт и вспомнил смешного молодого папашу. В душе что-то смягчилось. Ему захотелось и эту женщину простить, найти ей оправдание.

— Может, некуда ей взять его. Хорошо хоть родила, а не убила в утробе.

— Да кто знает, может, пыталась, вот он у нас едва живой и вылез. Карты-то нет. Я ж говорил, специально без документов, чтобы мы ее в отчетности зафиксировать не смогли. Хитрая.

— Да кто знает, чего у нее в жизни было. А тройное обвитие у любой бывает, сам знаешь. Может, у нее мужик урод, не примет, а она любит его до безумия. Может, у нее рак или Альцгеймер, вот она и не хочет, чтобы ребенок потом по ней тосковал. А может, ее вообще изнасиловали.

— Давно это ты, Игорь Владимирыч, в сказочники заделался? Сам-то хоть веришь в свои бредни?

— Да просто денек сегодня тот еще, — Игорь смутился, что Саша уличил его в сентиментальности.

— А, про странности. У Кузякина-то сегодня VIP-шники что отчудили! Там суррогатная мать, эти ей все по высшему разряду оплатили,

нарядились, все роды там торчали, на камеру снимали. Она родила, а отдавать отказалась!

— В смысле? — Игорь не успевал переваривать все этапы истории.

— Без смысла! На руки взяла и как заревет, мол, не отдам, он мой, не могу. У Кузякина первый раз такое. Он их выставил, пытался с ней поговорить, а они и сами давай реветь.

— Я видел их, — Игорь представил себя на месте Кузякина. Стал бы он вмешиваться, уговаривать?.. — Вот и не поймешь, кому из них сочувствовать. Они, наверное, бесплодные... А получается, по закону ребенок их, если яйцеклетку ей пересаживали?

— Да нет у нас никаких законов, ты где живешь?! Она выносила, ей решать. Хоть пятьсот контрактов подпишет, за ней последнее слово. А вот ей точно взять некуда. Девчонки сказали, у нее своих трое, мужа в пьяной драке убили год назад. Решила заработать, чтобы детей поднять. Не заработала! Они теперь, наверное, деньги и за роды потребуют вернуть, и за беременность. С чего она отдавать будет? Но вцепилась — ни в какую!

Игорь медленно переваривал услышанное... У него ни разу не было родов с суррогатными матерями, и он слабо представлял себе, как это бывает. Сразу ли отдают родителям, или выкладывают роженице на живот? Или к груди прикладывают? Дают ли попрощаться или поскорей уносят?.. Он представил эту женщину, сидящую там, в навороченной палате, с малышом, которого она носила, зная, что отдаст. И вот — не смогла. Держит его и плачет. Думала, сможет, но природа взяла свое. И как она вместо денег принесет домой еще одного голодного птенца. И как она дальше с ними будет...

— А эти какие-то крутые, с главным все напрямую решали, фамилии зашифрованы, чтобы никто не узнал потом. Понакупили уже всего, всю палату заставили и игрушками, и люльками-одежками. Не знаю, уехали или сидят ждут, вдруг передумает...

— Вот не позавидуешь! Слушай, а там кто у них родился?

— Да вроде пацан. Да кто б ни был, им от этого не легче.

— Может, им этого предложить? «Кукушонка» твоего?

— М-мм, ну предложи, и чего? Они своего ребенка ждали. Суррогатная — это ж биоматериал их!

— А я тупой такой, не знаю. Но я ведь вот про что: если они так хотели ребенка, может, возьмут? Такие крутые, наверняка всем близким растрезвонили, может, она даже фальшивый живот носила, чтобы не догадались. Как им возвращаться без ребенка? А тут в тот же день, в том же роддоме, как будто знак, понимаешь? Да и мать эта, мы с тобой подтвердим, вполне нормальная, на наркоманку или сумасшедшую не похожа, младенец без патологий...

Саша нахмурился:

— Чудес, что ли, захотелось? Так это ты, Игорек, не в том месте работаешь. Ты бы в фокусники пошел, пусть тебя научат.

— Да ну тебя, — Игорь хотел разозлиться, но почему-то расстроился. Чудес и правда хотелось. Настолько, что комок подкатил к горлу.

— Может, тебе выпить?

— Может. Ты налей, а я пойду все-таки попробую с ними поговорить. Я быстро.

Саша сочувственно проводил приятеля взглядом.

— И заявление на отпуск заодно напиши, а то совсем чудить начал! — Он достал из ящика потертую флягу, две крохотные рюмки и аккуратно расставил их на столе.



Андрей ТИМОФЕЕВ

Свадьба

Рассказ

Бывают свадьбы, похожие на похороны.

Ранней весной парень из соседней деревни изнасиловал девушку, встреченную в пролеске у реки. Отец девушки отыскал обидчика на следующий день и устроил драку во дворе его дома. Но когда оказалось, что Маша беременна, родители обоих, встретившись и поразмыслив здраво, решили сыграть свадьбу. Одни — чтобы избежать огласки, другие неизвестно чего стыдясь и желая пристроить дочь.

Первый день гуляли у жениха. Собрались родственники, соседи, знакомые со всей деревни. Во дворе наспех вкопали в землю деревянные столбы, натянули брезент, поставили длинные скамейки, столы накрыли простынями вместо скатертей. Гостей рассаживали вплотную, так что тяжело было пошевелиться. Стояла жара, повсюду летали жадные мухи. Часто поднимались из-за стола, чтобы погулять и размяться, и тогда собирались на крыльце дома или на оставшихся от постройки гаража бетонных плитах, сваленных у ворот. Там заводили разговоры, шутки, сплетни. А дядька жениха, пожилой Кошир Кузьма, беззаботно рассказывал, как именно здесь валялись в грязи сам жених и отец невесты и до крови царапали друг другу лица об угол бетонной плиты.

Родственники невесты шепотом обсуждали, что хозяева не стали тратиться на водку, а кто-то даже видел, как на кухне тайком разливают по красивым бутылкам дешевую жидкость из пятилитровых канистр. С подозрением глядели на прибившихся к их краю стола нескольких башкир, родственников жениха по отцу: как бы те не выболтали лишнего, и торопливо переходили с русского на родной чувашский.

Было много случайных людей, которых не пускали во двор, но они все равно болтались рядом с воротами в ожидании нечаянной рюмки водки. Чуваш из соседней деревни Петьук Миккуль уныло выпрашивал свое у хозяйки, а потом до крика разругался с ней и ушел обиженный.

Приносили винегрет, свеклу с чесноком, а на горячее картошку с курицей. Ели и пили с удовольствием. Туй араме, ведущий свадьбы, дал гостям наесться досыта прежде полагающихся по обычаю тостов и подарков.

Невеста сидела неподвижно. Она была в отчаянном забвении, ничего не слышала и не замечала. К человеку рядом она не поворачивалась, но чувствовала его движение, а иногда видела чужие руки.

Сегодняшнее утро растянулось в памяти на несколько дней. Ее должны были поднять с рассветом, но Маша проснулась раньше и долго смотрела в окно на небо, крыши домов, скрюченную яблоню в саду, побитую весенним морозом. В последние вечера они много разговаривали с мамой, та читала ей

книги об отношениях в семье и о том, как нужно вести себя, чтобы быть счастливой. Мама много говорила о любви, а Маша плакала, обнимая ее. Но сегодня утром ей вдруг показалось, что она начинает чувствовать эту странную, угнетающую душу любовь. Маше хотелось, чтобы мама пришла сейчас и поговорила с ней, но вместо этого заскрипели половицы, и в комнату заглянула баба Варвара.

— Давай вставай! — окликнула она всегда сердитым голосом.

В доме только начали мелькать, суетиться, а они уже оделись, готовясь выйти на улицу. Были еще сестра Света и две тетушки, которые недовольно ворчали. Баба Варвара коротко объясняла про обычай. Маша ждала маму, но, занятая приготовлениями, та осталась дома и только мельком заглянула в прихожую. Маше было грустно, будто они виделись в последний раз. И потом, когда уже шли по пустой деревенской улице, Маша все думала об этом. Впереди мутным пятном виднелся лес у реки. Стоял туман, пахло трухлявым деревом.

Наконец показалось кладбище. Спускались к нему по узкой тропинке, вьющейся от самой дороги. Долго возились с железной калиткой, двигались сквозь заросли овсюга, цеплявшегося за ноги. И вот тропинка привела их вниз, где все могилы были знакомы. Приминая мокрую непослушную траву ногами, медленно крошили хлеб за каждую ограду, приговаривая: «Деды, прадеды, благословите нашу свадьбу». Потом баба Варвара велела им стоять рядом, а сама принялась то ли колдовать, то ли молиться. Становилось холодно, но она не спешила, а потом затянула унылую поминальную песню.

Вернувшись с кладбища, Маша сидела в комнате и слипавшимися глазами смотрела на те же крыши домов и яблоню за окном. Ей смертельно хотелось спать, так что она едва чувствовала, как надевали на нее платье, поправляли складки, до боли скручивали волосы.

Когда приготовления закончились, она положила голову на стол перед собой, обхватив ее руками, и чуть было не заснула, но вдруг раздался грубый удар в ворота и беспорядочный смех, будто сто человек разом засмеялись и каждый хотел смеяться не так, как другие. Смех приближался, сначала он топтался у ворот, неловко звеня монетками, потом послышался на крыльце. Наконец ввалились в комнату, заполняя свободное место от двери до стола. Началась толкотня, сильно запахло потом.

Маша испуганно глядела по сторонам. Вокруг ожесточенно торговались, кричали, стучали по столу скалкой, как молотком. Сестра Света все отвечала — мало, а за ней повторяли и все родственники. Пришедшие же горячились и нехотя выгребали оставшуюся мелочь. Дружок жениха, Антошка Кривой, вместо денег бросал поддельные купюры, его разоблачили и хотели силой вывернуть карманы. Родня вступилась за своего, завязалась ссора.

Сам жених стоял у дверей, Маша смотрела на него, не отводя глаз. Он держал в руках бутылку водки, не пригодившуюся на конкурсах во дворе, шутливо махая ею, будто добыл что-то ценное. Его лицо наполняло Машино сердце болью и непонятной ей самой добротой ко всему миру. Но вот последний раз ударила скалка — продано. Продано, продано, зашептали вокруг.

Потом ее благословляли отец и мать, крошечный блик света бегал по иконе вверх-вниз, как живой, так что Маша заулыбалась сквозь слезы. Мать не выдержала и разрыдалась. «На кого же я тебя, доченька, оставляю», — причитала она, наклоняясь к девушке, неистово целуя в

волосы. Баба Варвара недовольно одернула ее. Подошел жених, и тогда гости принялись бросать под ноги свежие полевые цветы…

«Горько, горько!» — закричали отовсюду, и Маша опять оказалась за праздничным столом. Ее муж стоял перед ней. Она смотрела на него так, будто видела первый раз. Ей казалось, что она уже любит его. Но тут он приблизился, прижал к себе и стал жадно целовать. Она захлебнулась от слез.

Окончив счет поцелуям, довольные гости уселись на места, а туй араме шутливо, но решительно принялся сгонять народ с крыльца обратно за стол. Гости шли нехотя и уже захмелевшими голосами ворчали, что он портит им гулянку, но, в конце концов, собрались, ожидая своей очереди поздравить молодых. Туй араме торжественно вызвал к себе двух башкир со стороны отца жениха и вручил им большую сумку — ардю, чтобы они собирали в нее деньги, положенные родственниками, а в конце пересчитали их. Из кухни понесли крошечные порции покупных пельменей и новые бутылки водки.

Первыми поздравляли родители жениха. Мать, Антонина Петровна, дородная женщина с толстыми складками на щеках, лихо вскочила с места и подняла полную рюмку водки. Отец, худой жилистый башкир, Артур Кадимович, стоял рядом, держа за спиной маленький конверт с деньгами, и недоверчиво поглядывал по сторонам, будто опасаясь, что кто-то захочет украсть его прямо из-за спины. Родственники Маши увидели их первый раз во время сватовства. Они пришли тогда вместе с толпой человек в десять, несли выпивку, салаты, поднос с хлебом и солью, а сам жених беззаботно наигрывал на гармошке. Поднявшись на порог, Антонина Петровна настойчиво постучала в дверь. «Мы слыхали, у вас телочка есть», — оглушительно запела она сватовскую песню. Остальные повторяли за ней, готовясь есть и пить досыта. Резким скрипом ответила им дверь. На пороге появилась баба Варвара, закрывая собой широкий проем и исподлобья оглядывая незваных гостей.

«У вас товар, у нас купец, — продолжала Антонина Петровна, постепенно теряясь от ее взгляда, — изволите ли продать, красную цену заплатим…» Она хотела было войти нахрапом, но баба Варвара не уступила и решительно уперлась мозолистой ладонью ей в грудь.

«Входить не положено. Ждите», — выговорила она бесстрастно и с силой захлопнула дверь.

Когда же их все-таки пустили в дом, Антонина Петровна, нисколько не смущенная, щедро наливала новым родственникам по рюмкам и пела на весь дом в хмельном веселье.

Отец жениха во время сватовства стоял в стороне и только считал пустые бутылки. Зато он больше всех осматривал подарки невесты, привезенные по обычаю в их дом за две недели до свадьбы: на ощупь проверял качество ткани, наизнанку выворачивал платья, чтобы увидеть, хорошо ли выполнен шов. Потом, удовлетворенный проверкой, позвал сына и объяснил, в какой шкаф сложить добро.

Поздравление их длилось недолго, говорила только мать, а отец деловито положил в ардю конверт с деньгами. Отовсюду закричали «горько», а родственники жениха с особым старанием захлопали, чтобы поддержать своих.

Встали родители невесты. Оба они были маленького роста, оба смотрели по сторонам настороженно. Сергей Викторович, отец Маши, показался родне жениха слишком чувствительным, у него в глазах сто-

яли слезы. Это был человек с детскими чертами лица, но с первой проседью, говорил правильно и красиво, по-городскому, но иногда путался и вздыхал. «Люби своего мужа, деточка моя, и Бог пошлет тебе новую жизнь», — закончил он и опустил голову.

Поговаривали, что он сильнее всех противился этой свадьбе. Когда родственники жениха пришли свататься, а баба Варвара, вернувшись в дом, рассказала всем о происходящем, он будто бы подскочил со стула и закричал: «Да что же это такое, как же с этим быть…»

Но в комнату к дочери он пошел первым. Девочка неподвижно лежала на кровати, и лишь глаза ее были живыми и испуганными. Он присел на краешек и боялся смотреть на нее. Ему хотелось закрыть ее от всего на свете и не тревожить ничем больше.

«Что же, доченька, это жизнь, — повторял он потом, лихорадочно теребя ее руку в своих ладонях. — Иногда в жизни, бывает, нужно пострадать и получить от Бога венец… Я не знаю, за что это тебе, но ты должна все вытерпеть…»

«Пойми, милая, мы долго не сможем содержать тебя, — оказалась рядом и мать. Она то вытирала Машино лицо носовым платком, то поправляла спутавшиеся волосы. — Отцу работу совсем не дают, меня пока держат в колхозе, но никто ведь ничего не обещает. А одна, с ребеночком, как ты будешь жить после нас?»

Маша растерянно глядела то на одного, то на другого и больше пугалась их слез, чем решения своей судьбы.

«Милые мои, дорогие, — начала мать невесты, обращаясь к молодым, хотя ее тихий монотонный голос показался гостям слишком грустным для свадебного поздравления, — вы теперь одна семья, и самое главное, вы должны жить в любви и согласии, заботиться и помогать друг другу. Не обижаться по пустякам, а если случилась ссора, сразу же прощать друг друга. Тогда и жизнь у вас сложится, и отношения в семье будут добрые и уважительные...»

Татьяна Аркадьевна всеми силами старалась допустить меньше сплетен, обычных для свадьбы, где невеста уже беременна, и поддержать хорошие отношения с новыми родственниками. Перед свадьбой она, как положено, устроила в своем доме Большой сговор с родителями жениха, где договаривались о количестве гостей, угощениях, устройстве праздника. А когда ее муж вдруг встал из-за стола и быстро вышел из дома, она нарочито беззаботно махнула рукой и объяснила присутствующим на сговоре гостям, что у мужа проблемы на работе, потому что колхоз опять перестал платить зарплату, а ведь сейчас свадьбу играть, вот он и переживает. Родители и сам жених довольно закивали головами, а пришедший с родней Кашир Кузьма лукаво усмехнулся ее объяснениям.

Маша же с самого дня сватовства поняла, что наступает что-то неведомое и тяжелое для нее. В этом неведомом и тяжелом не было людей, а было будто грозовое облако. Первые мысли о муже как о реальном человеке появились у нее только после Большого сговора, когда по обычаю мать жениха повесила у входа большой пастушеский кнут, который должен был висеть здесь до самой свадьбы. Когда сговор закончился и в дом вернулся Сергей Викторович, он сначала в бешенстве пытался снять его, но баба Варвара не позволила, потому что на самом деле был такой обычай. Для Маши этот кнут был как живой, она украдкой разглядывала его, когда сидела за обеденным столом. У кнута была стертая ручка, напоминавшая Маше о лошадях и работе в поле. И когда на вто-

рой день Татьяна Аркадьевна все-таки уговорила свекровь убрать кнут, Маша все равно вспоминала о нем, когда думала о своем женихе…

Собрались было сделать перерыв на танцы и конкурсы, но тут без очереди влезли Антошка Кривой и Виктор Вдовцов. Они пробирались позади скамеек, не обращая внимания на недовольство сидевших гостей. «Подожди, подожди, мы сейчас!» — заносчиво кричал ведущему Виктор, а Антошка изо всех сил расталкивал локтями мешавших.

«Мы пришли сюда поздравить нашего друга со свадьбой, — начал Виктор, молодой парень с тонкими усиками и красивыми кудрями. — Надеемся, что наша дружба сегодня не закончится и мы сможем еще собираться, как в старые добрые времена».

Родственники жениха, не слушая, захлопали ему, а Света, сестра невесты, покраснела оттого, что тот нахально рассматривал ее полуоткрытую грудь.

«Да и вообще, жена не должна стоять между мужем и друзьями!» — подхватил Антошка Кривой.

Прозвище пришло к нему от отца, но лицо его на самом деле было сморщено сейчас от выпивки. Желая повеселить гостей, он отобрал у туй араме бутылку, из которой тот наливал каждому поздравлявшему, подхватил чужой стакан со стола и, наполнив, выпил, не отрываясь.

«О, Антошка начал, — раздались со всех сторон насмешливые голоса, — смотрите, вам его еще до дома тащить…»

Антошка недовольно огляделся вокруг и с достоинством вышел из-за стола. Туй араме объявил перерыв.

На свободное место между крыльцом и воротами вынесли две большие старые колонки и, не жалея, выкрутили ручки до упора. «Громче, громче!» — послышались задорные крики. Музыка взбудоражила захмелевших гостей, так что они вскакивали со своих мест, толкались, спешили и высыпали на двор, чтобы танцевать изо всех сил. Старухи за столом, неодобрительно качая головами, прижимали слабые ладони к ушам. Веселье разгоралось, как пожар на соломе. Виктор подскочил к Свете и, грубо обнимая за талию, увлек за собой. Они врезались в круг танцующих, разбили его, чтобы закружиться в центре, привлекая всех своим пылом и красотой. Антошка Кривой беззаботно отплясывал рядом, не замечая, как насмешливо косятся из круга, а две девушки показывают на него пальцем, как на дурачка.

Маша съежилась, будто не желая, чтобы музыка вошла ей внутрь. Вдруг сильно потянули за ногу, она вскочила и увидела, что у нее украли туфлю. Рядом закричали, а дядьки с шумом пытались догнать вора. Все смешалось, и уже нельзя было понять, кто ловит, а кто убегает.

У Маши закружилась голова.

— Петя, — бессильно выговорила она, в отчаянии поворачиваясь к мужу, но тот не слышал и уже вылезал из-за стола, чтобы присоединиться к танцующим друзьям.

— Невесту, невесту-то возьми! — придержала его мать. — Всему тебя учить надо!

— Да, пойдем, — опомнился тот и схватил Машу за руку, но она не двигалась.

— Туфли нет, — объяснила удивленному мужу. Ей отчего-то было стыдно, будто именно она виновата, что не уследила.

— Так иди босиком! — не растерялась Антонина Петровна. — А сомневаешься, вот тебе, доченька, для согрева, — и налила полную рюмку водки.

Маша нерешительно пригубила. В глазах ее вспыхнуло, а в груди обожгло. И тогда она, хмельная, не от выпитого, а от собственного чувства, побежала в круг быстрее мужа, в страстном отчаянии заплясала, вскидывая вверх свои тонкие руки...

Тем временем за столом начались обычные разговоры и сплетни.

— А жених-то наш беспутный дурачок, — приговаривала Марине Чермеш, — какой же из него муж получится… А ведь он ее силой взял!

— Это правда? — серьезно спрашивала Наталья Миттьук. — Я тоже слышала об этих сплетнях, но им не верю.

— Да как же неправда, вся деревня об этом говорит, — настаивала Марине. — До вас, городских, новости-то не доходят, откуда вам знать! А бабка Степанида сама видела, как отец ее домой нес из леса, когда тот над ней надругался. У нее спросите, она вам все расскажет…

Наталья Миттьук неодобрительно покачала головой, но возражать не стала, потому что действительно не могла знать всего.

Чуть поодаль оживленно беседовали мужья Марине и Натальи. Первый, Миккас Чермеш, был щупленький мужичок, несмелый в деле, но дерзкий на слова. Он, как и жена, рассказывал о деревенских делах. Второй, Савва Миттьук — малоразговорчивый седой старик, всю жизнь проработавший на заводе в городе, но страсть как любивший разговоры о колхозной работе, посеве, уборке и потому с уважением слушавший Миккаса Чермеша.

— Овсюг все попортил в этом году, — деловито вздохнул Миккас, — мало урожая будет, опять в колхозе передерутся и зарплату не заплатят!

— А я слышал, кто-то из колхоза вышел у вас? — мягко поинтересовался Савва. — Вот молодец мужик, сам решил хозяйство вести, да?

— Есть у нас такой, — с досадой ответил Миккас, — как раз из родни жениха, вон даже, как устроился, смотрите, — кивнул он на коренастого мужика с огромными плечами, сидевшего в почетной близости к жениху и невесте. — Григорий Михайлович Микулин его зовут, русский, пришлый. Пару лет назад заявился в колхоз и говорит: дайте мою долю земли, буду сам пахать. Да нет, не думайте, человек он пустой, — добавил он торопливо, видя, как уважительно смотрит Савва на Григория Михайловича, — противный такой, злобный, все только себе, а других за мусор считает. Я с ним даже не здороваюсь, как вижу!

Иначе велись разговоры среди родни жениха. Там центром был пожилой Кашир Кузьма, перебравшийся с крыльца дома, где слишком громко играла музыка, на скамейку за воротами. Возле него столпились и чуваши, и башкиры и говорили наперебой, а он сидел в середине и изредка останавливал или поправлял говорящих.

— А венчаться-то они будут? — спрашивала особенно религиозная чувашка.

— Да куда им венчаться! — перебивали ее несколько голосов. — У невесты же живот, какое венчание!

— У нас бы за такое не свадьбу… — поддержала родню башкирка Гузель Рифкатовна.

— А у них вся родня такая, — не успокаивались чуваши. — Да чего далеко ходить, если бабка у нее жила с четырьмя мужиками, и от них родила двух сыновей и двух дочерей.

— Хватит вам чепуху городить, — подскочил вдруг со своей скамейки Кашир Кузьма, — мелете своими языками не пойми чего! А ты,

балаболка, иди отсюда, чтоб я тебя не видел, — прикрикнул он на женщину, которая говорила про бабу Варвару.

Когда молодежь стала заметно уставать от танцев, туй араме объявил окончание перерыва и опять пригласил всех на места. Едва затихла музыка, Маша бессильно опустилась на землю, прямо там, где танцевала. На нее сначала смотрели удивленно, будто ожидая, что это розыгрыш, но потом закричали, переполошив всех. Родственники окружили ее, стараясь понять, что произошло. У Маши болела голова, ей казалось, что ноги разбиты в кровь. Она несколько секунд не двигалась, будто не узнавала окружающих, но потом сильно вдохнула и виновато улыбнулась.

— Все хорошо, — постаралась она успокоить родных, — просто устала.

Отец взял ее на руки и отнес обратно к столу, потому что под брезентом было прохладнее, а потом заботливо обнимал за плечи, боясь, что она упадет назад. Мать взволнованно трогала ее лоб.

— Да не волнуйтесь, сваты, — убеждала их Антонина Петровна, — такое бывает, от жары, наверно. Сейчас надышится, придет в себя!

Столпившиеся рядом родственники быстро подхватили, что, конечно, от жары и сейчас все пройдет.

— Выпить тебе надо, жена, — хмельным голосом пошутил жених, — сразу отпустит!

Все засмеялись.

В этот момент отец невесты неожиданно вскочил с места и, схватив жениха за грудь, потащил его на бетонные плиты у ворот.

— Я на этих самых руках ее нес, ты понимаешь? — ожесточенно выговаривал он, глядя в испуганное лицо.

— Да чего ты, батек, чего, все ведь выяснили... я же ее замуж беру... — лепетал Петька.

Родственники и друзья жениха окружили их, но боялись вмешиваться, и только Татьяна Аркадьевна бросилась к мужу и отчаянно обняла сзади, пытаясь ослабить его руки. Он же вдруг сам расплакался и головой уперся обидчику в грудь.

— Да ладно, батек, ладно, давай лучше выпьем, — отвечал ему Петька, оглядывая своих, будто ожидая их помощи.

— Выпьем, выпьем. Горько! — подхватили несколько голосов.

Тогда из-за стола встал Григорий Михайлович Микулин, оттолкнул Петьку в сторону и, позволив Сергею Викторовичу опереться на себя, проводил за стол. Родня жениха неодобрительно зашепталась, потому что он не встал на сторону Пети, но упрекать Микулина вслух никто не решился.

— Рассаживайтесь! — коротко рявкнул тот, не глядя по сторонам. — Я сейчас буду поздравлять молодых.

Гости стали неохотно расходиться по своим местам, и только Татьяна Аркадьевна осталась с Машей. Сергей Викторович сидел рядом, закрыв лицо руками, страшно стесняясь себя. Наконец все действительно успокоились.

Григорий Михайлович степенно подошел к Маше, чтобы убедиться, что она чувствует себя лучше. Потом строго посмотрел вокруг, будто выискивая в толпе тех, кто еще не замолчал, и начал речь.

— Я не буду повторять то, что до меня уже сказали и после меня скажут. Понятно, что я желаю молодым здоровья, счастья и достатка. Но мои главные слова будут для тебя, Маша. Ты новый человек в нашей

семье, и ты еще совсем молодая, но тебе надо повзрослеть, — завершил он первую мысль и остановился. — Наш Петька, он сам по себе ничего не стоит, — продолжал Микулин. — Я своих мыслей ни перед кем не скрываю, я ему это в лицо могу сказать. Ты, Петька, никчемный осел, понял? Тебя нужно кнутами до крови избить, чтобы у тебя хоть немного ума появилось. Поэтому ты, Маша, теперь в семье голова, ты должна рассуждать за обоих.

Маша испуганно смотрела на Микулина, а жених сидел с глупой улыбкой, не зная, смеяться ли словам дяди как шутке, или же обижаться на него.

— Вам сейчас нужно строить дом, — не обращал внимания на их замешательство Григорий Михайлович, — не вечно ведь вы будете у свекрови жить. Потом будут у вас дети. Их нужно воспитывать, не такими шалопаями, а настоящими людьми, чтобы крепко стояли на ногах. Потом копить деньги на старость. Чтобы, прожив жизнь, ты могла сказать, что жила по совести, ни у кого взаймы не брала и ни одному лентяю не давала. Мужу верная была, какой бы он ни был. И помирать могу спокойно, никто дурным словом не вспомнит. Поняла меня? Ну, тогда у меня все.

Родня жениха молча переглядывалась, зато родня невесты встретила этот тост громкими хлопками. Григорий Михайлович недовольно оглянулся. Продолжались поздравления и тосты…

Сергей Викторович и Татьяна Аркадьевна сидели рядом с Машей, но потом и их подняла с места бойкая Антонина Петровна и потащила участвовать в конкурсах. Машу же не беспокоили, думая, что ей нездоровится. Принесли ей украденную туфлю.

Сама Маша не понимала, что происходит вокруг. Она только боялась, что опять начнутся танцы и нужно будет бегать по острым камням. Вдруг она заметила, как на нее грустно смотрит Григорий Михайлович, и сразу же отвернулась. Ей припоминались обрывки его слов про дом, про деньги, но она не могла связать их воедино. Ей казалось, не будет никакого дома и денег, и что после сегодняшнего дня уже вообще ничего не будет.

Подошла разгоряченная Света и обняла Машу за хрупкие плечи. Маша устало улыбнулась. Ей приятно было чувствовать родного человека рядом. Она смотрела на сестру и с тихой радостью слушала ее сбивчивый рассказ о Викторе. Оказывается, Свете нравилось его грубое ухаживание, но она хотела показать, что ее не так просто добиться, и поэтому решила немного посидеть с сестрой. Они обнялись и остались одни посреди этой громкой свадьбы.

— Что, целоваться-то противно? — вдруг усмехнулась Света.

Маша только вздохнула, сильнее прижимаясь к сестре.

— А я тебе так скажу, выпей побольше, помогает, сама знаю! Утром проснешься и ничего помнить не будешь.

— Нет, напиваться не хочется, — тихо ответила Маша.

Они посидели молча. Вокруг звенела музыка. Редкие гости остались за столом, ведя неторопливые разговоры. На противоположном краю появились Петя с Виктором и, налив себе по полной стопке, выпили.

— Скажи, а ты хотела бы себе такого мужа, как у меня? — спросила Маша, осторожно поглядывая на них.

— А почему нет? Слабенький, дурачок, таким командовать, знаешь, как можно! Было бы где мне разгуляться… Ладно, пойду, — добавила она, видя, что Виктор идет прямо к ним. — Кстати, говорят, кататься

поедем ночью. Будешь с нами? Да поехали, развлечемся хоть, теперь тебе положено с мужем развлекаться!

— Хорошо, поедем, — сказала Маша, стараясь улыбнуться.

Света и Виктор взялись за руки и поспешили в круг танцующих. Маша огляделась, ожидая, что муж тоже пригласит ее, но тот уже веселился с друзьями…

Сестры Антонины Петровны, Анна и Людмила, прислуживавшие гостям, присели отдохнуть и поесть, а когда на одном из столов кончилась водка, свекровь подступилась к невестке и ласково стала подталкивать ее в локоток.

— Давай, Машенька, покажи нашим гостям, какая ты хозяйственная, сходи на кухню, принеси еще несколько бутылок.

Маша согласно закивала и медленно поднялась из-за стола. Боли в ногах не чувствовала, и только монотонно колотило в висках от неосторожных движений.

— Какая у нас невестушка, — тем временем нахваливала ее Антонина Петровна. — Новая хозяйка в доме появилась!

Маша смутилась, а гости одобрительно засмеялись.

На кухне было жарко, и клубился пар от двух огромных котлов с водой, кипевших на плите. Третий же стоял у окна и был доверху наполнен грязными тарелками. Всем распоряжалась бабка Степанида. Сама она торопливо доставала тарелки из чана и насухо протирала сбившимся в комок кухонным полотенцем. Узнав, зачем пришла Маша, она качнула головой в сторону пустых бутылок на столе.

— Не готовы! Погуляй пока, — и отвернулась к своим тарелкам.

Маша осталась в сенях, не зная, возвращаться ей назад или подождать здесь. Было темно и неуютно, потому что могли войти из любой двери. Внезапно Маша услышала глухую песню за стеной, песня была протяжная и грустная, и она тянула к себе. На ощупь приоткрыла одну из дверей, и тогда песня поразила Машу своей громкостью и силой. Она попала в летнюю кухню, где на кровати, укрытой половиками, старыми шубами и другой одеждой, сидели усталые женщины.

Все они казались Маше знакомыми, наверное, были из ее родни, но по имени она могла вспомнить только тетю Марине Чермеш. Увидев невесту, они не перестали петь, но глядели на нее с улыбкой и жестами приглашали входить.

— Здравствуй, Машенька, садись к нам, — обратилась к ней спокойная пожилая женщина, когда закончилась песня. — А мы вот тут сидим и старушечьи плачи плачем.

— Ты помнишь своих родственниц-то? Это баба Наталья и тетя Юля, они из Стерлитамака, — представила Маше пожилую женщину и ее дочь тетя Марине.

— Да откуда ей нас помнить, — возразила баба Наталья, — молодые должны жить, а не старух-родственниц считать.

Маша села среди женщин. Ей нравилось здесь. Хотелось только, чтобы они опять запели что-нибудь медленное и тревожное, так, чтобы можно было забыться и помечтать о чем-нибудь. Пару раз она с опаской взглянула в окно, не идет ли муж или свекровь, но за окном вразнобой ходили только чужие люди и не было слышно ни звука.

Тем временем женщины продолжали прерванный разговор.

— Ну, и что потом было? — спросила у бабы Натальи Марине. — Расскажи нам дальше, пусть и Маша послушает.

Баба Наталья улыбнулась.

— Ну что ж, ладно, если так просите, — вздохнула она.

Маша затаила дыхание и принялась слушать.

— После войны мы с сестрой Груней осталась сиротами. Отец погиб, а мама умерла от болезни. Сильно голодали, даже больше, чем во время войны. В деревне мы были пришлыми, поэтому родственников у нас не было. Попросили у колхоза зерна, они отказали, сказали, что из нашей семьи никто не работает. Тогда я уговорила меня взять в колхоз, работала сначала в столовой, а потом и в поле стала выходить. Так и зерно у нас в доме появилось, и картошка. Было мне тогда четырнадцать лет. А когда вышла замуж, переехала к Миттьукам, а Груню увезли к дяде Мукасею в Аллагват. Свекровка меня невзлюбила. В первый день после свадьбы послала она меня кизяки делать, и так я все работала у нее. Бывало, гулянка какая-нибудь, сама свекровь пьет, дядя Савелий пьет, а младшую дочь от работы бережет. Иди, говорит, Наташка, на кизяки или в огород. Так я и жила.

Потом переехали мы с Савелием в город, в бараки, там у нас была маленькая комнатка. Стали на заводе работать. А по выходным все равно в деревню, надо ведь маме помочь, маме там тяжело. А мама на мне и ездила. Ох, нехорошо про покойников так говорить… — осеклась она и осторожно перекрестилась.

— Ну вот, так время и проходило, — продолжала баба Наталья вскоре. — Дядя Савелий пил сильно, не буду скрывать. Сколько я раз его по дворам искала, сколько раз домой тащила, уже и не вспомнить! А тут у меня ребеночек родился, Алешенька. Помню, маленький такой был и почти не кричал. Месяца ему еще не было, а тут у племянника свекровки свадьба, нас позвали. Я говорю, Савва, давай не поедем, а он: нет, нельзя обидеть родню. Вот и поехали с ребенком.

А поехали, это не как сейчас, прямо ко двору на своей машине. Тогда так добирались: на автобусе до Разъезда, а оттуда пешком. Через Ашкадар вброд перебирались. Там мы Алешеньку и застудили.

И вот, они на свадьбе гуляют, а я с ребенком дома сижу. Он заболел, лежит, кашляет, я его тряпкой укутаю и к себе прижму. Потом заснул вроде. Я успокоилась, сама немного прикорнула. А просыпаюсь, смотрю, он уже синенький. Выглядываю в окно: никого нет, вся деревня гуляет на другой улице. Села и заплакала, не знаю, что делать. А потом смотрю, Николай Васильевич, помощник председателя, идет по дороге, я кричу ему, а сама плачу, задыхаюсь. Говорю, найдите, где гуляют, скажите Савелию: ребенок у нас умер. И вот, скоро пришли и Савва, и братья его. Николай Васильевич тут же распорядился, гробик смастерили. А я смотрю, такой маленький. Спрашиваю, неужели поместится, а он говорит, что поместится…

А свекровка с дочерью только к вечеру вернулись. Я уже тогда успокоилась, ужин сварила. Свекровка говорит мне, давай, Наташ, сегодня похороним, зачем будет в доме стоять. А завтра уже картошку надо окучивать. Я согласилась, так мы и похоронили его.

— А ты говоришь, Марине, хорошо жили, всякое бывало, как у всяких людей, — закончила она и спокойно улыбнулась родственнице.

Стало тихо, было слышно, как бьются мухи в окно. Маша зажмурилась. Ей представился и пустой дом, и мертвый ребенок на столе, а вокруг чужая свадьба, все смеются и кричат проклятое «горько»… Наконец она открыла глаза и увидела, что баба Наталья ласково смотрит на нее.

— А вы часто приезжаете в деревню? — спросила вдруг Маша.

— Нет, куда уж нам, старухам, часто приезжать.

Маша хотела пригласить бабу Наталью заходить в гости, если получится, но не решилась. Женщины опять завели разговор, а она то слушала, то устало наклонялась к тете Марине и тихонько спала у нее на плече.

Вдруг сквозь сон Маша почувствовала движение и громкие голоса. Ее звали сестра Света и кто-то еще. Маша испуганно поднялась, выбежала в сени. Торопливо огляделась в темноте, будто собиралась спрятаться. Больше всего ей не хотелось ехать сейчас с мужем и остальными в клуб. Она не знала, что делать. Из кухни пахло сыростью, с крыльца доносился голос сестры. Тогда Маша нащупала позади ручку двери и потянула на себя. Это был вход в жилую часть дома, она была здесь первый раз.

Сначала Маша оказалась в просторной комнате, напоминавшей зал в городских квартирах. Через два больших окна проникал свет со двора и мелькали знакомые фигуры. Под ногами лежал огромный шерстяной ковер, так что Маша сняла обувь, прежде чем наступать на него. Посреди стоял большой диван, но она не решилась остаться прямо в зале, опасаясь, что ее сразу же обнаружат, если войдут в дом. На противоположной стене виднелись две двери, и Маша решила заглянуть туда.

Первая дверь вела в большую, но низкую комнату с одним окошком, занавешенным тяжелыми портьерами. Повсюду стояли шкафы, тумбы, а на каждой стене из-за шкафа виднелся краешек ковра. Маша поняла, что это была комната хозяев, и поспешила выйти, чтобы не задеть что-нибудь ненароком.

Вторая дверь сильно скрипнула, и ей отозвались хрупкие половицы. Это была маленькая спаленка с пустыми стенами; прямо у двери стояли письменный столик и крошечный платяной шкаф; у другой стены раскинулась тахта; над тахтой висела разбитая гитара без струн. В углу виднелась старенькая детская люлька. Маша легла на тахту и хотела уснуть, но смутное беспокойство не покидало ее. Она закрыла глаза и старалась вообразить, как ходит по комнате и рассматривает все вокруг. В шкафу она нашла невероятно красивое платье из тонкого шелка, хотела примерить его, но побоялась помять и потому оставила на вешалке. Потом ее внимание привлекла гитара на стене, старая, потертая, будто ручка рабочей косы или пастушьего кнута. Маша осторожно погладила теплое дерево. Наконец она подошла к люльке и наклонилась над ней, будто ожидая увидеть там настоящего ребенка. Но внутри лежала только большая мертвая кукла. Вдруг она поняла, что эта комната — ее будущая спальня, гитара на стене — ее мужа, а люлька загодя повешена для ее ребенка. Маша раскрыла глаза и подпрыгнула с тахты, не сводя глаз со страшной люльки. Ее охватил страх, будто она оказалась ночью на кладбище, и тогда она побежала прочь, ничего не видя перед собой.

Очнулась Маша, сжимая ручки двери в сени, и сильно заплакала. Она не хотела выходить к людям, но и не хотела возвращаться туда, в маленькую комнату. Маша села на ковер у двери и, опершись на стену, устало запрокинула голову. Тикали на стене часы.

Сергей КИСЕЛЕВ

Иль проснется забытая нежность



Сергей КИСЕЛЕВ — давний автор журнала «Нёман». Несколько лет назад, в очередной раз, он прислал свои стихи, но увидеть их на страницах издания не успел... Поэтому, к сожалению, печатаем их в рубрике «Наследие».

Слезы

Отметаю ненужные грезы,
Чтобы стать и практичней, и злей,
Только вот беспричинные слезы
Стали новой бедою моей.

Встречу ль девочку в скудной одежде.
Старика ли в жилище дрянном.
Иль проснется забытая нежность
К деревенькам, бредущим на слом.

Тотчас веки, как мокрые крылья,
Тяжелеют от прожитых гроз.
Одного лишь понять я не в силах —
Отчего мы стесняемся слез?

Болото

Бежит вагон, а за окном болото,
До горизонта кочки и кусты.
И думается, верится во что-то,
И плачется от странной красоты.

Мы все пришли откуда-то оттуда,
С заросших мхом тоскующих равнин,
И потому, наверно, вера в чудо
Живет в моей прокуренной груди.

И я опять, печалясь отчего-то,
К чему-то непонятному готов.
И тянется прекрасное болото
На сотни верст, на тысячи веков.

Волшебная страна

На фоне синей занавески
Алели скромные цветы,
И свет вечерний, свет нерезкий
Залил и поезд, и кусты.

И средь бегущих вечных пашен
Вдруг мысль предстала без затей:
Как сон, промчались годы наши,
Как сон, пройдут дела людей.

Мне показалось, что от века
На всем лежит судьбы печать,
И тайну жизни человека
Не стоит, видимо, искать.

Но вдруг на сонном полустанке,
Под тихий плеск фонтанных струй,
Мне неизвестными устами
Был послан быстрый поцелуй.

Казалось бы, совсем немного
Задело тайную струну,
Но я поверил, что дорога
Ведет в волшебную страну.

Штрафники

Бойцы прикорнули, как дети, у самой дороги.
Пока еще целы и души, и руки, и ноги,
А утром — чуть солнце, а утром такое начнется.
Земля под ногами, как страшная зыбка, качнется,
И танки взревут, и завоют вверху самолеты,
А вся-то надежда на горсточку этой пехоты.
О Господи-Боже! Зачем эти грозные войны.
Неужто мы жизни какой-то иной недостойны?
Вот спят они крепко, им снятся родимые хаты,

И счастливы будут до светлого утра солдаты.
А утром погибнут — ни славы тебе, ни награды...
Утонет в цветах обелиск без имен и ограды.
Штрафной батальон...
Без меня и давно это было,
А нынче представил — и сердце от горя заныло.

Песня старинная

Льется песня старинная,
В летнем доме уют,
И в кувшинчике глиняном
Пиво нам подают.

Чисто вымыта лестница,
Светит золотом пол.
Наша мама-кудесница
Изукрасила стол.

Пироги, да оладушки,
Да уха на столах.
Рядом дедушка с бабушкой
На почетных местах.

Ароматы портвейные,
Голоса мужиков,
Мандолина трофейная,
Дробный стук каблуков.

Разговор с уважением,
Грусти легкая тень.
А у нас день рождения —
Мамин праздничный день.

Льется песня старинная
Бесконечно, как жизнь...
Ах, кувшинчик мой глиняный
С пенной сладостью ржи!

Река

Под снежным кровом гор высоких,
В привольной пуще, средь болот,
Струятся чистые потоки —
Реки незыблемый оплот.

Ручьи сливаются в долине,
И полноводная река,
Непобедимая отныне,
Бежит, играя, сквозь века.

Славянских стран разъединенных
Шумят бурливые ручьи,
Но каждый роет сам на склонах
Дороги трудные свои.

А там, где нет объединенья
В большой стремительный поток
И слаб питающий исток,
Там тщетно пенное круженье.

И мысля о пути далеком,
Я убеждаюсь свято в том,
Что лучше быть реки притоком,
Чем придорожным ручейком.

Внучка

Привезли хлопотливую внучку,
Чтоб деды отдохнули душой.
Помахали приветливо ручкой
И уехали в город большой.

Целый день голосок серебристый
По избе и по саду звенит.
Там, где было и пусто, и чисто,
Все теперь в беспорядке лежит.

Краски, ножницы, куклы и тряпки.
На стене несмываемый след...
Целый день удивляется бабка,
Добродушно ругается дед:

— Ну, конечно, родителям тоже
Не мешает чуток отдохнуть.
Но и это, наверно, негоже —
На все лето ребенка спихнуть.

Вот приедут — не буду ругаться.
Но скажу им о вещи такой:
Нам уже далеко не по двадцать.
Мы устали, нам нужен покой!

Но однажды, когда у окошка
Сели старые сказки читать,
Зашуршали шаги по дорожке —
За ребенком приехала мать.

Увела, как цыпленка наседка,
Стало пусто и чисто в избе.
И заплакали бабка и дедка
О своей одинокой судьбе.



Рене БАРЖАВЕЛЬ,
Оленка де ВЕЕР

Девушки и единорог[*]

Роман

Часть 2

Зимние дни на севере Ирландии коротки. Незадолго до вечера этого дня, полного солнца и дождя, два всадника в мундирах проехали по дамбе, поднялись по склону к белому зданию, объехали его и спешились возле черного хода. Самый высокий из них постучался и сказал, что должен поговорить с сэром Джоном Грином.

— Господин Грин работает, — ответила ему Эми. — Можно подумать, ему больше нечего делать, как терять время на разговоры с полицейскими! У него хватает своих забот. Если вы, Эд Лейн, хотите что-нибудь передать ему, говорите это скорее, пока вас не задушили слова, или уезжайте вместе с ними.

— Вы самое ядовитое существо во всем графстве, — пожал плечами рыжий гигант. — Именно такие языки, как у вас, делают невозможной жизнь для мужчин!

— Если для вас жизнь в Донеголе невозможна, убирайтесь в свою Шотландию! Никто вас сюда не звал. Наверное, шотландская капуста давно скучает без вас. Стоит ей только увидеть вашу круглую рожу, как она наберет вес за пару дней.

Эд Лейн нахмурился, обдумывая ответ. Потом его лицо просветлело.

— Мне кажется, вы хотите оскорбить меня, — сказал он. — Но дело в том, что в моей деревне не выращивают капусту.

Обезоруженная Эми покачала головой.

— Конечно, она сразу разбежалась, как только вы уехали из деревни… Ладно, заходите на кухню, вы успеете выпить чашку чаю, пока я схожу предупредить мадам.

— Я не доверяю вашему чаю, вы вполне способны отравить его, — улыбнулся Лейн.

— Наверное, мне давно следовало сделать это, — сказала Эми. — Но от такого поступка у меня будет больше неприятностей, чем от вас.

Несмотря на то, что двери в кухню были достаточной ширины и высоты, Лейн протиснулся в нее боком, наклонив голову. Такое поведение давно стало у него рефлексом. Он нередко набивал шишки и отрывал пуговицы с мундира, когда ему приходилось заходить в ирландские хижины. Второй констебль молча последовал за ним.

— Если бы у вас были мозги размером хотя бы с орех, — сказала Эми, — вы не стали бы гоняться за патриотами. И не надо дуть на чай, вы не в своих диких горах!

---

[*] Продолжение. Начало в № 1 за 2016 г.

— Вы называете их патриотами, — буркнул Лейн, отодвигая чашку. — На самом деле это бунтовщики. И если бы я не делал эту работу, ее на моем месте делал бы кто-нибудь другой, и возможно, он был бы гораздо хуже меня. И не надо придираться, я не дул на чай, а пил его.

— Конечно, в колесе телеги нет ничего плохого, но если оно проедет по вашей ноге…

— Не будьте растяпой, вовремя убирайте свою ногу из-под колеса, — фыркнул Лейн.

— Смотрите, как бы чашка не застряла у вас в усах, — съязвила Эми.

Леди Гарриэтта, предупрежденная о появлении полицейских, прислала горничную выяснить цель их визита. Она должна была решить, стоит ли ради них отвлекать от работы сэра Джона.

Когда юная девушка появилась в кухне, полицейские встали и вежливо поздоровались с ней. Джейн было семнадцать лет, и она выглядела слишком миниатюрной для своего возраста. Ей пришлось задрать голову, чтобы увидеть высоко над собой синие глаза констебля и белые зубы под усами. Лейн сказал, что они должны сообщить сэру Джону о появлении в округе опасного мятежника, вожака большой банды. Его звали Уг О'Фарран; по слухам, он был потомком древнего ирландского короля, одного из местных вождей во времена до объединения Ирландии с Англией.

— Конечно, это было объединение с использованием оружия, — заметила Эми.

— Так всегда бывает при объединении, — пояснил Лейн. — Неизвестно, где О'Фарран скрывается сейчас, но все с волнением говорят о нем. Король он или нет, находится он в этих краях или нет, все равно в ближайшие дни следует ожидать стрельбы, взрывов и других идиотских происшествий.

— Не вижу здесь других идиотов, кроме вас, — сказала Эми.

Эд Лейн не удостоил ее ответной реплики. Он не сводил глаз со светлой головки Джейн и миловидного личика, смотревшего на него с почти детским выражением.

— Мы объезжаем округу и предупреждаем всех местных господ, чтобы они предприняли необходимые меры. Сейчас не стоит отправляться в дорогу в одиночку, да и ружье взять с собой не помешает…

— Эд Лейн, — перебила его Эми, — поберегите ваши глупости для другого места и других ушей. Сент-Альбан не боится патриотов. Память о сэре Джонатане — лучшая защита для него, да и сэр Джон тоже достоин называться настоящим ирландцем. Его пять дочерей — настоящее сокровище, и ни один человек, сражающийся за свободу, не позволит упасть ни одному волоску с их головы! Но я надеюсь, что они догадаются отрубить вашу голову!

— Если мадемуазель не возражает, я бы выпил еще чашечку чаю! — сказал Лейн.

— Постойте, чем это здесь пахнет? — внезапно негромко сказала Эми.

Принюхиваясь, словно охотничья собака, она подошла к двери, ведущей в коридор, и резко распахнула ее. За дверью, согнувшись, подслушивала малышка Брижит, державшая в руках две медных керосиновых лампы.

Испуганная Брижит умчалась, оставляя за собой запах керосина. Эми, проводившая девушку обещанием сломать метлу о ее голову, захлопнула дверь с выражением отвращения на лице.

— Керосин — это поистине дьявольское изобретение! — проворчала она. — Я уверена, что его используют, чтобы обогревать ад. Кроме того, в аду на керосине поджаривают грешников, и вместо воды им приходится пить керосин. К счастью, туда попадают главным образом англичане…

На этом Лейну и его коллеге пришлось откланяться. День клонился к вечеру, приближалась долгая ночь, когда приходилось зажигать лампы. Чтобы осветить все комнаты и все закоулки большого дома, ламп требовалось множество. Заниматься ими приходилось Брижит, самой юной из служанок. С раннего утра она начинала собирать лампы в небольшой комнатушке в служебной части здания, в конце большого коридора, где она запиралась в стороне от всех. Ей приходилось обслуживать множество самых разных ламп, в том числе фарфоровых с цветными рисунками, стеклянных с абажурами из дымчатого стекла, массивных медных, подвесных, напольных и настольных. Брижит снимала абажуры и стекла, выкручивала фитили, заполняла емкости для керосина с помощью большой воронки. После этого ставила на место все снятые детали, регулировала фитили, вытирала потеки керосина, и так как день к этому времени уже заканчивался, разносила по комнатам зажженные лампы. Обедать ей приходилось в той же каморке; она так пропахла керосином, что Эми не позволяла ей даже близко подходить к кухне, где разрешалось пользоваться только масляными лампами или свечами.

Для позднего обеда, первого с участием гостя сэра Джона, Брижит по указанию леди Гарриэтты повесила на стенах столовой шесть масляных ламп с медными рефлекторами в виде раковин, что заметно усилило бледный свет от двух люстр с множеством хрустальных подвесок и с тремя керосиновыми светильниками на каждой.

От света масляных ламп засверкали золоченые рамы картин и старинных зеркал, заблестели золотые нити в гобелене, изображающем взятие Иерусалима. В большом камине, занимавшем почти всю стену столовой, ярко пылали дубовые поленья и куски торфа, распространяя по комнате потоки горячего воздуха. Как всегда, первым в столовую явился Ардан. Пес со счастливым вздохом развалился перед камином и тут же заснул. Наверное, он видел сны, потому что у него постоянно дергались лапы. Постепенно в столовой собралась вся семья. Каждый ее член покидал тайное убежище, где скрывался в течение дня, и присоединялся к остальным. Для сэра Джона вечерняя встреча семьи за общим столом была дополнительным элементом ежедневного счастья. Машинально перебирая небольшие фигурки серебряных единорогов, висевшие на цепочке для часов, и поглядывая на жену, он благодарил ее взглядом за то, что она всегда оставалась спокойной и красивой. На ее лице не было морщин, возникающих у женщин, терзаемых тревожными мыслями или волнующихся из-за ерунды. Он окинул взглядом собравшихся за столом дочерей, среди которых не увидел только Китти. Не успел он поинтересоваться, почему она отсутствует, как девушка вбежала в столовую и поспешно заняла свое место. Пробормотав извинения, она звонко рассмеялась, но тут же замолчала, заметив среди присутствующих незнакомого человека. Она только что вернулась из очередного благотворительного похода; торопливо пригладив волосы и поправив булавки и гребенки, она вздохнула, как Ардан. Некрасивая, со светящимися добротой глазами, она была счастлива. Она сильно проголодалась.

Сэр Джон наклонил голову и сказал:

— Мы благодарим тебя, Господи, за то, что ты позволил нам еще раз собраться за этим столом, благодарим за пищу, которой ты одариваешь нас сегодня, как и все остальные дни, и мы просим тебя ежедневно оделять пищей всех голодных… — После короткой паузы он добавил: — …и дать мир Ирландии.

— Аминь! — дружным хором закончили молитву дочери.

Элис решительно подняла бледное удлиненное лицо. Внутренний протест заставил ее крепко сжать губы. Она подумала, что в прочитанной отцом молитве отсутствовала искренность. В ней не было лжи, но было

нечто худшее: пустота. Она подумала о свечах, о величественных звуках органа, о монашенке, распростершейся в виде креста на каменных плитах. Она снова почувствовала опаливший ее жар и леденящий душу холод. Ее тело под темно-серым платьем напряглось. Белый нагрудник с вставками из китового уса жестко охватывал ее грудь, заставляя высоко держать голову.

Элен совсем недолго видела Амбруаза Онжье, да и то со спины, во время его беседы с отцом в библиотеке. Присутствуя при разговоре двух мужчин, она сидела за своим столиком, внимательно прислушиваясь к его голосу, когда он неторопливо говорил по-английски с акцентом получившего хорошее воспитание джентльмена. Когда он выходил, чтобы переодеться к обеду, он поприветствовал ее коротким кивком. Сейчас она увидела его лицо, когда он входил в столовую. На нем был серый редингот[1] и брюки в черную и белую клетку. Он уселся напротив нее. Элен заметила, что его галстук, завязанный аккуратным узлом, был подобран в тон остальным деталям одежды. Он говорил, ел и пользовался ножом и вилкой с безупречным изяществом. Похоже, он не замечал женского присутствия вокруг него и обращался исключительно к хозяину, из-за чего в столовой господствовала непривычная тишина. Сестры почти не разговаривали друг с другом; время от времени они перешептывались. Леди Гарриэтта произнесла только одну фразу, сообщив, что перед дождем была очень хорошая погода.

Развалившийся перед камином Ардан коротко тявкнул и проснулся. Открыв один глаз, он почувствовал, что едва не задымился со стороны, повернутой к огню, и перевернулся на другой бок.

Сэр Джон обсуждал с Амбруазом Онжье политику Парнелла[2], пытавшегося добиться легальным путем более широкой автономии для Ирландии. Сэр Джон поддерживал действия Парнелла, тогда как Онжье их не одобрял. Несмотря на противоположность взглядов, их разговор протекал самым корректным образом.

Немного обеспокоенная Джейн сидела напротив матери. На нее возлагалась обязанность по украшению стола и размещению на нем хрустальных бокалов с выгравированным на них единорогом. Справилась ли она с поручением? Леди Гарриэтта успокоила ее, доброжелательно кивнув головой, и Джейн тут же стала улыбаться направо и налево.

Какая-то молчаливая тень быстро скользнула вдоль стены столовой. Это была Брижит, выполнявшая свои обязанности. Весь вечер она носилась по дому, по всем лестницам, комнатам и коридорам, останавливаясь у каждой лампы. Она дергала за цепочки, поворачивала колесики, подкачивала керосин, следила за высотой пламени, регулировала длину фитилей. Вместе с ней в столовой возник и быстро исчез легкий запах керосина.

Гризельда вздрогнула. Она все еще чувствовала под ногами холодную воду в туннеле. Она сидела, набросив на плечи шерстяной шарф, легкий, словно из шелка. Ее лицо раскраснелось, ей было тепло. Но снизу упорно подступал холод, постепенно поднимавшийся вверх по телу.

Элен не могла оторвать взгляд от лица Амбруаза Онжье. Этот человек казался ей полным загадок; она представляла его книгой, которую предстояло раскрыть. В ней неудержимо росло стремление прочитать все, что было в ней написано. Гость казался ей чем-то похожим на отца, но был менее понятным, менее знакомым.

---

[1] Просторный и длинный мужской сюртук, часто использовавшийся как дорожная одежда.

[2] Парнелл Чарльз Стюарт (1846—1891) лендлорд, политический деятель. Руководил движением за предоставление Ирландии большой политической самостоятельности. Создатель ирландской национальной партии.

Словно почувствовав интерес, который он вызвал у девушки, сэр Онжье слегка мотнул головой, как будто отгоняя назойливое насекомое, на мгновение отвернулся от сэра Джона и посмотрел на Элен. Он заметил серое платье, скрывавшее девственную грудь, белоснежную шею, каштановые волосы, разделенные надвое узкой светлой полоской пробора, и лицо старательной школьницы с большими синими глазами, неотрывно смотревшими на него.

Таким образом, взгляд Онжье нечаянно встретился с взглядом Элен, показавшимся ему трогательно беззащитным, и проник в него. Элен почувствовала, как в ней загрохотала тишина, охватившая комнату и весь дом. Внезапно в мире остались только он и она, он и она друг напротив друга. Все, что она знала и любила до этого, перестало двигаться, исчезло, перестало существовать, и они вдвоем оказались в центре огромной светящейся пустоты.

Она ощутила рождающееся в конце тишины напряжение, проникающее в нее и взорвавшееся в ней. Ей показалось, что земля исчезла у нее из-под ног. Она оперлась руками на стол и прижалась к нему лицом. Раздался крик. Все вокруг засуетились и повскакивали из-за стола. Онжье тоже вскочил. Кричала остановившаяся в дверях Брижит. Она увидела Даму! Она только что увидела ее! Женщина с длинными волосами, в белой рубашке до пят, с ребенком на руках, совсем голым малышом, поднималась по ведущей в холл лестнице! Брижит видела женщину с ребенком, женщина только что появилась, она поднималась по лестнице…

Гризельда, как и Элен, не двинулась с места. Вода в туннеле поднималась. Она уже залила ей колени, потом живот и поднималась все выше и выше. Ардан навалился на нее, он был тяжелым, он был мокрым, он обжигал.

* * *

Глубокой ночью Эмер, помощник конюха, поскакал за доктором. Гризельда заболела. Заболела очень тяжело. Эми сказала, что она была такой горячей, что обжигала, как огонь. Она бредила, и ей повсюду виделся Уагу, на шкафу, на туалетном столике, на постели. Она то пыталась прогнать его, то звала к себе, она билась в лихорадке, кашляла, кричала.

От болезни Гризельда окончательно избавилась только через два месяца, изможденная, похудевшая, чуждая всему происходящему вокруг. У нее даже пропал интерес к прогулкам по острову. Она часами оставалась в своей комнате, свернувшись клубочком в большом кресле перед камином. Спрятав голые ноги под юбкой, она смотрела, не отрываясь, на беспорядочную игру языков пламени. Иногда она лежала в кровати между четырех застывших в прыжке единорогов. Ее перестали интересовать книги; едва открыв какой-нибудь томик, она тут же закрывала его, и книга падала на пол из безвольно разжавшихся пальцев. В ее внутреннем мире бестолково блуждали невнятные мысли, и она все глубже погружалась в призрачные сны, забывая не только о реальном мире, но и о самой себе.

Преданный Ардан, лежавший возле хозяйки с постоянно обращенной в ее сторону мордой, словно всегда указывающей на север стрелке компаса, и с тревогой наблюдавший за хозяйкой, внезапно вскочил и подбежал к двери, виляя хвостом. Чьи-то шаги прогрохотали по лестнице, затем по коридору, и в спальню ворвалась Китти со своей обычной корзинкой с двумя крышками, красная и взволнованная. Она только что вернулась с обычного обхода окрестных бедняков, которым разносила еду, старую одежду и связанные ею шерстяные вещи, на которые она нередко тратила не только дневные часы, но и время сна. Она вязала быстро, выбирая

самую грубую шерсть, и результаты ее работы, хотя и не слишком красивые, всегда были теплыми.

— Гризельда! Они опять дрались этой ночью! В Капейни! Они напали на патруль! Говорят, что они ранили трех полицейских!

Ардан крутился вокруг нее, радуясь свежему запаху и, возможно, рассказу о драке. Опершись на локоть, Гризельда повернулась к Китти, открывавшей корзинку.

— Посмотри, что я нашла возле фермы Фергюса Фарвина!

У Гризельды заблестели глаза. Ей слышались трубы и барабаны, она видела знамена и всадников…

— Смотри!

Китти протянула ей какую-то тряпку, держа ее двумя пальцами. Это оказалась перчатка из серой шерсти, явно принадлежавшая простому человеку. С почти оторванным большим пальцем, пропитанная чем-то темным, уже засохшим.

Китти подошла ближе к Гризельде и прошептала дрожащим голосом:

— Это же кровь…

* * *

Элен натянула на ноги грубые башмаки на толстой подошве и пошла в сад. У каждой из сестер был свой садик, находившийся в понравившейся части острова. Сад Элен располагался на юго-восточной кромке леса, и его первым заливали лучи восходящего солнца. Но у Гризельды своего сада не было. Она заказывала семена экзотических растений из Индии и Америки и хранила их в беспорядке у себя в комнате. Когда у нее было настроение, она выкапывала ямку в лесу, на лужайке или на морском берегу, сыпала в нее, не считая, подвернувшиеся под руку семена и зарывала ямку, предоставляя растениям свободно развиваться по прихоти судьбы. Иногда семена давали всходы, и вырастали странные побеги; осмотревшись и поняв, что они находятся далеко от родных краев, они чахли и быстро умирали от тоски. Некоторые ухитрялись освоиться и становились новыми членами растительного сообщества Сент-Альбана. Прошлым летом тис Уагу захватило какое-то вьющееся растение, поднявшееся до самой вершины; в августе оно цвело большими цветами, похожими на колокольчики для овец. Все пчелы острова собрались к нему, привлеченные нектаром в фиолетовых кубках. Гризельда тоже попробовала это лакомство, вкусом напоминавшее мед. В результате этого опыта она на мгновение увидела, как небо над ней заполнило множество солнц. Зимой растение погибло. Так как Гризельда не представляла, как выглядят его семена, то следующей весной она щедро рассеяла по острову все, что осталось у нее из запасов семян. Но второго растения с фиолетовыми колокольчиками не появилось, и Гризельда так и не узнала, выросло ли оно из ее семян, или семечко было принесено ветром.

В сердце Элен пела радость. Амбруаз! Амбруаз! Амбруаз! Она тысячу раз повторяла это имя или про себя, или вполголоса, когда никого не было рядом. Произнося это имя, она краснела, слезы появлялись у нее на глазах, счастье переполняло ее, и она становилась легкой, словно утреннее облачко. Она то была готова взлететь, то ее переставали держать ноги под внезапно навалившейся тяжестью. Амбруаз! Имя красоты и радости, имя весны. Когда она произносила его, всходило солнце, расцветали цветы, тянувшие свои чашечки повыше, чтобы лучше слышать его, облака становились голубыми. Это имя меняло все, его напевало небо, земля дышала им. Других имен не существовало.

Элен отбросила лопату и растянулась на траве. Она ощущала, как осторожные пальчики маргариток ласково касались ее щек, губ и век. Невероят-

ная нежность наполнила ее сердце, и в то же время его стиснула холодная рука. Ее слезы смешались с росой на цветах. В ней рождалось неопределенное, смутное желание чего-то, и одновременно этого непонятного она желала всеми силами. Она должна была получить это немедленно. Она вскочила, схватила лопату и принялась копать с такой решимостью, словно от этого зависело ее будущее.

Она слышала пронзительные крики ласточек, то и дело нырявших с высоты к макушкам деревьев и носившихся, едва не касаясь веток. Вдали, где-то за домом, со скрипом катилась тележка садовника с грузом морских водорослей, использовавшихся как удобрение. Она слышала биение своего сердца и бархатное шуршание лопаты, вонзающейся в жирную землю. Эти звуки были окружены стеной тишины, даже шум морских волн удалился осторожными шагами и затих. Тем не менее, Элен догадывалась, что ее окружает тайная жизнь, и это тяжелое медленное присутствие постепенно успокоило ее. Ей было жарко, но она чувствовала себя прекрасно, в полном согласии с деревьями и облаками, воздухом и землей, со всем, что окружало ее.

Внезапно, в тот момент, когда она вонзала лопату в землю, послышались странные звуки, что-то вроде веселого позвякивания, одновременно совсем близкие и в то же время как будто приглушенные большим расстоянием. Она остановилась, и бренчанье затихло. Но стоило ей возобновить работу, как эти странные звуки послышались снова. Можно было подумать, что когда лопата входила в почву, кто-то под землей коварно постукивал по железу небольшим камешком, заставляя его звенеть. Каждый раз звуки были несколько иными, но всегда оставались дружелюбными и шутливыми. Наверное, это было послание существ, которых нельзя было увидеть или которые не хотели, чтобы их увидели. Существ, присутствующих в каждом растении, каждом камешке, каждом комке земли. Элен поняла, что они хотят общаться с ней. Остров хотел что-то рассказать ей.

Встревоженная, немного испуганная, но одновременно полная надежд, она спросила:

— Амбруаз? — и воткнула лопату в землю.

Опять послышались необычные звуки… Наверное, так могла бы смеяться птичка.

* * *

— Значит, ты их слышала! — сказала Эми, выслушав Элен.

— Кого «их»? — спросила Элен.

— Никто этого не знает, — пожала плечами Эми. — Вернее, у них столько имен, что лучше никак не называть их. Если произнести имя неправильно, это может рассердить их. Никогда нельзя быть уверенным…

На кухне все было как обычно. Медные кастрюли бросали солнечные блики на стены, рагу из ягненка, томившееся на огне, распространяло аромат, смешивавшийся с запахами ванили и гвоздики из духовки. Эми месила тесто из овсяной муки; оно должно было подниматься до завтрашнего утра.

— Но все-таки, что они хотели сказать мне? — нетерпеливо топнула ногой Элен.

— Это неизвестно, — сказала Эми. — Обычно, если они дают знать о себе, то в ближайшее время нужно ожидать больших перемен.

— Каких перемен? Хороших или плохих?

— Неизвестно, — ответила Эми. — Для них слова «плохое» и «хорошее» значат совсем не то, что для нас… Боже! Надеюсь, эта дурочка Брижит не оставила открытым окно в свою керосиновую берлогу. Они

не любят этот запах, просто не переносят его. А ведь они обходят дом по ночам… Вечером надо будет поставить за дверью блюдечки с медом и молоком…

Рыжий кот, спавший на стуле, открыл глаза, услышав слово «молоко», но сразу же снова притворился спящим. Эми стряхнула с рук катышки теста и посмотрела на Элен.

— Я знаю, малышка, что тревожит тебя, — вздохнула она. — А их это может только рассмешить…

— Не понимаю, о чем ты, — смущенно буркнула Элен.

— Ты не зря покраснела, моя голубушка! — сказала Эми. — Но они только посмеиваются над нашими чувствами… А мне скорее хочется всплакнуть… Ты помнишь историю с Дейрдрой, заставившей страдать всю Ирландию?

— Ты всегда рассказываешь только печальные истории…

Элен топнула ногой в знак протеста и чтобы подтвердить свою веру в счастливый конец.

Дейрдра была самой прекрасной среди девушек Ольстера. Волосы ее были черными как ночь, а глаза — цвета барвинка. Кожа ее была белой, как молоко, и розовой, как утренняя заря. Когда она смеялась, то вокруг нее возникало столько радости, что все мужчины и женщины, услышавшие ее смех, оборачивались и смотрели на нее.

И она полюбила Найси, одного из трех племянников короля Конхобара, волосы которого были цвета золота, а глаза — цвета ореха. Он любил Дейрдру так же сильно, как она любила его. Но однажды король, который никогда не видел Дейрдру, повстречал ее и захотел взять в жены…

— Нет, нет! — крикнула Элен и опять топнула ногой. Она знала продолжение истории и не хотела в очередной раз слушать ее. Она повернулась и выбежала из кухни. Эми покачала головой и погладила рыжего кота, выпустившего от удовольствия когти. Она подумала: «Может быть, ты знаешь, кот, что делать в этом случае, как избавить девушку от мук любви? Боюсь, что никак…»

Элен не нужно было видеть Амбруаза, чтобы быть счастливой. Когда они втроем работали в библиотеке отца, она за своим небольшим столиком, а Амбруаз напротив сэра Джона, она почти никогда не поднимала на него взгляд, но все время чувствовала его присутствие, как чувствовала дневной свет. Ведь на свет не смотрят, в нем купаются.

Амбруаз был красивым и умным молодым человеком. Он был ученым. То, что он появился на острове и она увидела его, было чудом, на которое она не могла надеяться. Однажды вечером Элен по поручению отца показала ему остров. Он разговаривал с ней, задавал вопросы. Отвечая ему, она проявила всю живость ума, воспитанного сэром Джоном, хотя иногда эмоции заставляли ее сбиваться и замолкать. Эти удачные моменты не позволили ей выглядеть слишком умной в глазах Амбруаза.

Он с удовольствием обнаружил в ней ум, не интересующийся пустяками, а восхищение, с которым она смотрела на него, польстило ему. Она сильно отличалась от всех девушек на выданье, от которых он всегда отворачивался. Его пребывание на острове оказалось не только полезным, но и приятным.

Дейрдра и Найси бежали в Шотландию. Их сопровождали два брата Найси. Один из них был брюнетом, другой рыжим.

Гнев короля Конхобара был ужасен. Беглецов стали искать, и эти поиски продолжались много лет.

За Дейрдрой, ее мужем Найси и его братьями была устроена настоящая охота, словно за дикими зверями. Беглецам приходилось жить охотой и сбором диких фруктов. Они пили воду из ручьев и купались в них, счастливые, несмотря ни на что, своей любовью, дружбой и свободой.

Через семь лет их нашли и привели к королю Конхобару.

Странные звуки усилились и стали приближаться к дамбе. Собаки садовника завыли. Ардан спрыгнул с крыльца, перелетев через все ступеньки, и помчался к дамбе, залаяв с такой яростью, словно он увидел медведя. Шум еще усилился и стал пугающим. Лошади в конюшне заржали и начали метаться в стойлах. Уагу молнией метнулся к своей норе и забился в нее как можно глубже. Гризельда в самом красивом платье стояла на крыльце и ждала.

* * *

Свой сад, небольшой прямоугольник возле могилы святого Альбана, Элис поддерживала в образцовом порядке из уважения к святому. Она подстригала газон в указанное луной благоприятное время и так старательно уничтожала сорняки, что этот пятачок выглядел бархатной лужайкой, на которой то тут, то там небольшими группами росли желтые крокусы, посаженные еще осенью.

Элис не ухаживала за могилой неизвестной женщины из стены башни. Обнаружение останков вызвало у нее скорее ужас, чем сострадание, а также тревогу, связанную с тем, что она почти ничего не знала об отношениях мужчины и женщины. Впрочем, она и не стремилась узнать больше. Эта сторона жизни оставалась для нее зоной мрака, где копошились демоны, и она отворачивалась от нее, а заодно и от могилы неизвестной. Вглядываясь в непонятные символы, выбитые на надгробном камне святого, к которым добавились знаки, оставленные временем, она думала, что последние имеют такой же скрытый смысл и что прочесть все сможет только человек, познавший Бога. Но как постичь его? Знал ли Его святой Альбан, когда жил здесь? Или знание пришло к нему позднее, когда его бессмертная душа попала в рай? Эти мысли смущали ее. Что такое душа? Где находится моя душа? Почему я не осознаю ее? А рай? Можно ли его представить? Это собрание святых? Или какое-то место? Ей представлялось, что рай — это остров, чем-то похожий на Сент-Альбан, только в тысячу раз больше. Окруженный материальным миром, рай выглядит как бесконечная лужайка, покрытая крокусами, тюльпанами и пролесками.

Она пыталась сопротивляться своим слишком примитивным представлениям, считала свой разум неспособным осознать всю чистоту божественной любви. Ей требовалась помощь, кто-то должен был уверенно вести ее по пути познания восхитительных таинств. Она боялась, что будет бесконечно путаться в нагромождении чужой лжи и своих ошибок. Она умоляла святого Альбана просветить ее, указать каким-либо понятным только ей знаком, проявлением чего-нибудь необычайного, наконец, вспыхнувшим в ней светом, правильный ли выбран путь, двигаться по которому она стремилась изо всех сил. Сможет ли она увидеть в конце пути дверь?

Она почувствовала, что ее окутало ароматное облако, ласково прикоснувшееся к лицу. Узнав аромат, она удивилась и обернулась. Перед ней находилась могила женщины и ребенка, укрытая сплошным покровом круглых листьев. Среди зелени листвы она увидела распустившуюся фиалку. Этот единственный цветок и испускал аромат, купавший Элис волнами нежности, сочувствия и уверенности. Элис поняла — или подумала, что понимает. Иногда этого бывает достаточно. Исчезли все сомнения и стра-

хи. Она отчетливо увидела предстоящий путь и поняла, что должна делать. Послышался быстро нарастающий необычный шум. Она догадалась, в чем дело. Оставив ненадолго свои мистические искания, она поддалась любопытству и побежала вокруг дома.

* * *

Удивительный механизм поднимался к дому по зигзагообразной аллее. Больше всего он походил на открытую пароконную коляску. Только лошадей почему-то не было; несмотря на это, коляска продолжала передвигаться, как утка, которой отрезали голову, а она продолжает бежать, хлопая крыльями.

Все обитатели Сент-Альбана, за исключением сэра Джона, которого никакие превратности судьбы не могли отвлечь от вавилонских табличек, а также Амбруаза Онжье, стеснявшегося проявить недостойное для мужчины любопытство, торчали у дверей, выглядывали из окон или из-за деревьев. Десятки любопытных глаз следили за приближающимся чудовищем.

Окутанное облаком голубого дыма, шлейфом тянувшегося сзади, устройство издавало жуткий грохот, похожий на непрерывную пальбу. Металлические колеса крошили гравий и расшвыривали его в разные стороны. Две ошалевшие от ужаса овцы перебегали от одного массива зелени к другому, пытаясь найти убежище. Покинутые ягнята отчаянно призывали матерей. Угрюмый серый ослик задрал голову и испустил трубный вопль, способный потрясти землю и небеса.

Механизм подкатил к дому. Человек, сидевший на переднем сиденье, держал обеими руками двойную медную рукоятку на конце вертикальной штанги. Одетый в серый плащ, с черной фуражкой на голове и в темных очках, закрывавших часть лица, он проделал несколько магических жестов, повернул рукоятку, переместил какой-то рычаг и потянул за какую-то ручку. Послышался адский скрежет железных зубов, и механизм остановился у подножья ступеней, окутавшись синим дымом.

Джейн запрыгала на месте, хлопая в ладоши. Она крикнула Гризельде: «Поторопись!», но ее никто не услышал из-за грохота пальбы, ритм которой замедлился, но громкость увеличилась. Облако дыма стало подниматься навстречу Гризельде, медленно спускавшейся по ступенькам. Дым охватил ее голубым запахом бензина. Она остановилась, почувствовав, как что-то толкнуло ее в сердце, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Это был запах приключения, запах будущего. Что-то необычное. Что-то из завтрашнего дня. Правая рука Гризельды, сжимавшая закрытый зонтик, слегка дрожала. Грохочущие звуки врывались в нее и увлекали за собой. Ее лицо порозовело. Она открыла глаза и спустилась на две последних ступеньки. Окружающий мир исчез для нее; она видела только фантастическую машину и загадочного человека, сошедшего с машины и что-то говорившего ей. Но она его не слышала. Он протянул ей плащ. Она заколебалась. Для этой невероятной прогулки она надела платье из белой фланели с сине-зеленым узором — того же цвета, что ее глаза и кружевная оторочка на зонтике. Сильно облегающее спереди, платье было сшито так, что основной объем материи собрался сзади в виде спадающих каскадом складок. Узкая вуаль, проходящая под подбородком, удерживала на голове белую соломенную шляпку, из-под которой выбивалась волна рыжих волос. Ей не хотелось прятать свое такое изящное платье под бесформенным плащом. Но Элен подбодрила ее понятными только им двоим знаками и помогла ей накинуть плащ на одно плечо. Джейн в это время тряслась от с трудом сдерживаемого смеха. Леди Гарриэтта пыталась давать неразборчивые советы с верхних ступенек. Пальба мотора заглушала все остальные звуки

на острове. Непрерывно лаявший Ардан старался не уступать огромному новому зверю в производимом им шуме. Гризельда попыталась взобраться на сиденье, сохраняя достоинство и корректность движений, несмотря на узкую юбку, неудобные туфельки и высокую подножку. Мужчина протянул ей руку в кожаной перчатке. Она уцепилась за спасительную помощь. Элен подтолкнула ее сзади, Джейн подстраховала сбоку, и она, наконец, очутилась наверху, на предназначавшемся для нее месте рядом с усевшимся на соседнее сиденье мужчиной.

Несмотря на предоставленную дочерям свободу, леди Гарриэтта не могла отпустить Гризельду на прогулку наедине с мужчиной. Требовалась надежная сопровождающая особа. Джеймс Мак Кул Кушин, кучер, категорически отказался подходить к этому монстру. Он не хотел терять достоинство и обижать лошадей. Наконец Пэдди О’Рурк, старый садовник, согласился сопровождать молодую госпожу. Он недоверчиво расположился сзади, на небольшом сиденье в узком треугольном пространстве, в котором с трудом разместил свой зад. Между ним и спинкой переднего сиденья помещался вертикальный одноцилиндровый двигатель, вибрирующий, дрожащий, подпрыгивающий, размахивающий толстой, блестящей штангой, уходившей через пол куда-то вниз, и плевавшийся во все стороны горячим маслом. О’Рурк с отвращением посмотрел на механизм, осыпал его множеством имен гэльских демонов и плюнул на него. Мотор ответил ему струйкой горячего масла. Шофер отпустил тормоз и передвинул рычаг. Раздался металлический грохот, мотор взвыл. Машина встряхнулась, как выбравшаяся из воды собака, и прыгнула вперед на два метра. Гризельда вскрикнула, водитель наклонился к ней с извинениями. Успокоившаяся машина развернулась и начала спускаться к дамбе. Гризельда чувствовала, что сердце у нее готово выпрыгнуть из груди от радости. Она выпрямилась и раскрыла зонтик. Элен вцепилась в ошейник Ардана, пытавшегося кинуться на выручку хозяйке. Джейн размахивала платочком, как будто сестре предстояла дорога на край земли. Леди Гарриэтта подумала, что вряд ли ей стоило соглашаться с предложением Августы прислать машину, чтобы развлечь Гризельду и помочь ей избавиться от последствий тяжелой болезни. Сэр Джон вообще ничего не слышал о предстоящей поездке.

В тот момент, когда машина приблизилась к началу дамбы, из-за дома молнией вылетел Уагу. Он догнал автомобиль и сделал три круга вокруг него, повизгивая от радости. Перекувырнувшись несколько раз, он исчез так же неожиданно, как и появился. Эми озабоченно покачала головой. Потом она встрепенулась и вернула завороженно наблюдавших за происходящим служанок к повседневным занятиям.

* * *

Шум автомобильного мотора удалился и почти затих, но продолжал доноситься издалека на протяжении получаса. Потом он усилился, приблизился, и автомобиль снова появился на острове. Следом за ним в выхлопном дыму крутил педали своего велосипеда Эд Лейн с закинутым за спину ружьем.

Грохот выстрелов снова потряс окна и стены. Автомобиль остановился у крыльца. Эд Лейн спрыгнул с велосипеда, поклонился леди Гарриэтте и окликнул водителя, помогавшего в это время Гризельде выбраться из машины. Пэдди О’Рурк спрыгнул на землю и помчался к службам. Его ноги дымились, словно у извлеченной из бульона курицы. Гризельда пошатывалась, устав от волнения и шума. Элен поддерживала ее за талию. Ардан прыгал вокруг; внезапно все услышали, как он лает.

Установилась мертвая тишина: мотор заглох.

Шофер сбросил фуражку и очки нервными движениями рук и шагнул к машине. Остановившись, он повернулся к Гризельде.

— Итак, до понедельника, мадемуазель?

— Да… — неуверенно ответила Гризельда. Она едва слышала собственный голос, оглушенная неожиданной тишиной.

Взглянув на шофера, она впервые увидела его лицо и удивилась, что он выглядел как обычный мужчина. Нет, пожалуй, не совсем обычный… В общем, она ничего не поняла… Ей почти не приходилось видеть мужчин, если не считать крестьян, садовников и картинки в исторических книгах… Там было полно красавцев-принцев и могущественных королей… Сколько лет было ему? Тридцать? Тридцать пять? Светлые глубоко сидящие глаза под густыми бровями, казалось, издалека смотрели на нее. Он продолжал говорить, он рассказывал, что леди Августа приобрела еще один мотор, который он вместе с кузнецом из Гринхолла собирался установить на автомобиль. Он надеялся, что все будет закончено в следующий четверг.

— Это будет трехцилиндровый двигатель, он создает гораздо меньше шума…

Она заметила несколько выступающие скулы, придававшие его лицу слегка диковатый вид… Трехцилиндровый? Она не представляла, что это такое. Наверное, что-то круглое? Нет, он не выглядел диким, скорее суровым… Нет, не так… Замкнутым?.. Нет, безучастным… Нет, он был рядом, реальным и надежным. В то же время действительно казалось, что он находился где-то далеко отсюда… Он был шофером… Это не имело никакого значения. Она чувствовала себя совершенно обессиленной. Элен отвела ее наверх. Молли помогла ей избавиться от платья, и она рухнула на кровать в нижней юбке с кружевами, вытянулась и расслабилась. Какая мягкая постель, какая приятная прохлада!.. Она ощущала, как усталость и беспокойство исчезают, ей казалось, что она покоится на облаке. Закрыв глаза, она улыбалась.

Джейн наблюдала из окна своей комнаты, как Эд Лейн что-то втолковывал склонившемуся над мотором шоферу, сопровождая свои слова энергичными жестами. Она заметила велосипед, прислоненный к дереву, и быстро сбежала вниз.

— Послушай, Шаун Арран, — говорил Эд Лейн, не заметивший приблизившейся к ним девушки. — Теперь, когда твой проклятый демон замолчал, человек имеет право говорить, и ты обязан меня выслушать!

Шофер засунул в двигатель зажженную тряпку на конце палки. Одновременно со вспышкой раздался громкий хлопок. Эд Лейн отпрыгнул в сторону.

— Ну-ка, помоги мне! Скорее! — сказал Шаун Арран.

Он уперся сзади в автомобиль и принялся толкать его.

Эд Лейн открыл было рот, чтобы протестовать, но желание показать, какой он сильный, одержало верх. Он закрыл рот и навалился на машину. Машина тронулась с места, мотор чихнул, закашлял, взорвался, и пальба возобновилась. Шофер вспрыгнул на сиденье и жестом попрощался по-гэльски с Эдом Лейном, подняв открытую ладонь на уровень с головой.

Эд Лейн бросился к велосипеду и наткнулся на сидевшую на корточках Джейн, внимательно его рассматривавшую.

— Здравствуйте, лейтенант, — сказала Джейн.

— Я не лейтенант, мадемуазель. Я всего…

— У вас появился велосипед?

— Да, мадемуазель. Нам раздали велосипеды, потому что лошади создают слишком много шума. Ночью мятежники слышат нас издалека, и мы никого не можем схватить. А вот с велосипедами все получается совсем иначе…

— И вам удается поймать мятежников?

— Нет, мадемуазель…

Он смотрел на поднятое к нему личико Джейн, наивное, совсем детское, светившееся между двумя гладкими прядями обрамлявших его светлых волос. И уже почти забыл про автомобиль, шум мотора которого затихал вдали.

— Наверное, на велосипеде ездить очень приятно? — спросила Джейн.

— Приятно, когда едешь с горки… А вот на подъеме лучше было бы иметь лошадь…

— Трудно крутить педали?

— Бывает и так…

— Но вы, лейтенант, такой сильный…

— Я не лейтенант, мадемуазель, я королевский констебль первого класса.

— Эми говорила, что вы шотландец.

— Да, я шотландец, и в то же время я ирландский констебль, мадемуазель.

— Как забавно…

— Это нормально, ведь это Соединенное Королевство…

Английское правительство Соединенного Королевства, ирландские мятежники и шотландские полицейские — он считал, что все это находится в равновесии. Боже, защити королеву…

— Вот такую вещь я бы хотела иметь для себя и для сестер, — сказала Джейн. — Такой велосипед… Особенно для Китти, чтобы посещать семьи бедняков. Да и для Элис, которая по четвергам должна бывать в Донеголе. Их привозят из Англии?

— Да, мадемуазель. Эган Маграт, владелец кузницы в Баллинтре, получил их на этой неделе. У него есть даже модели для дам, я сам их видел. У него были такие велосипеды, зеленого и синего цвета.

— Наверное, на него трудно забраться?

— Да, это непросто. Но привыкаешь очень быстро. А если с велосипеда падаешь, то сильно не разобьешься, это не лошадь.

Он спохватился, что шум мотора стал почти не слышен, и схватился за руль велосипеда.

— Прошу прощения, мадемуазель. Но я должен догнать эту чертову машину…

— Почему?.. Почему вы должны гоняться за ней?

— Леди Ферре обещала нам, что предупредит, когда будет пользоваться машиной. Когда она в первый раз выехала на дорогу, мы подумали, что на нас напали бунтовщики. Мы отправили срочное сообщение в Донегол, и там подняли по тревоге весь гарнизон. Леди Ферре сказала, что она будет пользоваться машиной только по вторникам. Это нужно знать фермерам, чтобы в эти дни держать скотину взаперти. А сегодня четверг! Мэри Малоун до сих пор гоняется за свиньей!.. Животное так напугано, что не бегает, а просто летает! А лошадь Мак Мэррина затащила его вместе с телегой в болото у Тюллибрука. Старый пьянчуга пришел в себя, когда оказался в воде.

— Ах, — смущенно сказала Джейн, — вы должны извинить тетушку, она наверняка забыла предупредить вас… Она пообещала прогулки моей сестре Гризельде, которая поправляется после тяжелой болезни… По понедельникам и четвергам. Сегодня это было в первый раз. Похоже, что ей прогулка пошла на пользу… Было бы очень печально…

Она скромно замолчала, опустив глаза.

— О! — воскликнул терзаемый угрызениями совести Эд Лейн. — Леди Ферре может делать все что хочет, ведь машина принадлежит ей, и

она использует ее на своей земле… Но я подумал, что этот шалопай Шаун Арран вздумал прокатиться без разрешения… Теперь мы будем знать, что выезды будут не только по вторникам, но и по понедельникам и четвергам… Благодарю вас, мадемуазель. До свидания, мадемуазель.

Не зная, как обратиться к констеблю, поскольку он не был лейтенантом, Джейн просто кивнула на прощанье. Эд Лейн наклонил велосипед и взобрался на него. Скрипнуло седло, велосипед как будто присел. Джейн проводила взглядом постепенно уменьшавшуюся спину полицейского. Ее перечеркивала черная линия ружья, направленного стволом в небо.

* * *

Когда король Конхобар напал на след Дейрдры, он послал за беглецами целое войско, потому что три брата были непобедимы, когда сражались вместе. Сражение продолжалось три дня и три ночи, и когда братья пали один за другим, вокруг них возвышалась стена из вражеских тел. Но все три брата погибли.

В ночь с пятницы на субботу на юге Донегола произошла стычка между полицейским патрулем и группой фениев[1]. Во время схватки пуля оторвала часть уха у Эда Лейна. Когда пальба затихла, а лягушки в соседнем болоте успокоились и возобновили свои любовные песни, полицейский Макмиллан встал на камень, чтобы обмотать бинтом голову Лейна. Он проворчал:

— Эта свинья целилась слишком высоко!

В графстве Донегол повсюду возникали очаги восстания. Власти считали, что это было связано с появлением Уга О’Фаррана, схватить которого полиции не удавалось.

Это восстание было реакцией отчаяния после суда над Парнеллом, на протяжении двадцати лет пытавшимся добиться мирным путем свободы для Ирландии. Защитника ирландцев неожиданно обвинили в адюльтере. Оказалось, что у него есть любовница! Замужняя женщина! Жена лейтенанта О’Шеа… Обманутый муж потребовал развода и добился осуждения Парнелла.

Премьер-министр Великобритании Гладстон[2] прервал переговоры с ирландцами. Вся Англия злорадно смеялась над Парнеллом. Даже в Ирландии он был исключен из своей партии. Священники, только что призывавшие Господа помочь Парнеллу, начали дружно проклинать его.

Результаты двадцати лет борьбы превратились в прах.

Парнелл пытался бороться, чтобы восстановить единство в рядах своей партии, по его вине расколовшейся на две части, но число его сторонников уменьшалось с каждым днем. Молодые ирландцы отворачивались от ни на что серьезное не способных «патриотов» и доставали из тайников оружие, спрятанное их отцами.

Тем не менее, наиболее разумные из них считали, что Парнелл должен оставаться во главе движения за независимость; достойной замены ему не было. Разве что только Уг О’Фарран мог объединить мятежников. Триста лет назад О’Нейл и О’Доннел, тоже считавшиеся «сыновьями короля», едва не сбросили англичан в море…

[1] Фении — ирландские революционеры-республиканцы второй половины XIX— начала XX веков, члены тайной организации «Ирландское революционное братство», основанной в 1858 году.

[2] Гладстон У. Э. (1809—1898) — английский государственный деятель (министр, канцлер казначейства и др.). Дважды (в 1868—1874 и 1892—1894 гг.) был премьер-министром Великобритании.

Восстание пока проявлялось только местами в северных графствах Ирландии отдельными ночными нападениями на полицию. У мятежников были давние традиции борьбы, но и у англичан были не менее давние привычки подавления мятежей. Гарнизоны Донегола и соседних графств были немедленно усилены отрядами констеблей из Дублина и Белфаста.

Сент-Альбан, как изолированный от материка остров, оставался в стороне от волнений. Впрочем, на протяжении дня нормальная жизнь продолжалась повсюду. Китти даже не думала о том, чтобы прекратить свои благотворительные походы. А Гризельда с нетерпением ожидала очередного появления автомобиля тетки Августы.

Но в понедельник с утра зарядил дождь, и автомобиль на остров не приехал.

В четверг с утра стояла обычная для Ирландии погода: солнце, ветер и дождь, по очереди или одновременно, и Гризельда приготовилась к поездке. Она решила надеть зеленую накидку, чтобы обойтись без уродливого плаща. Капюшон при этом прекрасно защитит ее от дождя. Широкая юбка позволит без труда забираться на сиденье. Аккуратно уложенные волосы закрывали ей уши; вместе с повязанным сверху шелковым шарфиком эта прическа прекрасно защищала уши от шума.

Оказалось, мотор у подъехавшего автомобиля вместо пальбы стал мурлыкать. Шаун Арран не зря возился с установкой нового двигателя.

Леди Гарриэтта, давно не отличавшаяся тонким слухом, даже не услышала, как подъехал автомобиль. В это время она пыталась уговорить Пэдди О'Рурка опять сопровождать мисс Гризельду во время прогулки.

— Простите меня, ваша честь, — сказал садовник, — но я не поеду! Прошлый раз у меня так сварились ноги, что когда я разувался, то вместе с носками снял три пальца!

— Вам не кажется, О'Рурк, что вы немного преувеличиваете?

— Я?.. Преувеличиваю?.. Нет, конечно!

И чтобы убедить леди Гарриэтту, он принялся ходить по комнате, старательно прихрамывая то на правую ногу, то на левую. Остановившись перед леди Гарриэттой, он спросил:

— Разве не видно, что у меня обе ноги сильно пострадали?

— Да, конечно, я вижу, — промолвила леди Гарриэтта. — Вы вели себя очень мужественно, мне остается только поблагодарить вас…

О'Рурк поспешно удалился, не забывая прихрамывать сразу на обе ноги. Леди Гарриэтта задумалась. Она не представляла, кто бы мог заменить отважного садовника. Ведь у горничных столько дел — их лучше не отвлекать… Надо бы посоветоваться с мужем, но он, как всегда, погружен в работу. Лучше не беспокоить его. Ведь она всегда старалась уберечь его от своих обычных забот и не могла привлечь к решению новых проблем… Может, послать помощника конюха? Но согласится ли кучер Джеймс Мак Кул Кушин остаться без помощника?

Кроме замены мотора Шаун Арран поставил на машину вместо металлических колес пневматические шины, полученные из Италии. Стальные спицы на колесах теперь были лишь немного толще, чем у велосипеда.

Автомобиль поднялся по аллее гораздо быстрее, чем прошлый раз, и вместо грохота пальбы его сопровождал негромкий рокот. Обитатели Сент-Альбана, наблюдавшие за появлением машины, ничуть не удивились — такое фантастическое устройство вполне могло изменяться по приказу хозяина. Может быть, на следующей неделе оно появится с прозрачными крыльями, готовое взлететь.

— Можно подумать, это гудит шмель! — воскликнула Элен.

Или жук, сверкавший частями медного цвета. Редкое насекомое, выглядевшее весьма несуразно.

Машина остановилась возле крыльца. Шофер нажал на грушу из черной резины, висевшую перед ним слева. Послышалось хриплое мычание. Ардан взвился в воздух и зарычал. Служанки в ужасе попятились, но их любопытство только усилилось. Спустившаяся на аллею Гризельда решительно направилась к автомобилю. Два фонаря, висевших по бокам автомобиля на длинных стерженьках, смотрели на нее, словно глаза золотой улитки. Ей показалось, что они вытянулись по направлению к ней, потом, очевидно, узнав ее, снова втянулись в прежнее положение.

Теперь ничто не стесняло ее движения. Ловко вскарабкавшись наверх, она уселась на свое место, когда шофер только собирался вылезти из машины, чтобы помочь ей. Машина сразу сдвинулась с места, постояв всего несколько секунд. Гризельда негромко рассмеялась счастливым смехом. Леди Гарриэтта, вышедшая на порог, успела увидеть спину дочери рядом со спиной Шауна Аррана, оседлавшего странное золотое насекомое, сверкавшее на солнце. Они очень быстро скрылись за деревьями. Леди Гарриэтта подумала, что шофер — это просто что-то вроде кучера, то есть просто обычный слуга. Вероятно, в этом случае можно было обойтись и без сопровождающего. Что ж, одной заботой меньше. И она вздохнула с облегчением.

Автомобиль снова появился в поле зрения, на этот раз уже на дамбе, после чего исчез окончательно. Шума мотора тоже не было слышно.

Найси, муж Дейрдры, был убит человеком короля, Эоганом Дунрахтом. Он пробил сердце Найси мечом, а потом отрубил ему голову. Когда все защитники Дейрдры пали, ее бросили связанной на повозку и отвезли к королю.

* * *

Небо залил розовый свет, и остров стал розовым. Щеки Элен, ее выпуклый лоб стали розовыми, и розовый отблеск появился в глубокой синеве ее глаз.

Стоя на своих грядках, она смотрела на дом, четкий силуэт которого вырисовывался на фоне закатного неба.

Высоко над крышей длинной серой лентой тянулась стая журавлей. Их доносившееся сверху курлыканье странным образом гармонировало с шумом моря. Начался вечерний прилив, остро запахло водорослями.

День угасал. Засветились, одно за другим, окна. Элен представила, как Брижит с медным подсвечником в руке торопливо проходит комнатами и коридорами, подносит подсвечник к лампам и дарит им огонь. Наконец вспыхнуло большое окно библиотеки, заполнившись золотистым светом. И Элен увидела его. Она почувствовала стыд. Но она ничего не могла поделать с собой. Ее с невероятной силой охватило счастье, такое же непреодолимое, как потребность дышать после того, как ты всплываешь на поверхность. Она поднесла к глазам бинокль, и он сразу очутился в метре от нее: его удлиненное лицо, светлая бородка и пенсне, в котором он всегда работал. Бинокль был слишком сильным, изображение колебалось и расплывалось. Элен отчаянно цеплялась за него, пытаясь удержать на месте. Она смотрела на его лицо, она могла бесконечно упиваться этим переполнявшим ее зрелищем… Особенно когда он поворачивался к ней спиной. А вот в столовой ей нельзя было смотреть на него, не отводя взгляда. Здесь же она могла смотреть сколько хотела. Словно ребенок, оказавшийся в безлюдной кондитерской. Он двигался, он говорил, она видела, как шевелятся его губы под усами, но она ничего не слышала. Время от времени его взгляд останавливался на ней — возможно, он иногда замечал ее. Тогда она поспешно опускала бинокль, потом снова приставляла к глазам. Иногда в

поле зрения появлялась рука отца, загораживая его, потом она снова видела свет лица. Она тихонько стонала от счастья.

— Смотри-ка, ведь это мисс Элен! — раздался голос в сгущавшихся сумерках. Это был хриплый голос Пэдди О'Рурка, садовника.

— А я все никак не мог понять, кто здесь гуляет каждую ночь… Вообще-то, если мисс Элен хочет полюбоваться на журавлей, то не могла бы она выбрать другое место, а не грядку с моей фасолью?

Элен умчалась, заглушив свой смех и свои рыдания. Вереницы журавлей непрерывно тянулись одна за другой по серому и фиолетовому небу. Одни стаи уже почти скрылись за горизонтом, другие пролетали совсем близко; одни казались компактными, другие рассеянными, потерявшими часть своих членов; отстающим предназначались гортанные упреки, старательным — одобрительные возгласы. Всех их объединял негромкий ритмичный шум океана диких крыльев.

Сэр Джон преподавал Элен греческий и латынь, советовал ей читать труды философов и теологов. Многие проблемы она могла на равных обсуждать с престарелыми профессорами. Но все, что находилось за пределами острова, оставалось для нее загадкой. Она всего два раза посетила Донегол и никогда не бывала в других городах. Ее неведение мира, социальных проблем и человеческих отношений соответствовало уровню пятилетнего ребенка. Она была уверена, что все в окружающем мире аналогично тому, что она видела на острове. Она знала лес и окружавшие остров валуны, ей был знаком лис с белым хвостом. И были существа, у которых нет имени, смеющиеся под землей. Она слышала рассказ Брижит, видевшей печальную даму, и верила ей. Как всем обитателям Сент-Альбана, ей приходилось слышать ветер Фарендорн, который, как считается, не существует, но который, когда дует, предупреждает о близкой беде. Однажды вечером его рычание послышалось возле дома, но когда посмотрели в окно, то увидели, что не шевелился ни один листок на деревьях. На следующий день перевернулась лодка рыбака с острова Колоколен, и он утонул вместе с сыном.

Она знала, что весной цветут дрок и рододендроны, и она не сомневалась, что повсюду есть сады с рододендронами, высокими, словно деревья, сплошь усеянными красными цветами. Она любила большой белый дом, спокойный салон, где обычно сидела за вышивкой мать, просторную кухню, заполненную дразнящими ароматами, лестницы и коридоры, которыми под строгими взглядами висящих на стене портретов предков проходили служанки; сверх всего этого, была библиотека, в которой ее отец сосредоточил все знания мира. Он всегда сидел в библиотеке, такой серьезный, мудрый и добрый, знающий не только все, что было в книгах, но и многое другое. Это была ее вселенная, находившаяся под защитой моря; все остальное скрывал туман.

И вот в этом надежном и понятном мире появился Амбруаз. Его появление, казавшееся естественным, было таким чудесным, что Элен не сомневалась: сам Сент-Альбан был создан специально, чтобы дождаться гостя и принять у себя. Он был сущностью острова, его олицетворением. Он был похож на ее отца, он был ученым, умным, спокойным, красивым. Он был рядом со всеми обитателями острова. Он находился на острове, в самом сердце вселенной.

* * *

К четвертой поездке Гризельда изменилась. С каждой прогулки на машине она возвращалась все более и более жизнерадостной; эта радость была ею утрачена во время болезни. Может быть, даже раньше, во время

бесплодного ожидания приключений, появления прекрасного принца, который должен был унести ее с острова. Конечно, принц оказался шофером, а вместо корабля всего лишь машина, но машина сказочная, появившаяся из будущего. Она должна была унести ее далеко от Сент-Альбана, извергая при этом дым и рыча, словно дракон.

В начале каждой очередной поездки она надеялась, что они не вернутся, но ей все больше и больше нравилось, что поездка заканчивалась возвращением. Она уезжала, но при этом оставалась привязанной к надежному семейному гнезду, где находились ее сестры и ее родители, ее деревья и ее скалы, ее пес и ее лис; каждый раз она возвращалась в свое волшебное детство, в котором мечта о бегстве расцвела, подобно распустившимся золотым ракетам на мощном побеге дрока.

Во время первой поездки шофер спросил у нее, стараясь перекричать грохот мотора:

— Куда вы хотели бы поехать?

Она ответила:

— Куда вам хочется!

Услышь она себя при этом, стало бы ей ясно, что она не представляет — существуют ли пути, ведущие с острова?

Потом он ни о чем ее не спрашивал. Чтобы причинить как можно меньше беспокойства обитателям края, он выбирал маршрут по самым пустынным местам. Синее с золотом насекомое на блестящих колесах увлекало их по едва похожим на дороги тропам, по полям и торфяникам, по дикому побережью, где сталкиваются земля, скалы и вода в вечном споре за место под солнцем. Единственными встреченными ими живыми существами были птицы, хотя иногда попадалась и одинокая корова, которую переполненное вымя заставляло брести к далекой ферме, чтобы найти облегчение и затем вернуться к свободной жизни.

Двигатель, хотя и гораздо менее шумный по сравнению с первой моделью, все же сильно мешал разговору, и Гризельда лишь изредка обменивалась парой фраз с шофером. Конечно, ей хотелось завязать с ним более близкие отношения. На острове слуги, разумеется, хорошо знавшие свое место, в то же время были друзьями своих господ. Иногда во время задушевной беседы с Эми леди Гарриэтта говорила ей даже больше, чем приходило в голову в одиночестве. И если Эми никогда ничего не рассказывала хозяйке о себе, то только потому, что она никогда и никому ничего подобного не рассказывала. В то же время Гризельда знала всю подноготную про Молли, да и сама могла говорить с ней обо всем. Пожалуй, она была с Молли даже более откровенной, чем с сестрами, и почти такой же откровенной, как с Арданом; между существами разных видов быстро возникали доверие и привязанность, когда каждый знал, кем был он и кем был собеседник. Но когда Гризельда иногда смотрела с улыбкой на шофера, тот сохранял невозмутимость, не сводя взгляда с дороги. Она чувствовала его спокойную силу, а также сдержанность, возможно, отражавшую его недоверчивость.

Когда он останавливал машину, чтобы охладить мотор, поливая его водой, или чтобы освободить дорогу от камня, способного повредить колесо, он снимал очки, и его взгляд на мгновение останавливался на спутнице. В эти мгновения она чувствовала, что он находится где-то очень далеко, укрываясь в каком-то диком мире. Она не могла понять, говорит его сдержанность о разумной осторожности умного человека или же просто свидетельствует о природной тупости примитивного существа.

С машиной часто случались разные неприятности. Иногда мотор принимался шипеть, словно кот, столкнувшийся с фокстерьером, и во все стороны летели брызги масла. В других случаях он начинал вибрировать,

сотрясая машину. Иногда рвалась цепь, а иногда мотор просто останавливался.

Такое случилось с ними, когда они проезжали по небольшому мосту над протокой, соединявшей два безымянных озера, миниатюрного продолжения царства моря внутри материка. Машина прокатилась еще несколько метров и остановилась.

Как обычно, Шаун Арран молча спрыгнул на землю, взял сумку с инструментами, сбросил плащ, каскетку, очки и куртку, засучил рукава рубашки и принялся копаться в моторе, дымившемся перед задним сиденьем, словно подгоревший бифштекс.

Гризельда тоже сошла с машины, сделала несколько шагов к озеру и уселась на валуне. После непрерывного рычания мотора наступили удивительно приятные минуты тишины и покоя. Одним из элементов тишины было щебетанье птиц; точно так же выглядела бы синяя вышивка водной ряби на голубой поверхности озера. В сотне метров от берега медленно плавала пара лебедей. Несколько уток, раскрашенных в коричневый и зеленый цвета, крутились возле миниатюрного островка с одним-единственным деревом, крона которого была больше пятачка суши, на котором оно росло. За мостом Гризельда увидела на берегу второго озера большой замок с множеством окон на квадратных башнях разной высоты с зубчатыми коронами верхушек. Казалось, что в замке, выглядевшем совершенно новым, никто не жил. Она подумала, что это должен быть замок фей. Странно, но ей почудилось, что замка не было в тот момент, когда она устраивалась на валуне. Она долго не отводила от него взгляд, надеясь уловить момент, когда он снова исчезнет. Наступившая тишина была напряженной и прозрачной. Потом неожиданно в зарослях слева от нее раздалась птичья трель, закончившаяся на длинной ноте. Эти звуки раскололи стеклянный панцирь мира, и Гризельда мгновенно осознала, что оказалась в другом мире и что это мгновение она не переживала никогда раньше и не будет переживать в будущем. Это было бесконечно продолжавшееся мгновение. Она очутилась в его центре и одновременно была везде; она понимала все окружающее, будучи озером и небом, лебедем и замком. Это было всеобъемлющее чувство, твердое и одновременно хрупкое, словно зеркало. Гризельда знала все и все могла. Но ее первое же движение могло сразу же разрушить ее знание и ее власть. Это было неизбежно. Она представляла, что должна сделать, и сделала это. Медленно наклонилась, подобрала камешек и бросила его в воду.

В тот момент, когда камень встретился с водой, взрывом загрохотал мотор. Гризельда засмеялась и повернулась к дороге. Шаун медленно приближался к ней, оставив за собой машину с работающим мотором. Он протянул к ней руку и попросил поправить рукав. Его руки были черными от смазки. Гризельда снова закатала рукава рубашки, сначала один, затем второй. Она почувствовала нежность и тепло его кожи, и в ее руке возникла дрожь, поднявшаяся до самого плеча.

Шаун огляделся и сорвал растение с бледно-лиловыми цветами. Потом смочил его водой и принялся растирать ладони. Его руки покрылись пеной, как будто он пользовался мылом, и быстро очистились от смазки.

— Отлично, — сказал он. — Мы можем ехать.

Достав из кармана белый платок, он вытер руки и раскатал рукава. Он был в шерстяной рубашке в крупную клетку синего и зеленого цвета. Материя, из которой сшили рубашку, была, очевидно, ручной работы.

— Нам некуда спешить, — сказала Гризельда. — Отдохните немного…

Она подвинулась, чтобы дать ему возможность сесть на валун, и знаком пригласила его сесть рядом с ней.

Поколебавшись мгновение, он сел.

— Вы знаете, как работает мотор? — спросила она.

— Конечно…

— Это замечательно! И это кажется мне совершенно удивительным… Этот шум, толкающий машину вперед… Где вы научились этому?

— В Германии.

— Вам довелось много путешествовать? Где вы еще побывали?

— Во Франции, в Италии…

Она говорила с ним мягко, несколько неестественно, как говорят с впервые встреченным животным, с которым хотят подружиться. Он слушал, глядя в сторону. Казалось, его внимание не связано с тем, что она говорила, и направлено не на содержание ее слов, а на их звучание. Отвечал он очень кратко, после непродолжительного молчания.

— Италия! — воскликнула Гризельда. — Ах, как бы я хотела побывать там! Вы бывали во Флоренции? Катерина Сфорца приехала туда в тридцать три года, чтобы выйти замуж за Медичи[1]. Она была красавицей. Ее первого мужа, за которого она вышла в четырнадцать лет, убили. Ее любовник тоже был убит… Но она отомстила убийцам… Вы знакомы с Флоренцией? Там должно быть очень красиво, там такие великолепные дворцы…

Он впервые повернулся к Гризельде, чтобы ответить:

— Нет ничего прекраснее Ирландии!

Он произнес эту фразу возбужденно, словно стараясь сдержаться. Его слова мгновенно стерли в голове у Гризельды не слишком отчетливые флорентийские декорации, и она решила, что Шаун был прав. Перед ее внутренним взором снова появились озеро, холмы и пространства суши и воды за ними под синим небом с белыми облаками. Она посмотрела на Шауна и повторила негромко:

— Нет ничего прекраснее Ирландии…

Почувствовав необычную близость к нему и поняв, что их ничто не разделяет, она протянула к его голове руку и коснулась волос, черных, густых и мягких. Вспыхнул огонек скользнувшего по волосам солнечного луча. Этот огонь пробежал по руке Гризельды и остановился где-то в груди. Неожиданно Шаун схватил ее за руку.

Все вокруг нее исчезло. Во мраке, предшествовавшем первому дню творения. Вселенная исчезла, остались только глаза Шауна. Они обжигали ее немым вопросом, пытались проникнуть в ее мысли и подтолкнуть к решению. Это был взгляд дикого божества, взгляд, полный одновременно нежности и силы, содержащий властное требование. Она приняла его мягкость и его свет, и почувствовала, как его сила разбивает в ней что-то похожее на камень. Огонь из ее груди распространился по всему телу.

Ей стало страшно. Она почувствовала, что сейчас сорвется в пропасть, и она не знала, что ждет ее на дне этой пропасти, удивительная радость или опасность с волчьими клыками. Она хотела бежать и не двигалась с места. Она была уверена, что далекий загадочный мир, который всегда хотела познать, мир, такой тревожный и волнующий, внезапно оказался рядом…

Гризельда резким движением высвободила руку и встала. Холодным тоном бросила:

— Пора возвращаться…

Замок оставался на прежнем месте. Это был замок Кинкельдов. Его разрушили англичане в XVII веке. Затем его восстановили, но он был снова разрушен ирландцами в начале XIX века, и сейчас от него оставались только стены. Остатки рода Кинкельдов давно перебрались в Америку.

[1] Имеется в виду Пьерфранческо де Медичи, третий муж графини города Форли Катерины Сфорца (1463—1509), одной из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения, прозванной «тигрицей Романьи».

* * *

Ни он, ни она не произнесли ни слова во время обратной дороги. Застыв рядом на жестких сиденьях, они, казалось, были превращены в камень гремящим демоном машины, охвачены им и стали его частью, подобно медной трубе клаксона и глазам-фарам улитки. Мотор торжествующе рычал и фыркал на своих пассажиров синим облаком, воняющим бензином.

Когда они подъехали к началу дамбы, Гризельда ожила, повернулась к Шауну Аррану и попросила остановиться. Она хотела вернуться домой пешком. Спрыгнув на землю, он протянул ей руку, чтобы помочь сойти. Но она сделала вид, что не заметила его руки и сошла с машины самостоятельно, опираясь на сиденье.

Когда она стояла перед ним, опустив взгляд, она видела его башмаки из грубой кожи напротив тонкой туфельки из гладкой замши, выглядывавшей из-под края ее юбки. Осторожно спрятав ее, она подняла глаза на Шауна и улыбнулась ему, пробормотав:

— До понедельника!..

Внезапно ей почудилось, что сейчас он устремится вперед, к ней, схватит ее… Но он, странно дернувшись, ограничился тем, что молча забрался на свое сиденье. Затем с силой рванул рычаги; металл и огонь воспроизвели рев дракона, которому наступили на хвост, и машина рванулась с места, словно сойдя с ума, рыча и разбрасывая камни из-под колес.

Гризельда удовлетворенно вздохнула и направилась по дамбе к дому. Заканчивался вечер, спокойный и мирный. Шум мотора затихал за ее спиной, а рокот морских волн приближался спереди. Прилив достиг высшей точки. Огромная масса воды на краткий миг застыла в равновесии, остановившись в своем вечном движении, после чего началось отступление. На гладкой поверхности моря играли пурпурные, аквамариновые и зеленые краски. Остров лежал перед ней, массивный и знакомый, словно вынырнувший из волшебного путешествия по переливам волн. Ардан, обезумевший от радости, мчался с лаем к ней по склону. Гризельда почувствовала, что охватившая ее радость сейчас заставит ее танцевать. Тело казалось ей необычно легким, каждое его движение было согласовано с морем и небом. Она побежала навстречу красно-белому псу с пятнами тени, и они встретились на нижней части лужайки. Ардан подпрыгнул и лизнул ее в лицо. Схватив его и прижав к себе, Гризельда упала вместе с ним на траву; она смеялась, пес лаял. Море со вздохом начало отступать.

* * *

Следующее воскресенье было третьим в этом месяце, и в этот день преподобный отец Джон Артур Бертон после окончания службы обедал на острове Сент-Альбан. Высокий, худой, давно облысевший старик, судя по всему, в молодости обладавший рыжей шевелюрой. Несколько лет он провел в Папуасии, где проповедовал среди туземцев христианство. Вернулся на родину хромым, облысевшим и без жены. Злые языки утверждали, что ее, а заодно и левую ногу проповедника съели новообращенные. Если и так, то его душа осталась незатронутой. Он по-прежнему был розовым как снаружи, так и изнутри.

— Обратимся к Господу, — произнес он, обращаясь к собравшемуся в салоне семейству. Это давно превратилось в традицию, когда преподобный отец совершал непродолжительный обряд перед тем, как собравшиеся садились за стол. Это ежемесячное общение с Богом избавляло обитателей Сент-Альбана от утомительных воскресных поездок в Муллиган.

Сэр Джон стоял под портретом сидевшего на коне Джонатана. Справа от него небольшой группой стояли леди Гарриэтта, Амбруаз Онжье и

тетушка Августа, посетившая остров с намерением сообщить брату что-то важное. Слева от сэра Джона толпились его дочери. Перед собравшимися стоял преподобный Бертон; справа от него — зеленое кресло, слева — коричневый пуф с кисточками, а сзади — низкий столик, на котором возвышалась громадная ваза с охапкой цветов.

Закрыв глаза и нахмурившись в стремлении проникнуть в души присутствующих, он произнес:

— Мы снова собрались перед Тобой, Господи, чтобы обратиться к Тебе с нашими молитвами, поблагодарить Тебя за Твои дары и попросить Тебя о бесконечном снисхождении к нашим грехам и нашим слабостям. Ты хорошо знаешь этот дом, в котором любят и уважают Тебя. Мы просим Тебя, Господи, не лишать обитателей этого дома своей защиты и своего мира. Аминь!..

— Аминь!.. — хором отозвались собравшиеся.

Внезапно раздался негромкий, дрожавший от сдержанного гнева голос:

— Хотела бы я знать, кто этот Господь, к которому вы обращаетесь?

Это был голос Элис. Она буквально испепеляла взглядом потрясенного пастора. Ее сердце отчаянно билось в груди под накидкой с черными кружевами. Поднятые к груди руки сжимались в крепкие агрессивные кулачки. Она с пылом и возмущением продолжила:

— Можно подумать, что вы обращаетесь к капитану полиции! Вы словно приглашаете его пообедать вместе с вами! Вам не приходит в голову, что вы говорите с Богом?

Члены семейства смотрели на Элис, вытаращив глаза. Все были ошеломлены настолько, что не могли ни пошевелиться, ни сказать что-нибудь.

Элис глубоко вздохнула. Ее слова были всего лишь прологом, они помогли сохранить мужество для продолжения.

— Я должна сообщить вам, что я католичка!.. Я стала членом Церкви! Единственной истинной церкви, католической, апостольской, римской церкви!.. Позавчера меня крестили…

Все присутствующие окаменели. На кухне Эми бросила сковородку и замахала руками, призывая всех к молчанию. Служанки замолчали и застыли. Сквозь стены до них не доносилось ни звука, но они прислушивались…

Элис продолжала, совсем негромко:

— И я собираюсь уйти в монастырь. Как можно скорее… И я останусь там до конца своих дней.

Сказав все что она хотела, девушка почувствовала облегчение. Опустив глаза, она повернулась и вышла из салона, сознавая, что находится в гармонии с собой и миром.

— Девочка сошла с ума! — закричала леди Гарриэтта.

— Господи Иисусе!... Господи Иисусе!.. — повторял, как заведенный, пастор.

— Мне очень жаль… — начал Амбруаз Онжье.

Гризельда сдержанно улыбалась. Конечно, она немного удивилась, но вся эта история показалась ей забавной. Джейн, красная как рак, яростно грызла ногти. Элен, потрясенная тем, что происшествие случилось на глазах у Амбруаза, украдкой поглядывала на него, пытаясь понять, насколько он шокирован случившимся. Китти подумала, что Элис пришла к такому ужасному решению только потому, что чувствовала себя несчастной. Она выскочила из салона и помчалась на поиски сестры.

Эми, снедаемая любопытством, сообщила на десять минут раньше, чем положено, что обед подан. Пытаясь разобраться в случившемся, она уловила замешательство смущенных хозяев, заметила, что священник

вытирает лоб платком, разевая при этом рот, словно рыба, оказавшаяся на песке, услышала, как леди Гарриэтта в ярости бормочет что-то невнятное, увидела, что в салоне нет Элис и Китти, и заторопилась наверх, где должны были находиться девушки.

К леди Гарриэтте вернулось ее хладнокровие. С обычной приветливой улыбкой она попросила всех к столу. Ей сейчас было не до выяснения причин непонятного безумия дочери. Кроме того, меры должен принимать ее муж, ведь она может только помогать ему. Значит, все будет решаться позднее. После обеда.

Сэр Джон очутился за столом, не представляя, как он до него добрался. Его голова была заполнена туманом, выглядывавшим наружу через его глаза. Элис! Это невозможно! Что там она наговорила про Бога?.. Уйти в монастырь?.. Бедняжка!.. Католичка! Элис католичка?.. Он качал головой. Это просто невозможно!.. Она хочет стать католичкой!..

Место Элис пустовало. Никто не упоминал ее имя. Вернулась Китти с приведенной в порядок прической. Отец взглянул на нее, но не сказал ни слова. Амбруаз вел себя молчаливо, чтобы выразить этим свое сочувствие, но при этом говорил достаточно, чтобы дать понять окружающим, что он не распространяет скандал на всех членов семьи. Леди Августа три раза накладывала себе отварного ягненка с имбирем. Она с трудом удерживала себя от желания разгрызть зубами самую большую кость. Если бы она не сдерживала раздражение, она принялась бы откусывать края от тарелки. Ее сжигало изнутри пламя возмущения, настолько сильное, что она худела на глазах. Внутри ее корсета возникала пустота. Ей казалось, что это кошмарное устройство сейчас перережет ей талию. Она надела его только из-за пастора и гостя брата. В остальные дни, в особенности на охоте, она ничем не стесняла свое тело, поддерживая дисциплину верхней половины с помощью очень тесной рубашки из грубой ткани. Что делать, женщины сконструированы не слишком удачно; природа принесла их в жертву идее продолжения рода. Живот нужен им только для беременности, а груди — чтобы кормить других маленьких самок, таких же глупых, как они, или маленьких самцов, которые превратятся во взрослых тупиц. Они становятся слишком неудобными после того, как их перестают использовать по назначению. Наверное, их следовало бы уничтожать.

Ее гнев был направлен не на Элис, а на Джона. Это он должен отвечать за случившееся, это он виноват во всем. Она давно предвидела то, что должно было произойти. И ведь это еще не конец!

Оставшись с братом вдвоем в малом салоне, она резко заявила ему:

— Это было неизбежно! Я знала, что это случится!

— Вы были в курсе планов Элис?

— Не говорите глупости! Как я могла быть в курсе?

Августа почти кричала. Он стоял возле камина, она ходила по комнате, то направляясь к нему, то останавливаясь и поворачивая назад. Потом снова кидалась к нему, словно пыталась взять приступом его достоинство, его безмятежность, с помощью которых он всегда держал ее на расстоянии, даже не догадываясь об этом.

— Вы когда-нибудь задумывались, хоть на секунду, какой жизнью вы заставляли жить своих дочерей?

— Я? Какой жизнью? Что, они жаловались вам?

— Нет, конечно!

— Мне кажется, что они счастливы…

— Еще бы они не были счастливы! Но девушки созданы не для того, чтобы быть счастливыми! Они созданы для того, чтобы выйти замуж! Вы, отец пятерых дочерей, представляете, что это такое — юная девушка?

— Мне представляется очевидным, что…

— Вы ничего не понимаете! У них кризис переходного возраста! Промежуточная стадия между детством и замужеством! На следующий день после свадьбы все меняется, девушка становится женщиной, и она не может быть счастлива просто так, без причины, потому что она теперь пересажена на новую почву, неважно куда, но теперь у нее есть свой дом, свой муж, свои дети, свои деньги, свои заботы. В конце концов, она становится взрослой… Скажите, Джон, как вы рассчитываете выдать замуж своих дочерей?

— Ну, как… Когда придет время…

— Бог мой, это время давно уже пришло! Вот оно, это время! Для всех пятерых девочек! А для Элис оно наступило несколько лет назад! У этой бедняжки… Сколько ей лет? Двадцать семь? Двадцать восемь?

— Вы несете вздор! При чем здесь Элис?

— Она выглядит на все тридцать… Ладно, пусть будет двадцать шесть…

— Постойте… Она родилась в шестьдесят четвертом… Значит, ей сейчас… Да, ей скоро будет двадцать семь!.. Невероятно!.. Пожалуй, вы правы…

— Конечно, я права! И она вот уже добрый десяток лет ждет, ждет напрасно, оставаясь в одиночестве...

— Почему в одиночестве? Она никогда не оставалась одна!..

— Юная девушка ***всегда*** одинока! Сестры, братья, родители — все это остается вне ее одиночества, не затрагивает его! Семья — это всего лишь круг лиц для общения, это не муж. Семья только воспитывает девушку и поддерживает ее до замужества. И если муж не появляется, ее одиночество становится невыносимым! Только одно существо может прервать его — это муж! Я подчеркиваю: муж, а не просто мужчина! То, что она будет делать затем, что он сделает с ней, это отдельная проблема. Но любую девушку нельзя считать сформировавшейся личностью, пока она не вышла замуж!.. До замужества это не взрослое существо, это не лягушка, а головастик!

— Головастик… Ну и сравнения у вас… Возможно, сказанное вами во многом справедливо… Но я…

— Я!.. Я!.. Хватит этого Я!.. Вы прячетесь в своем эгоизме, как черепаха в панцире! Вы нашли себе прекрасное убежище — этот остров! Ваша жена и ваши дочери только делают его для вас более уютным! Теплота общения с ними заставляет вас мурлыкать от удовольствия! Вы хотите, чтобы они оставались рядом до вашей смерти? Но одна из них уже сказала, что она не согласна!

Упоминание о смерти заставило его вздрогнуть. Сэр Джон не любил это слово, он всегда старался выбрасывать из головы любые мысли о смерти. Он не был до конца уверен в том, что религия говорила о будущей жизни, но конец теперешней жизни представлялся ему чем-то таким ужасным, что он не хотел думать о нем.

— Вы не должны были уезжать из Лондона, — сказала Августа. — Откуда на этом клочке земли, окруженном водой, возьмутся кандидаты на должность мужей для ваших дочерей? За кого вы выдадите их замуж? За пастора? Прекрасная партия: у него еще осталась одна нога.

Она злобно ухмылялась, ее губы подергивались, обнажая большие желтые зубы.

— Я давно хотела поговорить с вами об этом. Сегодня я приехала специально для этого разговора… Я давно пытаюсь поставить себя на место моих племянниц. Мне самой было достаточно сложно найти для себя мужа и сохранить его после того, как наш отец — да вознаградит его Господь в своих чертогах! — пустил по ветру состояние семьи! Я приехала, чтобы сказать вам: Джон, вы должны вернуться в Лондон!

— В Лондон? Вы сошли с ума!

— Если вы останетесь здесь, вы никогда не выдадите дочерей замуж! Вы уже сделали несчастной Элис — вы хотите принести в жертву и всех остальных?

Слова «Никогда! Никогда! Никогда!» — три раза ударили молотом по голове Джейн. Она сидела на траве возле дома, обнимая ягненка. Джейн не старалась подслушать разговор старших, но тетушка Августа говорила так громко, что она все слышала.

После обеда Джейн сбежала в лес, где увидела издалека Гризельду, направлявшуюся к Скале. Она хотела поговорить с сестрой о непонятном происшествии, но потеряла ее из виду. Прибежав к Скале, она не нашла там Гризельду. Тогда она пошла к лисьей норе и стала беседовать с лисом. Вернее, говорила только она, а лис время от времени шуршал в норе листьями и камешками, чтобы показать, что он не исчез и слышит Джейн. Он редко показывался на глаза кому-нибудь, кроме Гризельды и Эми. А сегодня он уловил запах Августы и дрожал от тревоги и гнева, почти не вникая в то, что ему говорили.

— Почему она поступила таким образом? — удивлялась Джейн. — Католичка! Представляешь?.. Она стала католичкой!.. И она хочет уйти в монастырь! Надо же!.. Ведь у нее никогда не будет семьи, не будет детей!

Все это казалось ей таким ужасным, что она заплакала. Чтобы успокоиться, она побежала на лужайку, схватила на руки ягненка, несмотря на тревожное блеянье его матери, и принялась ласкать его. Сначала он тоже блеял тоненьким голоском, но успокоился, когда она позволила ему сосать кончик пальца. Она уселась на траву, прислонившись к стене дома. Ягненок быстро уснул, пригревшись у нее на груди. Она тоже согрелась и задремала. Она всегда будет баюкать на руках маленьких ягнят, будет ласкать своих детей, кормить их грудью…

Внезапно ее разбудил голос тетушки Августы; придя в себя, она прислушалась и вдруг поняла все.

Никогда! Неужели так и будет? Истина внезапно предстала перед ней во всей очевидности и жестокости. Она никогда не выйдет замуж! У нее никогда не будет детей! Никогда! Отчаяние охватило девушку. Она посмотрела на спящего у нее на руках ягненка, такого теплого, так прижавшегося к ее груди… А ведь ее грудь окажется никому не нужной… Ведь она младшая из сестер, значит, у нее меньше всех шансов выйти замуж… Она последняя… Если появится жених, то он достанется прежде всего старшим сестрам… Боже, почему на этом острове так много женщин! Всюду женщины, одни только женщины! И она еще должна помогать Молли разбирать белье после последней стирки! Мама требует, чтобы она знала, куда положена каждая вещь, даже самый маленький носовой платок. Почему я? Всегда я! И сандвичи для чая — тоже я!

Ягненок внезапно проснулся и спрыгнул на траву. Запутавшись в собственных ногах, он упал. Джейн рассмеялась, замолчала и смахнула слезу с кончика носа.

— Почему эта дура-овца так раскричалась? — буркнула леди Августа. — Надеюсь, вы не позволите Элис уйти в монастырь?

— Я всегда старался, чтобы мои дочери могли делать то, что они хотят, — пожал плечами сэр Джон.

— Разумеется! И поэтому вы заперли их в этой тюрьме, окруженной водой!.. Я, вообще-то, не против некоторой свободы, но монастырь — это уже слишком! Когда я думаю, что ее уже крестили и она теперь католичка… Какой ужас! Может быть, если найти ей мужа, она согласилась бы отречься?

— Я не стану требовать этого от нее! — жестко бросил сэр Джон. — Мои дочери свободны и могут думать и поступать так, как считают нужным!

— Еще бы! Как их отец! Какая широкая душа! Готов дружить с католиками, тогда как их ночные убийцы подстерегают нас в темноте! Заметьте, я понимаю, что они не всегда могут быть довольными своей судьбой! Я признаю, что иногда с ними поступают несправедливо… Но можно понимать животных, хотя сам ты не собираешься стать свиньей!.. Католичка!.. Нет, она точно свихнулась!..

Эми знала. Вся прислуга тоже знала. Эми перебросилась парой слов с садовником и кучером, а потом успокоила горничных. Для этих девушек, тоже католичек, решение Элис было своего рода их общей победой. Эми не хотела, чтобы возбуждение могло подтолкнуть их к каким-нибудь глупостям.

Когда они обедали вокруг большого деревянного стола, негромко переговариваясь и хихикая в тарелки с супом, Эми взялась за них всерьез.

— Успокойтесь, дурехи! Это большое несчастье для семьи!.. Да, несчастье!.. И я совсем не одобряю поступок мисс Элис… Мы всегда должны оставаться там, где нас поставил Господь, чтобы восхвалять его, и Бог один для всех, даже для этих свиней англичан, чтоб их дьявол поджарил!

Возвращаясь с конюшни, она увидела бледную замерзшую Джейн. Она медленно поднялась, держась за стенку и ощущая себя старой и невероятно дряхлой…

— Слушай, Эми… Сколько ей сейчас? Лет тридцать?

— Я точно не знаю…

— Это страшно, то, что она сделала, да, Эми?

— Не нам судить, цыпленок…

— Я не осуждаю ее, я ее понимаю… В тридцать лет, до сих пор не замужем, что ей было делать, как ты думаешь?.. Тетушка Августа говорит, что мы никогда не выйдем замуж!..

— Мы? Кто это, мы?

— Мои сестры и я! Она сказала, что здесь мы никогда не найдем себе мужей! И мы никогда не выйдем замуж!

— Я уважаю леди Августу, — сказала Эми. — Но она — просто старая хромая лошадь, которая давно перестала соображать! Господи, во что я только вмешиваюсь… Что, она сказала это тебе?

— Нет, не мне… Отцу…

— Это правильно, ему давно пора было задуматься! А тебе сейчас стоит заняться чем-нибудь, хватит бездельничать.

— Я ведь самая младшая! Если кто-то и появится здесь, то он будет не для меня! Я буду последней в очереди!

— Глупости, замуж всегда выходит самая младшая из сестер… Смотри, у тебя совсем промокло платье сзади, нельзя сидеть на земле… Иди поменяй платье, а потом займись чем-нибудь, займись делом! Будущие мужья любят девушек, которые умеют заниматься хозяйством…

— Но…

— Перестань! Когда тебе говорят сделать что-нибудь, ты должна выполнять это с радостью…

— Но…

— …с радостью и прилежанием! Короче, как ты собираешься стать воспитанной девушкой? Ты прекрасно знаешь, что должна слушаться меня, мой весенний цветочек, и что все сказанное мной говорится для твоего же блага! Когда ты родилась, именно я возилась с тобой… Ты тогда была вдвое меньше этого ягненка… Ну, иди, переоденься скорее в сухое…

Ягненок давно нашел убежище у своей белоснежной матери, спрятавшись между ее черных ног. Он энергично дергал ее за сосок, стараясь получить молоко, и его жалкий хвостик, торчавший кверху, дрожал от удовольствия.

Джейн рассмеялась, глядя на эту сценку.

— Значит, все-таки может появиться кто-то, кто заинтересуется мной, — помолчав, сказала она. — Китти сейчас уже совсем старая. И Элен тоже! Даже Гризельде уже лет двадцать, не меньше… Если ему понадобится кто-то помоложе… И ему не придется долго ждать… Ведь я сразу же скажу ему «да»… Я не собираюсь ломаться… Хорошо, если у меня будет много детей…

— Еще бы, моя маленькая глупышка! Быстро беги переодеваться, а потом принимайся пересчитывать простыни! И проверь, хорошо ли выглажены льняные салфетки! Те, новые, на которых вышиты синие цветочки. Эта грубиянка Магрит, когда берется за утюг, может испортить все что угодно. Ведь с льняными вещами нужно обращаться очень бережно. А она ведет себя не деликатнее коровы… Иди, мой ягненочек, иди, займись бельем, моя умница, и ты никогда не останешься на обочине жизни…

Леди Августа приехала на остров на огромной костлявой кляче, такой же неутомимой, как она сама. Когда она, наконец, отправилась домой, Уагу внезапно выскочил из зарослей рододендрона и бросился на нее, стараясь укусить за ногу. Он прыгал несколько раз подряд, и его челюсти лязгали чуть ниже сапога всадницы. Леди Августа выругалась и перетянула его хлыстом. Когда Уагу кинулся в кусты, распластавшись над землей и держа горизонтально хвост, напоминавший белый след летящей ракеты, леди Августа попыталась развернуть лошадь, но та заржала, поднялась на дыбы и затем галопом поскакала к дамбе.

Они вихрем промчались мимо стенки, на которой строители дамбы поместили табличку, посвященную окончанию работ. Лишайники уже начали скрывать отдельные буквы выбитой на мраморе надписи, но Августа давно запомнила текст:

«Эта дамба свидетельствует о взаимной любви между Джонатаном Грином и жителями Донегола, как фермерами, так и всеми остальными. Когда в Донеголе свирепствовали чума и страшный голод, Джонатан Грин встал между нами и смертью. Когда же смерть подкараулила его за пределами острова и набросилась на него, все, католики и протестанты, сотнями пришли сюда со своими кайлами, лопатами и тачками и построили эту дамбу, чтобы Джонатан Грин мог отдать душу Богу в своем доме».

Большая тощая кляча начала успокаиваться только вдали от берега, когда перестала чувствовать запахи моря и острова.

Ехидный смех Уагу еще долго раздавался в лесу.

* * *

Деревья окружали камни сплошным кольцом, останавливаясь в нескольких шагах от них, хотя садовники и не добивались такого. Эми объясняла это тем, что между разными формами жизни был заключен договор, по которому каждая занимала предназначенное ей место. И когда малышка-ученая Элен возражала, что камни — это мертвая материя, Эми отвечала, что ничто сущее не бывает неживым и неподвижным.

Гризельда сидела на лежавшем плашмя на земле камне. Как и ее дед Джонатан, она была убеждена, что упавшая плита указывала на что-то важное, может быть, на новые земли за большой водой или на затерявшуюся в бесконечности звезду, с которой на землю спустились ее предки; возможно, плита служила стрелой розы ветров, направленной туда, куда нужно было

идти, чтобы покинуть остров… Оставшиеся стоять вокруг упавшего камни замыкали загадочный круг небесных часов, компаса столетий, предназначенного для исчисления пространства или времени, или того и другого сразу; не исключено, что и для чего-то иного.

Но голова Гризельды была занята более важной тайной. Ее не интересовали возможные формы жизни. Она растянулась во всю длину на каменной плите, глядя на плывущие над ней облака. Но она не видела в небе то, что ей хотелось бы видеть. Она закрыла глаза, но не увидела ничего нового. Тогда она принялась вертеть головой на камне, игравшем роль твердой подушки, сердясь при этом на себя и свою слабость. Непреодолимость желания увидеть Шауна Аррана пугала ее.

Она целиком отдалась воздействию камня и почувствовала, как он стал теплым, как среагировал на каждую неровность ее тела. Всем существом она потребовала у земли, неба и моря рассказать ей все, что ждало ее в будущем. Камень под ней превратился в лодку, покинувшую берег и уносившую ее по медленным волнам аромата цветов и зелени и тысячеголосого бормотания леса. Она одновременно ощущала себя на воде и на земле. И Шаун смотрел на нее и протягивал ей руку. Его взгляд обжигал, просил и требовал. Она слабела, и при этом хотела слабеть все сильнее и сильнее, стремилась лишиться всех желаний, кроме одного желания подчиняться. Но при этом она не могла подчиняться! Она хотела оставаться свободной!

В то же время во взгляде ее серых глаз за черными ресницами отражалась паника раненого и попавшего в западню животного. И спасти это животное могла только она сама. Он был сказочным принцем, она — принцессой, заточенной в башне… Что она будет делать завтра, в понедельник?

Но назавтра ей показалось, что у автомобиля нет желания выходить из строя. Он ни разу не остановился, и Шаун молча сидел за рулем, безупречно выполняя шоферские обязанности. Его присутствие ощущалось Гризельдой как источник тепла, способного обжечь. Когда двигатель принялся покашливать, она стиснула зубы, почувствовав, как сильно забилось у нее сердце. Но через несколько минут три цилиндра, поработав вразнобой, восстановили нормальный ритм и автомобиль продолжил путь. Гризельда искоса глянула на Шауна. Она могла видеть только часть его лица, наполовину скрытого под большими очками. На нем она не заметила никаких эмоций. Казалось, он смотрит вдаль, и ничто иное, за исключением горизонта, не доступно его взору. Это жутко раздражало ее. Еще больше раздражало понимание того, что он догадывался о ее состоянии. И она не сомневалась, что под его спокойствием скрывались страсти, толкавшие его к ней. Правда, она не была уверена, что является единственной причиной так хорошо скрываемого им нервного напряжения. Он оставался таким же загадочным и непроницаемым, как придорожный камень.

Неожиданно мотор снова принялся кашлять. Он плевался маслом, хрипел и заикался, пытаясь справиться с перебоями. Гризельда всем своим существом разделяла его агонию. В одно и то же мгновение она и надеялась, и боялась, что он остановится. Временами она даже забывала дышать. Волна жара охватила ее лицо, руки, все тело.

Но мотор не остановился. С трудом, то запинаясь, то снова набирая обороты, он довез их до начала дамбы. Гризельда жестом показала Шауну, чтобы он остановился. Она почувствовала облегчение, словно канатоходец, перешедший через ущелье по натянутому канату. И такую же усталость.

Она сошла на землю. Шаун уже стоял рядом с машиной, застыв с видом полного безразличия. Он снял очки и смотрел на девушку. Она опять обратила внимание на взгляд его глаз цвета боли и пепла, цвета моря у самого горизонта.

Она задрожала. Он прикоснулся пальцем к козырьку своей каскетки и произнес нейтральным тоном:

— До четверга, мисс…

Она очнулась, словно от холодного душа. И поспешно ответила, не успев подумать:

— Не знаю, соберусь ли я на прогулку в четверг…

Повернувшись к нему спиной, она удалилась, не сказав больше ни слова. Она поставила его на место, место шофера. К тому же, не ее личного шофера, а одолженного тетушкой.

Глубоко вздохнув, она почувствовала избавление. Но по мере приближения к дому, когда она поднималась по склону, она чувствовала все меньше и меньше удовлетворения своим поведением.

В четверг с утра шел проливной дождь. Гризельда с яростью наблюдала из своего окна затянутое тучами небо, с которого обрушивались настоящие водопады. Прижавшись лбом к стеклу, она закрыла глаза и, раскрывшись, позволила дождю и ветру войти в нее и пробежаться по ней, подобно тому, как они проносились по острову. И когда они смешались с ее существом, стали ее кровью и ее нервами, она, вложив в свое желание все силы, изгнала их и вызвала солнце.

Улыбнувшись, она открыла глаза. Она заранее знала, что увидит солнце, пробившееся сквозь тучи.

Менее чем за четверть часа установилась хорошая погода. Такое чуть ли не каждый день случается в Ирландии…

Но когда возле дома остановилась машина, которую Гризельда ожидала, считая каждую минуту до ее появления, она послала Молли сказать шоферу, что не поедет. Она решила прекратить поездки с Шауном, снова запереться в своей комнате и продолжить ожидание. За ней должен был заехать рыцарь королевской крови или, в крайнем случае, капитан пиратского парусника. Но не это ничтожество, шофер в каскетке.

* * *

Сэр Джон спокойно воспринял высказывание сестры о необходимости вернуться в Лондон. Собственно говоря, он просто пропустил его мимо ушей. Возражал он только потому, что ему не нравилось вмешательство в работу его мозга. Да и как он мог вернуться в Лондон? Лондонский дом был давно продан, так что потребовалось бы купить новый. А деньги на это приобретение можно было получить только продав остров… На этом уровне его мыслительная деятельность автоматически блокировалась. Он даже не стал делиться своими мыслями с женой и быстро забыл идею Августы, словно и не слышал ее…

Гораздо труднее было забыть про Элис. Ежедневно, в любую погоду, она рано утром садилась на велосипед. Все знали, что она отправилась на утреннюю мессу в Маллиган. Эта месса всегда порождала возмущение в каждой семье местных протестантов.

Сэр Джон побеседовал с дочкой. Он говорил очень спокойно, и она отвечала ему так же спокойно. Выяснив, что она не собирается менять свои убеждения и что ее решение остается неизменным, он сказал, что это ее личное дело и он не будет противиться ее обращению в католичество. Успокоив таким образом свою совесть, он вернулся к мирной жизни. То, что возмущало окружающих, нисколько его не волновало. Изучение древних эпох позволило ему понять, что религии меняются даже более часто, чем цивилизации, и что все они являются разными видами одной веры или одной иллюзии, и что религиозная нетерпимость по меньшей мере неразумна.

Что касается мужей для дочерей, то он считал, что все устроится в свое время. Где они будут счастливее, чем на острове? Он был уверен, что их детство и юность на Сент-Альбане навсегда останутся для них драгоценным даром.

Решение Элис гораздо серьезнее ранило леди Гарриэтту. Но как всегда и во всем, она полностью положилась на мужа и приняла его сторону. Таким образом, нарушение общего мира на острове ограничилось одним воскресеньем.

Дни с четверга до понедельника тянулись для Гризельды бесконечно долго, и каждый последующий из них казался ей более длинным и более мрачным, чем предыдущие. Ей не удавалось найти убежище в тумане неопределенной печали, охватившей ее после болезни, и она чувствовала себя обиженным ребенком, который плачет и не может остановиться. Теперь в ней как будто родилось и постоянно изменялось что-то жгучее, заставлявшее ее терять терпение. Поэтому, когда в понедельник к дому подъехала машина, она была полностью готова за полчаса до ее появления.

Погода в этот день была прекрасной, и Гризельда забралась на свое место рядом с шофером, улыбающаяся, легкая и счастливая, чудесным образом освободившаяся от тревог, радующаяся окончанию затянувшегося ожидания и возможности снова обрести мир звуков, солнца и запаха бензина, мир, не требующий вопросов и объяснений. Шаун направился обычным маршрутом к озерам среди холмов и долин, укутанных в зеленый бархат, на котором пылали кусты дрока, усеянные золотыми цветами.

Горизонт, обрисованный плавными кривыми линиями холмов, размывался отражениями неба в воде, повсюду смешивающейся с землей, с золотом солнца и цветущего дрока. Бескрайний, полный счастья мир, незаметно менявшийся, когда машина, ворча мотором, мчалась вперед. В его пустоте, казалось не было ничего, кроме машины с Гризельдой и Шауном, и птиц.

Неожиданно впереди машины появилось какое-то большое животное, с радостным лаем скачущее перед самыми колесами.

— Ардан! — крикнула Гризельда.

Догнавший их пес, повизгивая от удовольствия, плясал, ловко уворачиваясь от машины.

Гризельда схватила Шауна за руку.

— Остановитесь! Мы раздавим его!

Машина затормозила, недовольно плюясь дымом. Обиженный мотор чихнул и остановился.

Ардан прыгнул к Гризельде, спустившейся на землю, и чуть не сбил ее с ног. Она поворчала на него, потом приласкала, потом потрепала, взяла морду обеими руками и чмокнула его в нос. После этого оттолкнула его и приказала вернуться домой.

Ардан несколько раз гавкнул: «Нет! Нет! Нет!», мотая головой и по-змеиному извиваясь всем телом. Гризельда объяснила ему, что в машине для него нет места и что, если он будет бежать перед машиной, она в конце концов задавит его. Но Ардан снова упрямо пролаял: «Нет! Нет! Нет!»

Гризельда рассердилась Пес мог испортить ей прогулку. Нужно было или возвращаться, или ехать очень осторожно и все время следить за ним.

— Неужели тебе не понятно?

«Нет! Нет! Нет!» — ответил Ардан.

Гризельда показала, куда он должен бежать, и подтолкнула его в этом направлении. Потом сделала вид, что сейчас ударит его. Ардан сделал несколько шагов и сел с довольным видом, свесив язык.

— Ладно, возвращаемся, — печально сказала Гризельда. — В следующий раз придется привязать его.

Она медленно подошла к машине. Сидевший за рулем Шаун прикидывал, где он может развернуться. Неожиданно на дороге вспыхнул язык пламени, налетевшего на Ардана.

— Это Уагу! — воскликнула Гризельда.

Лис сбил Ардана с ног и на сумасшедшей скорости умчался по направлению к острову. Забывший обо всем Ардан кинулся за лисом, пытаясь на бегу ухватить его за кончик хвоста.

Гризельда смеялась, Шаун скупо улыбался. Через несколько мгновений лис и собака скрылись за поворотом.

Эми, раскатывавшая в это время на кухне тесто, засмеялась.

— Старый лис! Бессовестный шалопай! Ну и хитрюга! — бормотала она, качая головой.

Гризельда, к которой вернулось хорошее настроение, перепрыгнула через канаву и помчалась вниз по склону. Она сорвала с головы платок, сбросила плащ и вскинула его вверх, словно парус, подхваченный ветром. Задыхаясь и смеясь, она остановилась, бросила плащ на траву и рухнула на него. Волосы волной огня и мрака стекали с ее плеч. В долине перед ней облака толпились над ручьем, позади до самого неба поднималась пылающая стена дрока. Казалось, все певчие птицы Ирландии заливались вокруг.

Подняв глаза, она увидела рядом с собой Шауна. Он протянул к ней руку, на этот раз без перчатки, и медленно опустился на колени. Она хотела броситься к нему и в то же время страстно пожелала исчезнуть, скрыться отсюда. Стоя на коленях, Шаун придвинулся ближе. Она почувствовала прикосновение его рук — сначала одной, затем другой. Сердце у Гризельды грохотало так же сильно, как цилиндры мотора, как море, и его стук отдавался в ее голове, во всем теле. Что-то огромное заполнило ее грудь, не позволяя ей вздохнуть. Шаун обнял ее и прижал к себе, едва не сломав кости. Запрокинув голову, она мотала ею вправо и влево, словно Ардан, твердивший «нет… нет… нет…». Обнимая ее, он опустился на плащ, и теперь только их головы возвышались над травой, и отблеск золотых цветов дрока скользил по их лицам. Перед тем как закрыть глаза, она на мгновение увидела его глаза, огромные, с нежностью смотревшие на нее. Она ухватилась за этот взгляд всем существом, чтобы получить, наконец, все, что она ждала, что сейчас нахлынуло на нее и увлекало с собой; это было то, что она всегда видела в мечтах: корабль, его капитан и далекая звезда…

И все, что есть на земле сияющее и безбрежное, стало для них наградой в сиянии весны и аромате дрока. Он видел все, ощущал все, слышал все. И этим всем для него была она.

Она перестала видеть и слышать мир вокруг себя. Она перестала существовать. И в то же время пение ее души было слышно в птичьем хоре.

* * *

Прошло два дня. За ужином Амбруаз Онжье спокойно сообщил, что собирается послезавтра уехать.

Элен ошеломленно уставилась на него. Амбруаз обратился к леди Гарриэтте:

— Я так долго стеснял вас, — сказал он. — Прошу меня простить … Увлеченный исследованием, окруженный вашей заботой, я почти забыл, что нахожусь в гостях… Уверен, когда я вернусь в Англию, мне покажется, что я попал в чужую страну…

Леди Гарриэтта, которой понравился комплимент, ответила, что его всем будет не хватать. Обычный обмен любезностями. Ни та, ни другая сторона на деле не думали то, что говорили, и не верили тому, что слышали. Все происходило в рамках приличия и не имело никакого значения ни для Амбруаза, ни для леди Гарриэтты, ни для остальных присутствовавших при разговоре. Но не для Элен. Для нее сказанное показалось страшнее самых ужасных проклятий, которые изрыгали бородатые библейские пророки, предрекая падение небес на землю или конец света.

Гризельда почти ничего не слышала. Со слабой улыбкой на лице, погруженная в мечты, она словно находилась далеко отсюда, согретая изнутри золотым солнцем, которое зажег в ней Шаун. С того момента все вокруг для нее изменилось. Когда она открыла глаза, все показалось ей иным — небо над ней, лицо Шауна, склонившееся к ней с выражением тревожного счастья… А потом иными показались ей и все остальные лица. Все вокруг, каждая веточка всех деревьев, каждая травинка, каждое перышко любой пташки, каждая улыбка сестер, каждый волосок в бороде отца, море и ветер — отныне все это оказалось на своем месте, находясь в равновесии со всем остальным и свидетельствуя об очевидном: жизнь имела смысл, жизнь была прекрасна, жизнь стала радостью.

У Гризельды даже изменился голос; если прислушаться, то он казался более глубоким и более теплым. Но кто мог услышать ее, если Шауна не было рядом? Ее движения стали более плавными, немного более четкими, но кто мог увидеть ее, если серых глаз не было рядом?

— Мы можем надеяться на удовольствие когда-нибудь снова увидеть вас? — вежливо поинтересовалась леди Гарриэтта.

— О, конечно, конечно! — отвечал Амбруаз Онжье тоном, означавшим «конечно, никогда».

Элен ощущала кошмарный сумбур в своей голове. Все происходящее казалось ей сплошным абсурдом.

— Но Лондон так далек от нас! — произнес со скептической улыбкой сэр Джон.

— Конечно, конечно, — повторил Амбруаз с улыбкой.

Неужели он уедет, так и не сказав ей ни слова? Неужели она ошибалась? Значит, их совместные прогулки, их беседы, их работа в библиотеке, все остальное отнюдь не было началом? Он так ничего и не понял? Но ведь каждый ее взгляд недвусмысленно говорил: «Я ваша избранница, ваша судьба, самый близкий вам человек… Я знаю ваш блестящий ум, я всегда буду рядом с вами, я буду помогать вам, мы продолжим совместную работу, мы напишем великолепную книгу, мы раскроем тайны прошлого, мы пойдем рука об руку к будущему, мы предназначены судьбой друг для друга, ведь именно судьба привела вас на этот остров, чтобы мы непременно повстречались…»

— Я тоже надеюсь когда-нибудь повидать вас в Лондоне, — говорил Амбруаз.

Элен с ужасом огляделась. Все спокойно сидели за столом и мирно беседовали, словно никто из них не услышал эти страшные слова. Все выглядело так же, как в любой из прошлых вечеров, но в то же время на происходящем сегодня лежал оттенок кошмара. Даже свет казался ей черным. Невыносимый холод охватил Элен с головы до ног. Потрясенная, она почувствовала, что умирает, и попыталась встретить взгляд Амбруаза. Потерпев неудачу, она тихо соскользнула на пол.

После мгновения всеобщего оцепенения и воцарившейся в комнате мертвой тишины началась всеобщая суматоха; только Амбруаз, не представлявший, что ему делать, оставался на своем месте, машинально поглаживая кончиками пальцев то бороду, то скатерть перед собой.

Китти первая кинулась на помощь сестре. Она схватила Элен, прижала к своей роскошной груди и попыталась поднять ее. Оказавшись на стуле, Элен очнулась, охваченная смущением и беспокойством. Она плохо представляла, где находится, и растерянно наблюдала за царившей вокруг нее суетой, мало что различая в окутавшем ее багровом мраке.

Брижит, налаживавшая освещение в столовой, бросила все и помчалась на кухню. Перед этим она слишком резко повернула колесико для регулировки пламени, и язычок огня взвился до половины стекла, выпустив в потолок струйку черного дыма, рассеявшегося в виде множества небольших хлопьев жирной черной копоти.

— Мы слишком много заставляли работать это дитя, — произнес сэр Джон, полный угрызений совести.

Леди Гарриэтта не стала высказывать предположение, что Элен, скорее всего, плохо переварила съеденный в обед шоколадный пудинг.

— Тебе нужно пойти полежать, — сказала она. — Я скажу, чтобы для тебя приготовили укрепляющий отвар.

Элен, поддерживаемую с двух сторон матерью и Гризельдой, вывели из столовой. Она едва успела бросить полный отчаяния взгляд на Амбруаза.

Джейн бросилась к керосиновой лампе и отрегулировала пламя. Озабоченный сэр Джон уселся на свое место. Маленькие черные бабочки, кружившиеся над головами, начали опускаться, садясь на тарелки, скатерть и лица обедавших.

— Не понимаю, что с ней, — сказала Китти. — Бедняжка просто позеленела…

Начавший догадываться Амбруаз старательно изображал нейтральный и в то же время сочувственный вид.

— Моя голубушка, бедная моя, — повторяла Эми на кухне. — Я же предупреждала ее! И на этом ее несчастья еще не закончились…

Леди Гарриэтта вернулась в столовую одна. Гризельда осталась с сестрой.

— Что с ней? Она заболела? — спросил встревоженный сэр Джон.

— Нет… Мне не показалось, что она заболела…

Сэр Джон ничего не понял.

— Так она не вернется в столовую?

— С ней уже все в порядке, но пусть она полежит у себя, — успокоила леди Гарриэтта присутствующих.

Проходя мимо мужа, чтобы сесть на свое место, леди Гарриэтта наклонилась к нему и шепнула:

— Девочка плачет…

Потом, продолжая улыбаться, она села рядом с Амбруазом.

— Она плачет?.. Но что может заставить ее плакать? — пробурчал себе в бороду сэр Джон.

Он считал, что хорошо знает Элен, свою любимую дочь, всегда находившуюся рядом с ним. Он не понимал, чем могут быть вызваны эти неожиданные слезы.

Леди Гарриэтта приказала поменять тарелки, выпачканные в саже, и беседа за столом постепенно возобновилась. Иногда даже раздавался смех, если кто-нибудь размазывал на лице чешуйку сажи, рисуя таким образом еще одну бровь на щеке.

Леди Гарриэтта извинилась перед гостем:

— Ах, этот керосин! Он очень практичен, но его использование иногда создает некоторые неудобства…

Гризельда незаметно вернулась к столу. Отец бросил на нее вопросительный взгляд, и девушка успокаивающе кивнула ему. В то же время она не удержалась, чтобы пристально не посмотреть на Амбруаза, оценить его

бороду, лорнет, аккуратную прическу и правильные черты удлиненного лица. Она не пыталась скрыть свое удивление перед этим необъяснимым феноменом. У почувствовавшего ее взгляд Амбруаза на лице появилось странное выражение, одновременно сконфуженное и торжествующее, немного похожее на выражение на морде пса, застигнутого на краже косточки, в то время, как в его миске еще оставалось мясо.

Ужин заканчивался. Когда все расходились по своим комнатам, Гризельда незаметно задержала отца. Она хотела поговорить с ним.

— В конце концов, в чем дело? — спросил сэр Джон. — Что происходит с Элен?

Когда Гризельда рассказала все отцу, удивление сэра Джона не имело границ.

— Амбруаз?.. Неужели это правда?

— Да, конечно…

— Но… Но это просто невероятно! Что она нашла в нем?.. Он, помоему… Я хочу сказать, что он отнюдь не красавец!..

— Но он и не урод… Она считает его красивым…

— Это какая-то нелепость!.. Он того же возраста, что и я!..

— Вы преувеличиваете…

— Он же просто старый холостяк!..

— Было бы гораздо хуже, будь он женат…

— Какие жуткие вещи ты говоришь… Не понимаю, что она в нем нашла?.. Боже, неужели это возможно?

Гризельда думала примерно то же самое. Глядя на потрясенного отца, она неожиданно разглядела его удивительное очарование, его детское простодушие и уязвимость, обычно скрываемую несколько высокопарными манерами. Точно так же его усы скрывали несколько мягкий рот. Она смутно догадывалась, что Элен перенесла на приезжего мужчину бесконечное восхищение отцом. Но на самом деле это было иллюзией. Единственной общей чертой у двух мужчин была борода.

— Ладно, я думаю, что нам не о чем беспокоиться, — сказал, подумав, сэр Джон. — Подобное увлечение — это просто глупость, а Элен такая умная девушка. Это не может долго продолжаться, это несерьезно.

— Напротив, это очень серьезно, — возразила Гризельда. И добавила: — Ведь вы прекрасно понимаете это…

Да, он понимал. Он уже догадался. Он плохо знал своих дочерей, плохо представлял их как молодых девушек, их чисто женская реакция была для него неожиданной, но он хорошо разбирался в их характере. Он знал, что натура Элен, да и Элис тоже, отличается цельностью, способностью отдаваться чему-либо всем существом, без каких-либо оговорок. Он вздохнул и сказал:

— Боюсь, ты права… Твоей сестре придется долго избавляться от болезни… К счастью, Амбруаз уезжает… Я не хочу сказать, что недооцениваю его, но он совершенно не способен сделать Элен счастливой…

— Этого нельзя знать заранее, — негромко произнесла Гризельда с мудростью, осенившей ее позавчера.

Она внезапно подумала, каким страшным для нее испытанием стала бы невозможность снова увидеть Шауна. Она побледнела, потом покраснела и принялась с пылом защищать сестру. Расставшись с Амбруазом, она не просто будет несчастна, она просто сойдет с ума, может быть, даже умрет!.. Надо любой ценой спасти ее от разлуки!

Потрясенный сэр Джон слушал Гризельду и смотрел на нее, как на совершенно незнакомое существо. Он качал головой, судорожно стискивая серебряных единорогов на цепочке своих часов. Он растерянно повторял:

— Это невозможно… Это невозможно… — Потом он внезапно нашел веский довод: — Он же уезжает послезавтра!

— Вот именно! — решительно заявила Гризельда. — Вы должны поговорить с ним до отъезда.

— Я?.. Но это же неприлично!.. Это он должен поговорить со мной!.. И если он этого не сделает, значит, он не собирается жениться на Элен!

— Может быть, он просто не решается? Вдруг он слишком застенчивый? Но он не может сомневаться в чувствах Элен… Вы должны объяснить ему… Элен так несчастна… Ее невозможно вылечить!..

Сэр Джон хотел воздеть руки к небу, но остановился, вспомнив о необходимости соблюдать достоинство.

— Мне нужно подумать, — решил он.

Он очень не хотел принимать решение, и у него появилась надежда, что ночью обязательно случится чудо, которое избавит его от необходимости вмешаться. Нередко бывает, что больной с высокой температурой наутро оказывается выздоровевшим, особенно если ночью пропотеет как следует.

— Перед сном обязательно проверь, приготовила ли Энн отвар… Может, будет нужна и грелка для ног…

Он сообразил, что говорит что-то не то, и чтобы как-то оправдаться, глянул на Гризельду с натянутой улыбкой и тут же снова стал серьезным. Он смотрел на дочь, и ему казалось, что он понимает ее. Она явно чего-то испугалась. Но что ей стало известно?

— Будь осторожней… — произнес он с серьезной нежностью. — Элен и Элис позволили воображению увлечь себя. Элис думает, что попадет на небо, Элен считает, что встретила в одном человеке сразу Юпитера и Аполлона… У тебя тоже слишком богатое воображение. К счастью, твое воображение ограничивается мечтами… Вот и хорошо, пусть пока ничего не меняется… Но будь осторожна… Не позволяй своим мечтам воплощаться в действительность…

Притянув дочь к себе, он поцеловал ее в лоб. Сообразив, что такой поступок для него крайне необычен, он смущенно похлопал ее по спине, откашлялся и вышел из комнаты.

Посмотрев ему вслед, Гризельда увидела, как он устал, как ранен случившимся. У нее тоже сжалось сердце, когда она услышала его слова. Застыв на месте, она то и дело сильно вздрагивала, словно от сквозняка. Но пылавшее в ней солнце быстро согрело ее. Она обхватила себя руками, словно кого-то прижимала к себе. Ее щеки пылали. Она прекрасно понимала, что случившееся с ней мало походило на мечту.

Прыгая через ступеньки, она поднялась к себе, сдерживаясь, чтобы не запеть. Она решила, что нет смысла заходить в кухню. Любовь нельзя вылечить травяным отваром.

Эми сидела возле тиса и беседовала с Уагу. Она видела, как погас свет в окнах третьего этажа.

— Бедный хозяин, — вздохнула она. — Не хотелось бы оказаться на его месте. У Господа был только один ребенок, к тому же, мальчик, но как он заставил страдать отца… А если бы у него было пять дочерей?..

— Уау, уау, — едва слышно отозвался лис, забившийся вглубь норы.

— Конечно, для тебя нет никого важнее Гризельды, — сказала Эми, — но мне так жаль и Элен, мою бедную козочку…

Круглая луна, зацепившаяся за макушку тиса, молча наблюдала за происходящим.

* * *

Зеркала в спальне Гризельды светились, словно глаза друзей. В спальне Элен большое зеркало, висевшее в простенке между окнами, походило на потускневший жемчуг, который никто не носит, хотя горничная ежедневно

протирала его. Поэтому она обычно пользовалась небольшим овальным зеркалом над туалетным столиком, в котором могла видеть только свое лицо и плечи. Конечно, этого было достаточно, чтобы проверить безупречность прически и изящный изгиб шеи. Все остальное подразумевалось.

Тем не менее, этим утром Элен оглядела себя с головы до ног. Окна в комнате выходили на восток, к материку, и солнце горячими волнами заливало помещение, освещая стоявшую перед зеркалом Элен. Она пристально всматривалась в темную воду зеркала и едва различала в ней тоненькую, одетую в серое фигурку. Она с ужасом поняла, какая она незаметная, неощутимая, теряющаяся среди предметов обстановки. Она проплакала всю ночь, только урывками проваливаясь в ненадежный сон. Проснулась она, охваченная необъяснимым ужасом, но тут же все вспомнила и снова зарыдала.

Потом она встала, умылась, причесалась и оделась в повседневное платье. Казалось, вся тяжесть мира навалилась на нее. Подойдя к зеркалу, она всмотрелась в свое лицо. Она показалась себе слишком бледной и непривлекательной. Казалось, что ее голубые глаза под аккуратно причесанными каштановыми волосами, под гладким выпуклым лбом, выглядывали из заполненной отчаянием пещеры. И еще этот слишком обычный, немного курносый носик, невыразительный рот, мягкий подбородок, коротенькая шейка… Какое жалкое зрелище! А все вместе выглядело серым призраком. Было ли в ней что-нибудь такое, на что ему хотелось бы посмотреть? И что она предприняла, чтобы он полюбил ее?

Но разве любовь — не союз двух душ, двух разумов прежде всего? В этом она была уверена! Каждое произнесенное им слово сразу же находило отклик в ней и пробуждало похожие мысли. Какое при этом имели значение покрой и цвет одежды?

Она застонала, словно обиженный ребенок, и опять заплакала. Эми, вошедшая в комнату с чашкой чая на подносе, обругала ее дурехой, потом намазала тосты маслом и джемом, но так и не смогла заставить ее проглотить хотя бы кусочек.

Настал момент, когда ей полагалось спуститься в библиотеку, как это бывало ежедневно. Но если она повстречает там Амбруаза… Ведь она тут же рухнет без чувств… Но ей так необходима была эта встреча… Она все же отпила немного чая, холодного и терпкого, но не обратила на это внимания. Опустившись в кресло, она сидела понурившись, глядя на стопки лежавших на полу книг, от которых ей пришлось освободить кресло. Неожиданно кто-то положил ей на колени раскрытую книгу. Это было что-то богословское, и ее положила Элис, вернувшаяся с утренней мессы. Она что-то говорила, но Элен, хотя и слышала слова, не осознавала их смысл. Это были не слова, а пустые раковины.

Пришла Гризельда, обняла Элен, но ничего не сказала. Китти крутилась вокруг них, то и дело произнося какие-то странные фразы. Половицы скрипели под ее весом. Дверь открыла Джейн, вошла в комнату, огляделась и, испуганно попятившись, исчезла.

Элен услышала близкие шаги и вздрогнула. Она поняла, что задремала в кресле, неловко съежившись, и у нее затекла шея. Попытавшись выпрямиться, она вскрикнула от пронзившего шею импульса боли. В комнату вбежала Брижит. Остановившись перед креслом, она перевела дух и выпалила залпом:

— Мисс, мне сказал это сам сэр Джон, я зашла в библиотеку, чтобы забрать лампы, но он сказал, чтобы я оставила их, а они закрылись в библиотеке, сэр Джон и господин Амбруаз, это было еще утром, и они говорили, говорили, говорили, и он сказал мне: оставь эти лампы, сходи к мисс Элен и скажи ей, чтобы она немедленно спустилась вниз. Это все!

— Куда спуститься?

— В библиотеку, мисс. Он ждет вас. Вот так!..

— Сколько сейчас времени?

— Наверное, около одиннадцати, мисс. Мак Рот только что принес молоко. Так что…

Схватив пару ламп, находившихся в комнате, она исчезла. Элен подумала, что всю ее жизнь, всегда в одиннадцать часов, в ее комнате пахло керосином.

Когда она вошла в библиотеку, мужчины стояли рядом, повернувшись спиной к окну, и смотрели на нее с видом мрачным и немного зловещим. В окутавшем ее тумане она плохо понимала, кто из них есть кто. Она почувствовала себя жалкой, ничтожной, словно перышко чайки, уносимое ветром над морем. От нее ничего не зависело. Она была пустым местом.

Она увидела, как один из мужчин указал жестом на соседа и услышала голос отца:

— Элен, вот твой будущий муж, если ты не возражаешь…

Мир мрака мгновенно превратился в мир света, солнце вспыхнуло посреди комнаты, звон серебряных литавров послышался с горизонта. Элен покраснела, затем побледнела и почувствовала, что сейчас упадет в обморок. С неимоверным усилием она удержалась на ногах, глаза у нее затуманились слезами. Она шагнула к Амбруазу со смирением и гордостью, словно посвященная, приносящая в жертву свои волосы, символ ее девичества. Она пробормотала:

— Клянусь, я сделаю все, чтобы вы были счастливы…

И она протянула к нему руки, держа их ладонями кверху. Растроганный Амбруаз взял ее за руки, не представляя, что делать дальше. Потом слегка встряхнул их и отпустил.

Сэр Джон не сводил глаз с потрясенной дочери, не в силах отогнать одну и ту же мысль: что такого она нашла в этом Амбруазе? Потом он сказал Элен, что ее будущий муж не может отложить свой отъезд, но вернется на Сент-Альбан через три месяца для церемонии бракосочетания.

— Полагаю, что потом вы уедете в Лондон, чтобы находиться рядом с мужем.

— Обязательно, — подтвердил Амбруаз.

В Англию, в Лондон, куда угодно… Элен была готова сопровождать своего избранника на край света, куда и когда он захочет. За одни лишь сутки она умерла и возродилась к жизни. Сейчас она находилась в раю.

Сэр Джон медленно покачал головой. Он надеялся, что за три месяца к Элен вернется ее обычная уравновешенность, и ее мнение изменится. Он хотел этого, надеялся, но не был слишком уверен.

На следующее утро Амбруаз покинул Сент-Альбан, выжатый, как лимон, передозировкой эмоций.

* * *

Остров превратился в корабль с грузом счастья. Лес, воодушевленный солнцем и дождями, буйно разрастался, благодаря щедрым весенним сокам. Деревья отдавались ладоням ветра, словно влюбленные девушки. Ветер ласкал их, обнимал, мчался дальше, возвращался, трепал и оставлял взбудораженными. Над округлыми выступами зеленого массива острием стрелы поднимался гигантский тис. Птенцы, только что вылупившиеся в гнездах, жадно раскрывали клювики в ожидании пищи, неимоверное количество цветов ежечасно рождалось и умирало, и их аромат смешивался с зеленым запахом листьев, разорванных пальцами ветра. Постоянно менявшиеся блики света струились по зелени, словно цветные прожилки в живом зеленом мраморе.

Фантастический танец пыльцы и насекомых срывал все запоры с цветов, пыльца внедрялась в рыльца пестиков, и в цветах начиналась последовательность волшебных изменений, торжественным финалом которых могло стать новое дерево.

Каждое утро Элис возвращалась домой после общения с Христом, скользя над зелеными равнинами на пьяном велосипеде, готовом взлететь к небесам. Элен мечтала о радостной жизни в Англии, где она будет неотступно находиться рядом с Амбруазом. Мать собирала для нее приданое, служанки украшали вышивкой простыни и наволочки. Гризельда узнавала Шауна после того, как познала любовь. Ардан, в жилах которого буйно бурлила весенняя кровь, носился по газонам и аллеям, валялся на траве кверху брюхом, извивался и кувыркался, не понимая, что с ним происходит. Вечерами он подолгу сидел, подняв морду к луне, и негромко подвывал.

Сэр Джон, ничего не понимавший в происходящем вокруг, хорошо ощущал бурлящую в доме радость и растворялся в ней. Он ни о чем не беспокоился и был прав, потому что жизнь на Сент-Альбане просто вернулась к естественному равновесию после нескольких экстравагантных кульбитов.

А вот леди Гарриэтта не чувствовала ничего особенного. Она видела, что Гризельда выглядит прекрасно, радовалась счастью Элен, иногда вздыхала, думая о расставании с Элис, но все же не сомневалась в ее безоблачном будущем. Больше всего ее волновало будущее Джейн, возможно, потому, что она была младшенькой, и ее детское личико все еще отчетливо сохранялось в материнской памяти.

На протяжении дня она то и дело интересовалась: «Где Джейн? Что она сейчас делает?» И при малейшем намеке на безделье тут же находила ей очередное срочное задание. Она более старательно, чем других дочерей, приобщала ее к бесчисленным обязанностям хозяйки дома, учила поведению как в повседневной жизни, так и в случае столкновения с неожиданным. Джейн с удовольствием усваивала уроки матери, уже предвкушая, как она будет воспитывать своих будущих дочерей. Но когда она вспоминала подслушанный разговор тетки Августы с отцом, она задумывалась, благодаря какому чуду на острове может появиться кандидат в мужья для нее. Часто при этом ее охватывало отчаяние, и она зарывалась лицом в подушку, по которой отчаянно колотила кулачками.

— Моя ласточка, — говорила ей Эми. — Сходи набери цветков акации, я научу тебя, как печь вкусные пончики, добавляя в тесто цветки. Только бери те, что раскрылись, но еще не начали увядать. Принюхивайся, и ты поймешь, какие годятся, а какие нет.

И успокоившаяся Джейн занималась пончиками, не забывая старательно проверять то, что доставала из печи.

Китти, девушка полная и весьма увесистая, энергично крутила педали и без устали носилась по дорогам и в дождь, и в солнце, привязав на багажнике корзинку с двумя крышками. Она всегда находила нуждавшегося в помощи бедолагу, тут же бросалась на выручку, обливаясь потом, теряя по дороге гребни из волос, поправляя на ходу растрепавшиеся локоны и совершенно не беспокоясь о том, как она выглядела. Она никогда не унывала и всегда была готова помочь нуждающимся.

Выкрашенное в небесный цвет и сверкающее медными деталями насекомое на сияющих, словно солнце, колесах, уносило в облаках волшебного тумана Шауна и Гризельду в тайные убежища среди цветов и озер. Продолжая совместные путешествия, они останавливались на зеленых лужайках, смотрели друг на друга, говорили и слушали. Шаун раскрывал перед девушкой двери в реальный мир, почти такой же сказочный, как и ее мечты. Он рассказывал об Италии, о Франции и Германии, он много говорил об Ирландии, о которой, как выяснила Гризельда, она

ничего не знала. Она ничуть не удивлялась уму юноши, не соответствовавшему его положению, его страстной увлеченности справедливостью. Ведь все это она давно прочитала в его глазах. Дни без Шауна проходили в ожидании дней с ним. О будущем она не задумывалась. А он не заводил разговоры на эту тему.

Таким образом, весенний остров, населенный цветами, птицами и девушками, продолжал плавание к другому краю времени. На его календаре сменялись часы и дни жизни пчел, деревьев и камней. Уагу, спрятавшийся в своей норе под корнями тиса, дремал, свернувшись клубком и уткнувшись носом в пушистый хвост с белым кончиком.

* * *

Шаун протянул Гризельде на раскрытой ладони маленького изумрудно-зеленого лягушонка с черными бусинками глаз. Он был не больше цветка фиалки. Когда Гризельда осторожно протянула к нему палец, лягушонок прыгнул так неожиданно, что девушка вскрикнула. Шаун засмеялся и обнял ее, но сразу же отпустил, почувствовав, как она напряглась. Оказавшись в кольце чужих рук, она всегда чувствовала себя пленницей, начинала задыхаться и тут же старалась вырваться на свободу. Ей было хорошо с Шауном, возможно, только потому, что счастье позволяло ей забывать, насколько она была зависима от него. Она с удовольствием слушала Шауна, сидя рядом, смотрела, как он говорит, двигается и смеется. Но не выносила ощущения его рук на себе, за исключением тех моментов, когда его ласки предшествовали физической близости, воспринимавшейся не как плен, а как абсолютная свобода.

Шауну нравилось чувствовать на своем плече ее головку, ощущать ее расслабленной и немного тревожной, подобно нуждающемуся в защите ребенку. Но если она, легкая и счастливая, действительно могла подолгу лежать на траве рядом с близким человеком, то сразу же напрягалась и становилась чужой, едва только он пытался прикоснуться к ней. Эти прикосновения она воспринимала как желание подчинить ее, сделать послушной чужой воле. Она тут же уклонялась от его рук, вскакивала и отходила от него на несколько шагов. При этом она не переставала улыбаться и дружелюбно болтать с ним, хотя и продолжала оставаться настороже. Единорог способен любить спутника, но не потерпит всадника.

Шаун обнаружил сбежавшего лягушонка на листе дикого цикория и прикоснулся к нему, чтобы спровоцировать очередной прыжок. Тот, прыгнув, угодил в ручеек. Шаун ополоснул руки, меланхолично насвистывая ритмичную мелодию, чем-то похожую на медленный танец. Блаженствовавшая на траве Гризельда смотрела на проплывавшие над ней облака, и ей представлялось, что мелодия заставляет их то сливаться, то снова расходиться. Ее волосы цвета черного дерева волнами расплескались по зеленой траве.

— Какая красивая мелодия, — сказала она. — Что это?

— Это гэльская баллада. Очень старая.

Он сел у нее в изголовье так, чтобы она не видела его лица, продолжая негромко насвистывать. Мелодия звучала то сурово и мрачно, то жалобно и детски беспомощно; казалось, она исходила не из глубин его души, а вырывалась из земных недр. Тем не менее она оставалась танцевальной; короткие перерывы соответствовали моментам, когда танцующие останавливались, чтобы взглянуть друг на друга. Протянуть партнеру руки, сблизиться и сразу же снова разойтись, повернуться друг к другу спиной, снова повернуться и опять обменяться взглядами.

Звучание и ритм мелодии захватили Гризельду, очаровали ее, вызвав дрожь наслаждения. Она прошептала:

— Как это красиво… Можно подумать, что под эту мелодию танцует сам мир… А о чем говорится в песне?

Помолчав, Шаун ответил:

— Это обычная любовная баллада…

Еще немного помолчав, он принялся переводить:

— Ты для меня луна и ветер, источник света.
Твой взгляд — ласка для моих глаз.
Я задыхаюсь, когда тебя нет рядом
И могу умереть без тебя.
Но когда я пытаюсь обнять тебя,
Ты выскальзываешь из моих объятий,
Ты убегаешь и исчезаешь,
И я не могу схватить луч света.
Он падает на меня, но остается далеким,
Ты смотришь на меня, но тебе нет дела
До меня…

Гризельда резко приподнялась на коленях и повернулась к Шауну. Ее волосы разлетелись в стороны, упав на грудь и спину. Она закричала:

— Это неправда!

Шаун смотрел на нее с нежностью и грустью. Он знал, что даже в момент их наибольшей близости ему достаточно протянуть к ней руку, как она тут же отшатнется от него.

Гризельда покачала головой и негромко сказала:

— Но ведь я не принадлежу вам… Я всего лишь нахожусь рядом с вами…

Он не успел ответить. За невысоким холмом к северу от них раздался яростный лай собачьей своры.

— Это леди Августа, — воскликнул Шаун, вскакивая на ноги.

Подхватив куртку и фуражку, он кинулся к машине, стоявшей на дороге в сотне метров от них. Гризельда поспешно завернулась в зеленый плащ, собрала волосы в пучок и спрятала их под капюшоном. Выскочившая из-за кустов лиса, увидев человека, резко метнулась в сторону и исчезла. Мчавшиеся за лисой собаки одним прыжком перелетали через ручей, продолжая преследовать зверя. Появившаяся следом за ними леди Августа в красной амазонке неслась, пригнувшись к шее гнедой лошади, и непрерывно кричала, то ругая, то подбадривая собак. Она вихрем пронеслась мимо, успев заметить Шауна, склонившегося над мотором с гаечным ключом в руке, и сидевшую возле ручья Гризельду. Та улыбнулась тетке и помахала ей рукой.

Августе показалось, что девушка выглядит гораздо лучше, чем в первые дни после болезни, но ее мысли тут же вернулись к лисе, которая устремилась к болоту, где она могла стать недосягаемой для преследователей, и она перестала думать о племяннице.

Гризельда медленно вернулась к машине и забралась на сиденье. Шаун запустил двигатель.

По дороге к дому они почти не разговаривали, если не считать нескольких банальных фраз. Встреча с Августой показала им, насколько неосмотрительно они вели себя. Впрочем, они давно догадывались об этом, хотя никогда не заводили разговор на эту тему.

* * *

Подразделение, прибывшее из Белфаста для усиления местной полиции, доставило с собой походное жилье, разборные деревянные бараки. Строения были собраны на вершине холма примерно посередине между

Муллиганом и Донеголом. Один барак предназначался для полицейских, еще один — для капитана Макмиллана. Три отдельных строения предназначались для лошадей и снаряжения.

Сразу же после обустройства прибывшего подкрепления на месте фении напали ночью на полицейских и подожгли бараки. Во время короткой яростной стычки застигнутые врасплох полицейские потеряли двух человек убитыми и еще семерых ранеными. Наверное, потери были и среди нападавших, но они при отступлении унесли с собой своих убитых и раненых.

— Я сегодня встретила Гризельду и упустила лису, — сообщила мужу леди Августа.

— Вот как, — рассеянно отозвался сэр Лайонель. Эти слова были удобной формой ответа на любое обращение к нему жены, так как создавалось впечатление, будто он слышал, что она ему сказала. Кроме того, в ней содержалась в некотором роде его точка зрения на обсуждаемый вопрос.

Леди Августа бросила хлыст и шляпу на кресло и решительными шагами направилась к небольшому круглому столику, на котором муж держал трубки, табак и бутылку с портвейном. В этот момент он просматривал только что прибывший из Лондона номер «Панча»[1] за прошлый месяц. Он вряд ли мог с уверенностью утверждать, что читает этот журнал, так как в нем для него не было совершенно ничего интересного.

Завладев бутылкой, леди Августа пошла к буфету за стаканом. Половицы, хотя и прикрытые ковром, жалобно стонали под ее телом. Плеснув себе немного портвейна, она залпом опорожнила его. Испустив удовлетворенное ржание, она снова наполнила стакан. Сэр Лайонель осторожно выбил трубку о край пепельницы.

— Перестаньте же, вы так ужасно стучите, — недовольно буркнула леди Августа. — Малышка выглядит уже гораздо лучше… И это благодаря кому? Только благодаря мне! Если бы бедняжка надеялась на своих родителей, она до сих пор плесневела бы в своей комнате. Может быть, она даже умерла бы!.. Какая все же удобная вещь эта механическая повозка!.. Будете пить портвейн?

— Да, пожалуй… — пробормотал сэр Лайонель.

Половицы снова заскрипели под ногами леди Августы. Она поставила бутылку на столик.

— Вы должны заказать еще один комплект надувных колес для машины. Они очень быстро изнашиваются. У нас сейчас всего один запасной комплект. Вчера, когда мы ездили в Донегол, мы прокололи колесо. У Шауна ушло полчаса на замену! Он сказал, что гораздо практичнее иметь полностью готовое запасное колесо, тогда на замену ушло бы гораздо меньше времени.

— Вот как?.. Пожалуй… — отозвался сэр Лайонель. Он взял набитую трубку и закурил, закрыв глаза от удовольствия. Он почти не слышал, что сказала ему жена. Открыв глаза, он увидел, что она внимательно смотрит на него, и удивился, что она всегда одна и та же и что в ней никогда ничего не меняется.

— Ладно, ладно, — пробормотал он. — Я подумаю… Вы знаете, дорогая, что капитан Макмиллан, начальник отряда Ирландской Королевской полиции, прибывшего из Белфаста, это сын племянника нашего кузена Вильяма Макмиллана из Глазго?

[1] «Панч» (англ. «Punch») — британский еженедельный журнал юмора и сатиры, получивший название по имени Панча, популярного сатирического кукольного персонажа. Издавался с 1841 по 1992 и с 1996 по 2002 годы.

— Вашего кузена, — уточнила леди Августа. — Нет, я этого не знала…. Кстати, фении неплохо поджарили им задницы этой ночью… — И она снова заржала. Она считала, что шутка была очень удачной.

— Гм, — произнес сэр Лайонель. — Капитан приходил ко мне сегодня после полудня. Он не знает, как разместить своих людей. Он спрашивал, не сможет ли он временно поселить их у нас в одном из свободных сараев?

— Что? Он сошел с ума! Да на нас после этого поднимется все местное население!

— Я указал ему на это обстоятельство, — сказал сэр Лайонель. — Я заметил, что сараи крайне дряхлые, их давно никто не убирал, и они завалены всяким хламом. Но он ответил, что его люди приведут их в порядок.

— Я этого не хочу! — крикнула леди Августа. — Вы должны отказать ему!

— Разумеется, я не дал своего согласия, — пожал плечами сэр Лайонель. — Это вам решать… Но капитан подчеркнул, что он обращается к нам с просьбой только потому, что он наш родственник. Иначе он просто реквизировал бы наши сараи…

— Проклятый шотландец! — рявкнула леди Августа. — Что он о себе возомнил!

— Правительство… Разумеется, правительство будет оплачивать нам наем помещения… Вообще-то, это старые сараи, нам они не нужны… Может быть, вас устроит небольшая прибыль?

— Государство заплатит нам лет через шесть, да еще сдерет приличный налог!

— Это возможно… Но я думаю, что мы не можем помешать капитану обосноваться в нашем сарае… Может быть, вы воспользуетесь присутствием полицейских сил, чтобы добиться выселения вашего фермера с участка Трех Прудов, который не платит за аренду уже года полтора…

— Я позавчера уволила его. Он освободит участок на праздник Всех Святых. Для этого мне не нужна помощь вооруженных сил!

— Конечно!.. Но я не уверен, что капитан примет во внимание ваш отказ… Он любезно предупредил, что сегодня же зайдет за вашим ответом…

— Прекрасно! Пусть приходит! Он получит мой ответ!

Не этому ничтожному шотландскому офицеришке напугать ее. Решив, что на этом инцидент исчерпан, она сообщила мужу, что портвейн слишком сладкий. По ее мнению, предыдущая партия была гораздо лучше. Потом она напомнила сэру Лайонелю о надувных колесах и вернулась к своей главной заботе, к здоровью племянниц, обреченных остаться старыми девами или совершать невероятные глупости. Пример этому — печальная судьба, которая ждет Элис, если только она не вмешается. Она чувствует себя обязанной влиять на жизнь семейства и не собирается отказываться от этой обязанности…

— Их отец — настоящий преступник, а леди Гарриэтта слишком мягкое существо. Девочки ничего не умеют делать и занимаются глупостями, какие только взбредут им в голову. Их ничему никогда не учили, даже игре на рояле!.. Зачем только они приволокли сюда это чудовище, что стоит у них в салоне! Наверное, оно занимало добрую половину грузового судна…

— Гарриэтта иногда играет на рояле…

— Если это можно назвать игрой…

— Гм… А разве наш Генри не интересовался одной из дочерей Гарриэтты, когда ему было пятнадцать лет?

— Да, действительно, это была Гризельда!.. Но ему тогда было не пятнадцать, а восемнадцать… И она, что получилось очень кстати, вежливо

послала его подальше… Хорошо еще, что он поступил в Оксфорд… А вот малышке Элен повезло встретить этого бородатого… Вот что, я устрою бал!..

— Какой бал, дорогая?

— Когда у тебя есть незамужние дочери, нужно устроить бал…

— А вы не думаете, что это должны делать Джон и Гарриэтта?.. В конце концов, это же не наши дочери…

— Если бы они были нашими дочерями, то их воспитали бы по-другому!.. Я была бы рада иметь дочерей, которых нужно воспитать!.. Но каждый делает то, что может…

И леди Августа адресовала мужу взгляд, полный упрека и разочарования, от которого он защитился облаком табачного дыма. Затем она снова воспользовалась бутылкой портвейна.

— Мы пригласим всех неженатых молодых людей нашей округи… Конечно, для тех, кто попадется в ловушку, это будет трагедией… Но тем хуже для них… Я должна заботиться о своих племянницах…

Сэр Лайонель поинтересовался с невинным видом:

— И сколько неженатых молодых людей вы рассчитываете пригласить?

Открыв рот, леди Августа замолчала, потом задумалась. Она мысленно перебрала все знакомства… Да, изобилия холостяков в округе не наблюдалось… И те, что имелись, были с рождения взяты на учет матерями, имевшими дочерей… Конечно, кого-то можно было найти… Но они, как правило, находились в Англии, в университетах, так что нужно было дождаться каникул… А в этом случае здесь окажется и Генри… Это слишком опасно…

— Он давно поумнел, — успокоил жену сэр Лайонель. — Я разговаривал с ним на Рождество… Он разбирается в политике… А что если мы вспомним про Росса Батерфорда?

— Старый Баттер? Да ему уже лет шестьдесят!

— Но у него две тысячи гектаров, — напомнил сэр Лайонель. — И он вдовец…

* * *

Появился капитан. И он был не один. За неторопливо трусившим всадником тянулся весь его отряд. Сидевшие на английских лошадях полицейские отличались от местных цветом своих шлемов, по форме напоминавших половинки куриного яйца: они были не голубыми, а черными.

Капитан Макмиллан, высокий мужчина сорока двух лет с пышными усами морковного цвета, казался слишком крупным седоком для своей лошадки.

Леди Августа передала ему через служанку отказ разместить его людей. Капитан невозмутимо распорядился занять свободные сараи. Рассвирепевшая леди Августа вышла к нему сама, чтобы посоветовать убираться. Капитан показал ей бумагу, позволявшую ему реквизировать от имени Ее Величества любое строение, территорию, повозки, лошадей, инструменты и людей, которые он сочтет необходимыми.

Леди Августа заявила, что пожалуется королеве. Капитан с одобрением воспринял эту идею. Останавливать размещение полицейских он не стал.

Для леди Августы нашлось одно утешение: когда-нибудь полицейские переселятся в новые бараки, а ей останутся приведенные в порядок сараи Гринхолла.

Возможно, капитан рассчитывал, что ему предложат комнату в особняке, но оказанный ему прием разрушил эти надежды. Конечно, капитан

мог потребовать комнату от имени королевы, но он все же предпочел спать вместе с рядовыми полицейскими на слежавшейся за много лет соломе, населенной множеством насекомых, жадно набросившихся на людей и не позволявших им уснуть. В два часа ночи он поднял весь личный состав, и через полчаса отряд направился на задание. Весь день они, используя местных полицейских, обыскивали все крестьянские лачуги подряд и спрятанные среди лесов и торфяников убежища. Они обнаружили трех раненых фениев, сожгли приютившие их хижины, перестреляли скот и собак и доставили хозяев, включая малолетних детей, в тюрьму Донегола. Один из раненых по имени Конан Конарок скончался по дороге, и его тело бросили в болото.

Вечером полицейские вернулись в Гринхолл, окруженные аурой ужаса и молчания.

Выведенный из себя безжалостно грызущими его насекомыми, капитан поднялся рано утром, поскакал к ближайшему озеру, разделся и бросился в воду. Когда он плавал, кто-то крикнул ему из кустов:

— Бог проклянет меня, если я выстрелю в голого человека! Выходите из воды и оденьтесь!

Капитан, обругавший себя за неосторожность, добрался до своей одежды, валявшейся на берегу. Схватив револьвер, он выстрелил по кустам.

— В таком виде вы напоминаете мне мою свинью! — насмешливо ответили ему из кустов. — Наденьте хотя бы штаны!

Покраснев от ярости и стыда до корней волос, капитан бросил револьвер, поспешно напялил штаны и снова принялся стрелять по кустам.

— Это вам за Конана Конарока! — сообщили кусты.

Настигшая капитана Макмиллана пуля вошла ему в левое плечо, и так как он стрелял, лежа на земле, отклонилась от ключицы, пробила легкое и, вращаясь, превратила в фарш остальные внутренности.

Он только успел подумать: «Мама… кажется, я умираю…» И действительно умер.

Капитана заменил лейтенант Фергюсон, полицейский из Донегола. Прослужив здесь три года, он уже неплохо разбирался в обстановке. Проводимые им репрессии отличались массовостью и жестокостью. Тюрьма в Донеголе быстро заполнилась под завязку. Ему удалось найти два склада оружия; предупрежденный доносчиком, он захватил судно, доставлявшее неизвестно откуда оружие и боеприпасы для фениев. Команда суденышка была расстреляна, оружие уничтожено.

Лишенные снаряжения повстанцы были вынуждены свернуть большинство операций. Светлые летние ночи стали почти спокойными. Ходили слухи, что предводитель фениев отправился в Америку за деньгами и оружием.

* * *

Посаженный одновременно со строительством дома плющ опутал его западную стену густым покрывалом. Гризельда, будучи ребенком, часто использовала его, чтобы спускаться в сад ранним утром, когда все в доме еще спали. Босая, непричесанная, она использовала узловатые плети плюща как естественную лестницу. Оказавшись за несколько секунд в саду, она лакомилась только что созревшими ягодами, после чего с кошачьей ловкостью карабкалась к своему окну и снова засыпала в еще теплой постели.

Этой ночью она воспользовалась детской привычкой, чтобы встретиться с Шауном. Она напялила похищенное у Молли черное платье служанки, конечно, слишком широкое и короткое для нее, что, впрочем, только

облегчило ей спуск. Волосы, собранные на ночь в пучок, тяжелой массой болтались у нее на спине. Она свернула их, закрепила заколками и накрыла платком, частично закрывавшим также лицо. Дождавшись поглотившего луну большого облака, она шагнула через подоконник и тенью скользнула вниз.

Шаун ожидал ее у подножья башенки так называемого «американского порта». Начался прилив, но море все еще плескалось далеко внизу. Им пришлось пройти по влажным водорослям, расползавшимся под ногами, чтобы добраться до лодки, покачивавшейся на мелкой воде. Шаун помог Гризельде забраться в лодку, оттолкнул ее от берега и в последний момент запрыгнул в нее сам. Они отошли от берега на веслах, затем Шаун поднял на мачте небольшой кусок полотна; этот жалкий парус, захвативший немного ветра, повлек их в открытое море.

Шаун сел на мокрую доску рядом с Гризельдой и перехватил доверенный ей румпель. Ночь была очень светлой, даже когда луна скрывалась за облаками. Они плыли точно на запад. В узком проливе между островами Колоколен и Соляным сильное встречное течение почти остановило их, но Шаун, оказавшийся не только хорошим механиком, но и весьма опытным моряком, справился с течением, после чего перед ними открылось освещенное луной безбрежное пространство волнующихся вод, пустынное вплоть до берегов Америки.

Гризельда, забывшая захватить с собой плащ, дрожала от холода. Заметивший это Шаун снял куртку и набросил ее на плечи девушки. Гризельде хотелось смеяться и в то же время плакать. Поступить так, как Шаун, мог и принц, и ломовой извозчик; она мечтала о капитане великолепного парусника, но очутилась вместе с шофером на вонючей рыбацкой лодке. Она переживала карикатуру на свои мечты; тем не менее, это было настоящее приключение с налетом таинственности.

Шаун отклонился к югу, держа курс на выступавший из воды огромный белый призрак. Это был остров Белый, самый западный остров в архипелаге Сент-Альбан. Эми как-то рассказывала Гризельде, что остров внезапно поднялся из воды, словно вынырнувшая на поверхность моря обнаженная женщина, в тот день, когда королева Маав, пришедшая в Ирландию во главе племен древних кельтов, погибла в схватке с вторгшимися из-за моря завоевателями. Она была похоронена на острове, и с тех пор сложенная из камней пирамида охраняла морскую границу Ирландии. За прошедшие столетия ни одно растение, будь то дерево, цветок, травинка или мох, не смогло вырасти на белой скале. Только чайки непрерывно кружились над островом, венчая его своей белизной и своими криками.

Гризельда однажды принялась расспрашивать отца об этом острове. Сэр Джон знал, что на его вершине воздвигнут огромный тур из камней, вероятно, отмечающий захоронение какого-то вождя. Его возведение относилось к мегалитической эпохе, что, конечно, нельзя было считать точной датировкой. Сооружению могло быть как две, так и четыре тысячи лет, если не больше. Возможно, он был того же возраста, что и дольмен на острове Сент-Альбан, и был возведен теми же древними строителями.

Любопытно, что на Белом острове никогда не производились раскопки. Каждый раз, когда археологи проявляли к нему интерес, им приходилось отменять свои планы, потому что они не могли найти рабочих. На самом острове никто не жил, а рыбаки с соседних островов отказывались по самым разным причинам помогать археологам. Когда задумаешься об этом, многое представляется странным… Что известно о королеве Маав? В общем-то ничего… В разных мифах можно найти упоминания об этой ирландской королеве, но все они рассказывают разное об этой древней кельтской воительнице… А ее имя… Маав… Оно похоже на имя

египетской богини Маат. Считалось, что она была дочерью солнца и символизировала дыхание жизни. Известна еще Мааб, королева фей в англосаксонской мифологии… Возможно также, что это не имя, а слово «мав», название чайки в древнем германском языке…

Завороженная волшебством древних мифов, Гризельда некоторое время молчала. Потом прошептала:

— Морские птицы… Феи… Дыхание жизни… Это все об одном и том же…

Сэр Джон, с удивлением посмотревший на дочь, улыбнулся:

— Да, может быть… Есть и другие аналогии. Например, одним из имен королевы Маав было Майяв, что заставляет вспомнить про Майю, дочь Атласа[1]. Ее полюбил Зевс, от которого у нее был сын Гермес[2]. Иногда поклонявшиеся Гермесу изображали бога в виде груды камней…

— То есть тура, как на Белом острове?

— Да… Если только Майав — это не индийская Майя, про которую ничего точно не известно… Возможно, так обозначалось Сотворение, Мироздание… Кажется, это имя относится ко всему сущему, в то же время являющемуся иллюзией… Как множество одинаковых и в то же время разных морских волн… Может быть также, что это искаженное Мария — мать и море…

* * *

О сборище в ночь на 7 июля Гризельда узнала от Шауна и сразу же потребовала, чтобы он взял ее с собой. Именно туда и направлялась сейчас их лодка. Гризельда видела множество светлячков, со всех сторон направляющихся к Белому острову. Всмотревшись внимательнее, она могла разглядеть даже лодки, на которых горели фонари. На некоторых суденышках был поднят парус, другие же двигались на веслах. Море было спокойным. Легкий ночной бриз заставлял шуршать их парус, словно тот был из шелка. Гризельда не чувствовала дуновение ветерка на своем лице. Она слышала, как нос их лодки разрезает воду, с журчаньем скользившую вдоль бортов. Опустив в воду руку, она удивилась, что та оказалась очень теплой.

Сохранившаяся веками традиция требовала, чтобы в ночь на 7 июля отмечалась годовщина великой битвы королевы Маав, ее победы и ее смерти. Когда-то племя воинов и земледельцев оплакивало свою королеву светлой летней ночью. Прошло время, менялись короли и королевы, другие нашествия обрушивалась на Ирландию, возникали новые религии и языки, но в одну и ту же ночь ирландцы, жители страны земли и воды, собирались на Белом острове, чтобы почтить сохранившуюся за прошедшие тысячелетия память об отваге предков, преодолевшей смерть.

Светлячки медленно ползли вверх по скале. Шаун и Гризельда тоже стали подниматься по тропинке, протоптанной за тысячи лет миллионами ног. Каждый участник процессии нес фонарь, который опускал на землю у подножья тура со стороны, обращенной к океану. Свой фонарь добавил к ним и Шаун. Возник ореол золотистого сияния, игравшего, переливаясь, на основании каменной пирамиды. Собравшиеся вокруг тура жизнерадостно

[1] Атлас (Атлант) — в греческой мифологии сын титана Иапета и нимфы Климены, поддерживавший столбы, на которых покоится небесный свод. Согласно Гесиоду, он был одним из титанов, восставших против Зевса, за что и был обречен вечно поддерживать небеса. Иногда скульпторы изображали А. держащим на плечах земной шар.

[2] Бог плодородия, покровитель музыки, посланник богов. Имя происходит от слова «герма» (*греч.*), так назывались камни, служившие межевыми знаками.

перекликались, приветствуя друг друга, иногда слышался смех. Чувствовалось, что люди пришли сюда, чтобы увидеться, поддержать друг друга в дружбе и радости, а не для траурной церемонии. Не каждый из присутствующих мог бывать здесь ежегодно; тем радостней становилась встреча со старыми друзьями через несколько лет. Местных на острове было немного; преобладали паломники со всех концов Ирландии; некоторым пришлось добираться сюда чуть ли не неделю. Опасаясь случайно встретиться вместе с Гризельдой с кем-нибудь из обитателей Гринхолла или Сент-Альбана, Шаун старался держаться в стороне от тура. Гризельда, боявшаяся потерять его, цеплялась за своего спутника обеими руками.

Освещенность была достаточной, чтобы не натыкаться друг на друга в темноте, и в то же время все вокруг расплывалось в пепельном свете луны. Шаун, радовавшийся необычной близости с Гризельдой, обвел ее пару раз вокруг тура. Она с удивлением ощущала под ногами гладкую, едва ли не полированную поверхность скалы. Воздух был наполнен запахом нагретого камня и морских водорослей; рука Шауна казалась ей горячей; в толпе смутно различимых, похожих на привидения ирландцев раздавался смех, слышались дружеские восклицания. Гризельде казалось, что вокруг нее давно знакомые ей люди и что все хорошо знают ее.

Гризельду удивили размеры тура. Гряда из валунов имела метров пятьдесят в ширину и протянулась не меньше чем на пару сотен метров. Высотой она была в три человеческих роста. На строительство тура ушло невероятное количество камней размером от головы ребенка до лошадиной головы. Казалось, что камни нагромождены беспорядочно, но тем не менее, ни время, ни погода не смогли повредить сооружение, выглядевшее как копье, направленное на море.

— Камни нужно было доставлять сюда на лодках. Потребовалось множество лодок и тысячи строителей… Говорят, что Она стоит внутри груды камней, на самом острие копья, с мечом в руке, и за ней толпятся лучшие воины, как павшие в сражении, так и добровольно последовавшие за своей королевой…

На вершине тура, обращенной к морю, появился фонарь. Его держала женщина, силуэт которой нечетко вырисовывался в неуверенном свете луны, то и дело проглядывающей между облаками. Смех и разговоры стихли. Все повернулись к женщине. Гризельда видела повсюду бледные пятна лиц, поднятых к небу. Многие стояли, другие сидели на земле. Трудно было оценить, сколько людей собралось на острове. Наверное, несколько сотен, может быть, тысяча. Лица детей, казалось, светились в призрачном свете луны.

Женщина на вершине тура опустила фонарь на камни перед собой, широко развела руки в стороны и запела. Вообще-то, это была не настоящая песня, а скорее ритмичное повторение одной и той же последовательности нескольких нот. Голос женщины казался суровым, резким, словно звуки исходили не из человеческих уст, а из камня. В то же время, он был полон жизни и свежести, словно это была песня леса. Вслушиваясь в пение, Гризельда закрыла глаза и увидела перед собой не груду валунов, а круг из вертикально стоящих камней на острове Сент-Альбан. Казалось, их только что обтесали и поставили вертикально в виде круга. На лежавшей плите был выбит знак, напоминавший молнию с несколько закругленными углами. Изображение молнии упиралось в ствол тиса, оказавшегося в центре круга камней, и под ним находилась нора, в которой спал рыжий лис с белым хвостом. Раздался удар грома, такой неожиданный, что Гризельда подскочила и открыла глаза. Отзываясь на глас свыше, все вокруг нее громко запели. Смотревший на женщину на вершине тура Шаун тоже пел.

Женщина плавно сводила и разводила руки, как будто чайка взмахивала крыльями, но делала это медленно, словно во сне.

Над ней простиралось множество быстро плывущих в сторону материка светлых и темных облаков, то распадавшихся, то сливавшихся в сплошную массу. Женщина на вершине тура казалась Гризельде стоящим на мостике капитаном каменного корабля, и у нее закружилась голова. Все вокруг выглядело колеблющимся, изменчивым, облака уносили ее с собой по волнам песни вместе с королевой Маав и ее воинами, и этот полет, продолжавшийся две тысячи лет, увлекал ее с собой к другим берегам, к другим звездам, к иной жизни и, возможно, к смерти.

Прямо над островом в облачной пелене возникла круглая, быстро расширявшаяся дыра, и в ней на фоне темного неба медленно плыла луна. В ее свете возникли тысячи небольших белых парусов, несущихся со всех сторон к острову. Это были чайки, постоянные обитательницы острова. Их стая образовала в небе над островом кольцо, в центре которого находилась луна, и они с криком кружились вокруг нее. Их крики создавали странный аккомпанемент для песни, которую пела толпа.

Женщина резко вскинула руки к небу, завершая песню на протяжной ноте, все более и более высокой, продолжавшейся невыносимо долго. Толпа и чайки затихли, и теперь был слышен только нескончаемый пронзительный вопль, поднимавшийся над скалой и морем и уносивший с собой к небу все сущее. Гризельда, непроизвольно напрягая все мышцы, тоже тянулась к небу, почти не ощущая землю под ногами и опираясь только кончиками пальцев руки на плечо Шауна.

Вибрирующий звук внезапно оборвался. В наступившей мертвой тишине слышался только бархатный шорох тысяч птичьих крыльев. Затем раздались крики толпы, крики радости, облегчения, благодарности, восторга.

Луна опять спряталась за облаками. Женщина на вершине тура подобрала свой фонарь и спустилась с каменной гряды.

Шаун взглянул на Гризельду, и та улыбнулась ему. Потом она обхватила его руками и прижалась к его груди. Она ощущала этого мужчину удивительно близким ей человеком. Во время закончившейся церемонии их объединило что-то более прочное, чем любовь, и она была уверена, что ей стало доступно нечто доселе неизвестное, что невозможно выразить словами, но что делало события, предметы и людей, весь окружающий ее мир более близким, более понятным. Все находилось в связи: дерево превращалось в языки огня над скалой, ветер становился твердью, а скала — текучей. Ребенок превращался в тысячелетнего старца, а старик — в новорожденного. Птица становилась лисой, поедавшей эту птицу.

Она спросила:

— Это была гэльская песня?

— Нет, она гораздо древнее…

— На каком она была языке?

— Этого никто не знает…

— Но о чем говорилось в ней?

— Теперь это неизвестно… Но ее может петь любой пришедший сюда, независимо от возраста, лишь бы он уже научился говорить…

Толпившиеся вокруг них люди подбирали свои фонари и объединялись в группы, в составе которых они приплыли на остров.

— Теперь они будут есть и пить, потом станут петь и танцевать. А нам пора возвращаться…

Светало. Чайки продолжали кружиться над островом. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, стая чаек свернулась в плотный вихрь, быстро вытянувшийся к зениту. Из отплывшей в сторону лодки Гризельда увидела,

«Всемирная литература» в «Нёмане»

что Белый остров удивительно походил на лежащего единорога, а чайки над ним образовали тонкий белый рог, острие которого лучи восходящего солнца окрасили в розовый цвет.

* * *

Бросившаяся в постель Гризельда ощущала себя легкой, словно лепесток цветка. Она была невесомой. Она незаметно соскользнула в сон, точнее, на поверхность сна, потому что была такой легкой, что без усилий держалась на поверхности неосязаемого.

Открыв глаза, она увидела мать, стоявшую у ее изголовья.

Обеспокоенная отсутствием Гризельды, хотя время уже приближалось к полудню, леди Гарриэтта спросила о ней у Молли, которая ответила:

— Она спит…

В половине первого леди Гарриэтта поднялась в комнату дочери. Она раздвинула шторы и, склонившись нал Гризельдой, внимательно всмотрелась в ее лицо. Дочь показалась ей вполне здоровой.

Когда Гризельда проснулась, разбуженная дневным светом, леди Гарриэтта с тревогой спросила:

— Надеюсь, ты не заболела снова?

Гризельда почувствовала прилив любви к матери, всегда находившейся в стороне, ничего не видевшей и ничего не понимавшей, тем более что она не хотела ничего видеть и понимать, но которая умела тихо и незаметно облегчать жизнь всем членам семейства. Она поднялась на коленях, обняла мать, прижалась к ней и громко, по-детски, чмокнула ее в щеку. Потом громко сказала:

— Мама, я люблю вас!

Это было так неожиданно, так неуместно, что леди Гарриэтта покраснела. Потом она все же улыбнулась и почувствовала себя счастливой. Главное, она убедилась, что дочь здорова.

— Прекрасно! Я вижу, что с тобой все в порядке! Но мне кажется, что тебе не стоит пропускать завтрак. Отец не станет ждать тебя!

Гризельда спрыгнула на ковер и запела, импровизируя:

— Вот какая ерунда
Со мною случается:
Я могла бы съесть слона,
Но не получается!

Рассмеявшись, она снова поцеловала мать и крикнула:

— Молли! Помоги мне одеться!

Молли уже хлопотала в туалетной комнате. Она вылила несколько кувшинов горячей воды в ванну и приготовила все необходимое для купанья.

Леди Гарриэтта покачала головой и удалилась. Она так ничего и не поняла, но у нее появилась уверенность, что с Гризельдой все хорошо.

— Нет, — сказала Гризельда Молли. — Никаких корсетов сегодня. Рубашку с вышивкой и нижнюю юбку, ту, с шестью воланами. Потом корсаж в зеленую и белую полоску и зеленую юбку. И еще чулки… Нет! Никаких чулок! Никаких! Маленькие белые сапожки…

«Никаких чулок! Никакого корсета! О Господи!» — думала Молли. Она металась от шкафа к комоду и обратно, посмеиваясь про себя. Она ничего не знала, но многое подозревала, догадываясь о том, чему не осмеливалась поверить. Резкие перепады настроения Гризельды, ее нетерпеливая радость в дни, предназначавшиеся для автомобильных прогулок, ее усталый вид и нервозность после поездки не могли остаться незамеченными для горничной, живой тени хозяйки. Шаун? Возможно ли такое? Молли

пыталась убедить себя, что ошибается. С одной стороны, она возмущалась, потому что Шаун был обычным наемным работником, но с другой радовалась, потому что они были такой красивой парой. Кроме того, она беспокоилась за Гризельду, так как представляла, что ничего хорошего из этого не могло получиться.

Когда процедура одевания закончилась, Гризельда помчалась в лес, к кругу камней. Она опустилась на колени перед лежавшей на земле плитой, и так как представляла, чего ей следует ожидать, тут же увидела вырезанный на камне знак молнии. Время почти стерло его, местами он был скрыт под лишайниками, но он существовал, едва различимый и в то же время достаточно отчетливый. Он существовал в действительности, и проведя по нему пальцем, можно было даже восстановить отсутствующие детали рисунка.

Вернувшись домой и нарисовав знак на бумаге, она пошла к отцу, курившему в малом салоне, и рассказала, где обнаружила молнию.

Сэр Джон заинтересованно рассмотрел рисунок, сначала держа листок вертикально, потом повернул его на девяносто градусов.

— Находись мы в Средиземноморье, я сразу сказал бы, что это такое… Это просто удивительно… Ты видишь: если держать рисунок вертикально, то это будет египетский иероглиф. А если повернуть так, чтобы он стал горизонтальным, то это будет буква финикийского алфавита. Так или иначе, но в обоих языках это одна и та же буква «М». И в обоих языках она обозначает воду… Действительно, считается, что народы, возводившие каменные сооружения на севере Европы, пришли сюда из Средиземноморья… Но их письменность не имела ничего общего ни с египетским языком, ни с финикийским… Странно, очень странно… Впрочем, когда ты изучаешь древние цивилизации, то не перестаешь удивляться…

— Буква «М», — сказала Гризельда. — Но это первая буква имени Маав и слова «море» …

— Да, конечно… Послушай, тебя действительно интересует эта проблема?.. Когда Элен выйдет замуж… — сэр Джон вздохнул. — Может быть, ты захочешь работать со мной?

— Ах, нет, нет! — со смехом ответила Гризельда.

Она поцеловала отца и быстро ушла. Она уже слышала приближающийся шум автомобильного мотора.

* * *

Сегодня Шаун повез ее непривычным маршрутом, по дороге, которую они до сих пор никогда не выбирали. Они удалялись от побережья по достаточно широкой дороге, по которой можно было ехать довольно быстро.

Обогнув два озера, дорога вошла в осиновую рощу и почти сразу пропала. Когда Шаун заглушил мотор, птицы, замолчавшие отнюдь не от испуга, а из любопытства, снова принялись болтать. Старый, потрепанный жизнью дрозд посмотрел на автомобиль сначала одним глазом, потом другим и восхищенно присвистнул. Коричневая пташка с зелеными крыльями и красной грудкой отозвалась: «Чирик! Чирик!» — и задергала хвостиком. Потом повторила чириканье, означавшее: «Мне не нравится, как пахнет эта птица с круглыми лапами». Потом чирикнула в третий раз: «Интересно, что ест эта птица?» — «Гвозди», — сердито буркнул дрозд. Действительно, правое колесо поймало гвоздь, отличный гвоздь с квадратной шляпкой, которым крепится подкова к лошадиному копыту. Запертая в шине душа медленно вернулась в родную атмосферу, тогда как Шаун, взяв Гризельду за руку, повел ее по покрытой густым мхом тропинке, петлявшей между невысоких кустов, ласково касавшихся листвой ее лица.

Они вышли к ручью, более широкому, чем положено быть ручьям, но еще не достойному называться речкой. Кристально чистая вода медленно струилась по светлому песчаному дну, по которому была разбросана небольшая галька. Извилистое русло ручья дугой охватывало небольшую поляну. Из покрывавшей ее невысокой травы выглядывали маргаритки. Траву усеивали листья осины бледно-зеленого, желтого и рыжего цвета, без видимой причины опавшие задолго до осени. Возможно, они считали, что лучше выглядят не на дереве, а на траве, рядом с маргаритками. На противоположном берегу ручья росли три ивы, склонившиеся над водой. Самая старая из них с бугристым, покрытым большими наростами кривым стволом, почти на всю высоту была рассечена большим дуплом. Но листва на старушке выглядела так же жизнерадостно, как и на ее более юных соседках.

Этот пятачок цветущей свежей зелени, усыпанный разноцветной листвой и окруженный с трех сторон водой, убаюкиваемый бормотанием ветра и птиц, открытый только к небу, такому близкому и знакомому, был создан для радости, так как был способен окружить радость заботой, защитить и дать ей стать безграничной. Шаун обнаружил это место совсем недавно, но не ступил на него, потому что это было не то место, куда можно прийти одному.

Он отодвинул последнюю ветку и осторожно подтолкнул вперед Гризельду. Зимородок, устроившийся на наросте старой ивы, охотился за рыбешкой, охотившейся за мухой. Он пулей вонзился в воду, но промахнулся и тут же взвился из воды с разочарованным видом. Солнечный луч, перебегавший с одной маргаритки на другую, превратился в жемчужной капле воды, висевшей на травинке, в радужное многоцветье, рождая краски, которых не видели еще ничьи глаза.

— Ах! — воскликнула Гризельда. — Наверное, это убежище Вивианы и Мерлина!

Она сбросила сапожки и принялась кружиться в танце на траве. Под ногами она с наслаждением ощущала каждую влажную и прохладную травинку.

— Как здесь замечательно!

С благодарной улыбкой она вернулась к Шауну, радостно наблюдавшему за ней. Прижавшись к нему, она поцеловала его и слегка отодвинулась, чтобы взглянуть ему в глаза. Потом на ее лице появилась недовольная гримаска.

— Сними каскетку! Немедленно!

Она погрузила пальцы в его волосы и взъерошила их. Они казались ей такими же мягкими и свежими, как трава под ногами. И, как трава, они передавали ей бесценный поток жизни. Ее пальцы невольно сжались, и у нее на мгновение появилось желание укусить его. Удержавшись, она принялась расстегивать его серую куртку.

— Ты знаешь историю Вивианы и Мерлина?

Шаун отрицательно покачал головой.

— Но ты знаешь, кто такой Мерлин?

— Да, это волшебник...

— Правильно…

Она стянула с него куртку и бросила ее на ближайший куст. Под курткой на нем была желтая льняная рубашка.

— Мерлин предводительствовал рыцарями, искателями приключений, увлекая их от схватки к схватке и защищая их своими чарами. Он привел их к замку раненого короля, в котором был спрятан Грааль…

— Что такое Грааль?

— Это то, что ищут… То, что считается самым прекрасным. Невозможно понять, что такое Грааль, пока ты не увидел его.

Она взяла обеими руками лицо Шауна и снова нежно поцеловала его в губы, потом поднялась на носках, чтобы дотянуться до его глаз, и поцеловала их, сначала один, затем другой. Он, смеясь, закрыл глаза, и она ощутила губами нежную и твердую шелковистость его ресниц.

Она расстегнула сначала одну пуговицу на его рубашке, потом вторую.

— Чтобы увидеть Грааль, нужно задать вопрос, всего один, но правильный. Рыцари не представляли, какой именно. Нашелся только один рыцарь по имени Галахад, который задал нужный вопрос. И он увидел Грааль… Говорят, что он увез его в Египет… Тебе доводилось бывать в Египте?

— Нет… Мне не приходилось совершать большое морское путешествие, и я никогда не переплывал Средиземное море. Но настанет день…

— Тебе хочется уплыть куда-нибудь далеко-далеко?

— Да… И обязательно вернуться… В Ирландию…

— А вот я не знаю, захочется ли мне возвращаться… Я хочу побывать везде… Все увидеть… Как было с Мерлином… Он должен был поехать в Рим, чтобы встретиться там с папой и дать ему совет… А через пять минут он мог очутиться в Бретани. Или в Константинополе. Везде, где какому-нибудь рыцарю была нужна его помощь. Оказавшись где-нибудь, он мог тут же исчезнуть и перенестись куда ему хотелось.

Она распахнула рубашку Шауна и, закрыв глаза от избытка счастья, прижалась щекой к гладкой и твердой груди. Он опустил руки сначала на ее плечи, потом на голову и принялся снимать с ее волос заколки.

Она пробормотала:

— Только постарайся не терять их! Не потеряй ни одной!

Шаун улыбнулся. Снятые заколки он аккуратно складывал в карман. Освобожденные черные волосы Гризельды хлынули вниз тяжелой темной волной, блестевшей на солнце. Он погрузил в них руки, поднял и прижал к лицу. Они показались ему свежими, словно вода ручья, живыми, непокорными; они упрямо выскальзывали из его пальцев. Они образовали завесу, за которой пряталась Гризельда, прижимаясь головой к нему. Сквозь волну волос он слышал:

— …Однажды, когда он шел лесом, он наткнулся на уснувшую на берегу ручья девушку. Это была Вивиана, ей исполнилось всего шестнадцать лет…

Ее волосы струились по ней и по нему, заливали ему брови и глаза. Они пахли мятой и чистой водой, и еще солнцем на коже юной девушки.

— …Она была такой прекрасной, что он сразу же безумно полюбил ее… Он так смотрел на нее, что его взгляд разбудил девушку. Она не испугалась, потому что он был очень красивым и совсем юным, каким оставался всегда. Она спросила: «Как тебя зовут?» Он ответил: «Я Мерлин». И он попросил ее подарить ему поцелуй. Конечно, он мог получить его и без просьбы, и она не смогла бы сопротивляться, потому что он был сыном дьявола, но в то же время он был сыном божьим, и поэтому он попросил…

— Подари мне поцелуй, — сказал очень тихо Шаун.

Он наклонился к ней, и она подняла лицо навстречу ему. Он коснулся своими едва приоткрытыми губами ее почти закрытых губ.

Она вздохнула и прижавшись лбом, поцеловала его грудь. Потом откинулась немного назад, чтобы посмотреть ему в глаза.

— Она позволила ему поцеловать только кончик своего пальца… И в обмен на это потребовала у Мерлина секрет двенадцати заклинаний…

— Значит, она не любила его…

— Нет… Напротив… И он выдал ей двенадцать секретов, а потом исчез, потому что кто-то опять нуждался в его помощи… Но каждый раз, когда мог, он возвращался… Постепенно он выдавал Вивиане все тайны

своего мастерства, одну за другой… А она позволяла ему целовать только свои пальцы… Скоро осталась только одна тайна, которую больше других хотела узнать Вивиана… В обмен на нее Мерлин хотел, чтобы она отдалась ему… И вот однажды, после того как Галахад увидел Грааль, Мерлин уступил…

— И она тоже уступила?

— Это осталось неизвестным… Дело в том, что последнее волшебство позволяло навсегда запереть Мерлина в келье. Вивиана взяла его за руку и замкнула пространство вокруг них. И они никогда не смогли выйти наружу. Никто не знает, где находится эта келья. Она стала для них вечным убежищем любви.

— Для меня убежище любви — это ты, — сказал Шаун. — И Грааль тоже ты…

Он нежно коснулся ее лица, прильнувшего к его груди, и спросил:

— Так какой же вопрос я должен задать?

Она едва слышно прошептала:

— Не нужно спрашивать… Смотри…

Почти не шелохнувшись, она отстранилась от него; двигаясь плавно, словно пушинка на легком ветру, она сбросила корсаж и юбку, стянула через голову рубашку. Он увидел ее груди цвета меда, розы и молока, которые казались немного испуганными и восторженными, словно дитя, впервые увидевшее солнце. Она повернулась, и волна волос захлестнула ее спину и грудь. Разбросанные вокруг детали ее одежды выглядели необычными цветами на зеленой траве. Она замерла перед ним, нагая под покровом своих волос.

Спросила с гордостью и тревогой:

— Скажи, я действительно красива?

Она знала о своей красоте, но никто никогда еще не говорил ей, что она красива…

Он молча смотрел на нее. Он давно любил ее, но никогда еще не видел ее такой. Она стала медленно поворачиваться, чтобы почувствовать всем телом жар его взгляда. Приподняла обеими руками волосы над собой, чтобы ничто не оставалось скрытым от его глаз, но они выскользнули из ее рук, снова наполовину закрыв ее, спрятав груди, у которых снаружи остались только освещенные солнцем соски.

Она раздвинула обеими руками занавес волос:

— Так я красива, скажи?

Он увидел нежные плечи, изгиб талии и выше два холмика, каждый из которых был половиной мира, увидел плоский живот с темным кружком посередине, гармоничную линию бедер, золотой пушок над напоминанием о бесконечности тайны.

Сорвав с себя одежду, он шагнул к ней, протянув вперед руки.

— Ты прекрасна… Нет ничего прекраснее тебя…

Эти слова ворвались в ее сознание и заполнили его ощущением огня и гордости. Она видела его перед собой, обнаженного и прекрасного, подобного Ангусу Огу, юному богу Ирландии. Она увидела его всего, с плоской грудью, широкими плечами, узкими бедрами, протянутыми к ней руками, готовыми брать и дарить, увидела его горделивую любовь, устремившуюся к ней в своем наивном и прекрасном порыве.

Их руки встретились, тела соприкоснулись целиком, сверху донизу. Она застонала, задохнувшись от восторга. И тут же высвободилась и, засмеявшись, бросилась к ручью. Он кинулся за ней; ворвавшись в воду, они подняли выше головы фонтаны брызг. Она кувыркнулась в траву, и он уже был рядом, был с ней, возле нее, на ней; он гладил ее обеими руками, ласкал траву вокруг нее, ласкал ее, целовал, отпускал и снова целовал. Он

едва не овладел ею, она закричала, на мгновение слилась с ним в одно целое, тут же сорвала горсть маргариток и закрыла ему глаза цветами, извернулась, вскочила и кинулась к деревьям. Он догнал ее, схватил на руки и со смехом помчался вдоль ручья, потом мимо деревьев, держа ее на руках и наслаждаясь ее красотой и красотой развернувшейся на солнце волны ее волос. Вырвавшись, она подставила ему ножку, и они, разделившись, покатились в траву.

Она перестала смеяться и замерла в ожидании, закрыв глаза. Он тоже больше не смеялся. Она почувствовала, как его рука сначала нежно коснулась ее коленей, и они разошлись сами собой. Потом его грудь оказалась на ее груди, а его живот на ее животе. Он касался ее всем телом, но она не чувствовала его веса. Она нетерпеливо ждала, и это восхитительное ожидание тянулось, как ей казалось, невыносимо долгую вечность. Потом медленно и в то же время мгновенно его тяжесть обрушилась на нее, она почувствовала его на себе и в себе.

И она потеряла представление о мире вокруг нее и своем внутреннем мире, о том, чем была она и чем был он. Ее несли высокие волны, и каждая последующая подхвытывала ее до того, как прокатывалась предыдущая, и они уносили ее в странствие, конца которого она страстно желала и в то же время не хотела, чтобы оно заканчивалось. Она была сразу океаном и лодкой, и каждая волна уносила ее к солнцу, поднимая все выше, все ближе к солнцу; затем в грохоте рождающегося мира море и небо слились в одно, море затопило ее, швыряя во все стороны, и она превратилась в солнце…

Когда она снова почувствовала свое тело, оно показалось ей огромным, просторным, словно превратившимся в прерию, покрытую травой. Оно больше ни от чего не зависело. Ее тело было свободным. Она чувствовала его так, как никогда до этого, но она больше не имела над ним никакой власти… Никакая сила теперь… Ничто… Сон…

Шаун тоже заснул, не выпуская ее из объятий. Легкий порыв ветра бросил на них несколько листьев осины, зеленых и золотых. Вернулся зимородок, но теперь он уселся на другой уродливый нарост на стволе ивы, потому что солнце переместилось и его блики на поверхности воды изменились. Примулы дружно начали закрываться.

Уагу, дремавший в норе среди корней тиса, тревожно зашевелился и заскулил.

Редкие капли теплого дождя ласково коснулись спящих и разбудили их.

Перевод с французского Игоря Найденкова.

Окончание следует.



К 95-летию Ивана МЕЛЕЖА

Игорь АВЛАСЕНКО

В поисках идеала



Фото Юрия Иванова.

«В истории есть всегда элемент современности. Именно в этом секрет того, почему волнует история, почему живет ее значение». Эти слова белорусского писателя Ивана Павловича Мележа подчеркивают важность обращения к событиям прошлого. Прошлое и настоящее тесно взаимопереплетены: каждое явление сегодняшнего дня имеет свои корни и причины в истории. И наоборот, любое минувшее событие имеет значение для современности, так как помогает осмысливать нынешнюю действительность. Осмысление истории актуально и востребовано как на научном уровне, так и на образно-художественном.

Ключевым произведением в творчестве Ивана Мележа стал цикл романов под названием «Полесская хроника». В его основе — рассказ о жителях восточнополесской деревни Курени во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов. Прототипом Куреней стала родная деревня писателя — Глинище (она также встречается в романах под слегка измененным названием Глинищи). Это период глубоких изменений в жизни белорусской деревни, которые наступили после прихода советской власти и в результате проведения коллективизации. При жизни Иван Мележ успел опубликовать три романа «Полесской хроники»: «Люди на болоте» (1961), «Дыхание грозы» (1965) и «Метели, декабрь» (1976). К сожалению, еще два романа — с предполагаемыми названиями «За осокой берег» и «Правда весны» — остались незавершенными и сохранились лишь в черновиках автора. Тем не менее, эти черновики также были опубликованы в десятитомном собрании сочинений писателя, которое вышло после его смерти в 1979—1985 годах.

В целом «Полесская хроника» — это не только опубликованный текст романов, но и многочисленные наброски, заметки, размышления, комментарии, которые появлялись во время работы и остались в архиве автора. Они создают картину многоплановой рефлексии писателя над исторической судьбой белорусского народа и над историческим процессом в целом. В них с наибольшей отчетливостью проявилась гражданская позиция Ивана Мележа не просто как писателя, но и как мыслителя, историка. И теперь, стремясь понять взгляд автора на проблемы прошлого, мы открываем для себя, что многие его мысли очень актуальны и на сегодняшний день. Те заветы, которые Иван Мележ адресовал своим читателям и будущим поколениям, — драгоценное наследство, которое требует осмысления с высоты новой эпохи, с позиции сегодняшнего дня.

Сама драматичная и противоречивая история кризиса и распада Российской империи, гражданской войны, первых десятилетий становления Совет-

ского Союза подталкивала к художественному осмыслению произошедшего, к созданию исторических романов. Неслучайно в русской советской литературе появились «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Михаила Шолохова, несколько позднее — «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, в эмигрантской литературе — «Окаянные дни» Ивана Бунина. Каждый из этих авторов стремился осмыслить минувшие события, давал им философскую и историческую оценку со своей собственной точки зрения. Беларусь также оказалась в вихре драматических событий. В связи с этим и в белорусской литературе были предприняты попытки создания масштабных произведений, которые бы охватили историю белорусского народа в первой половине двадцатого столетия. К примеру, за выполнение подобной задачи взялся писатель Кузьма Чорный, однако подорванное здоровье не позволило ему реализовать эту идею в полной мере.

Замысел создать крупное произведение, которое бы охватило сюжетом несколько десятилетий, возник и у молодого Ивана Мележа. Многие драматические события, увиденные писателем своими глазами, которые ломали, калечили судьбы миллионов людей — коллективизация, репрессии, Великая Отечественная война, — не могли не оставить след в его душе. Еще в 1946 году в своем дневнике он записал для себя следующую задачу: «Написать большую вещь (когда-нибудь) о том, как менялась и ломалась психика белорусского крестьянина с 1914 года до нашего дня». Как отмечал сам писатель, большое впечатление на него произвело творчество Михаила Шолохова. Во время Великой Отечественной войны, проходя лечение в госпитале, он часто проводил время за чтением «Тихого Дона». Позднее Иван Мележ вспоминал: «Это было необычное чтение: слово Шолохова, которое само по себе имеет удивительную силу, волновало особенно — я еще жил тревогами фронта, ощущением непрочности фронтового покоя, ощущением огромности войны и огромности человеческой беды, которая захватила в себя миллионы судеб; где — под немецким игом — была моя родная полесская деревня, и где-то высматривала, ожидала меня моя Ильинична, моя мать. Все необычно поражало еще и потому, что перед этим я видел и донские степи, и весеннее небо над ними, слышал на себе, брал губами напоенный донской влагой и степными запахами ветер… «Тихий Дон» по сегодняшний день — самый большой и самый умный мой друг. Бесконечно могу слушать его, разговаривать с ним, никогда не остывая в своей любви к нему, никогда не переставая ощущать недосягаемую глубину, ширину, мудрость его…» Вместе с тем, несмотря на влияние Шолохова, романы Ивана Мележа отличаются своим собственным самобытным стилем, а также особым углом зрения на тот драматичный период 1930-х годов.

От первоначального замысла до его художественного воплощения прошло весьма продолжительное время. Несмотря на первоначальную идею создания крупного произведения, будущий цикл романов сюжетно начался с попытки написать «небольшую, лаконичную повесть о мелиораторах послевоенных лет, о преобразовании природы Полесья». Анализ первых набросков автора свидетельствует о том, что сюжет произведения должен был разворачиваться преимущественно в русле нравственно-бытовой тематики. Однако скоро стало ясно, что задача отражения масштабных изменений, произошедших на Полесье, не могла быть решена на такой узкой основе. И наконец, Иван Мележ пришел к выводу о необходимости обращения к более раннему периоду в жизни полесской деревни, к моменту первых мероприятий советской власти в Полесском крае. Так рождался замысел первой книги «Люди на болоте». По мере наработки материала масштаб произведения постепенно увеличивался, всесторонне охватывая жизнь крестьян-полешуков. «Мне хотелось написать книгу в полном смысле народную, — вспоминал Иван Павлович, — которая бы прославляла народ, его подвиг, была бы пропитана большим уважением к нему и заботой о нем». Однако написать книгу реалистично, осветить жизнь Полесского края и мероприятия советской власти не однобоко, клишированно, а во всей многомерности, помогли лишь изменения в общественно-политической жизни СССР, которые наступили

в середине 1950-х годов. «“Люди на болоте” в таком виде, в котором они написаны, могли появиться только после тех перемен, которые произошли в результате XX съезда партии», — отмечал автор.

Поставив цель развить свой замысел далее в цикл произведений, который бы охватывал историю Полесья на протяжении нескольких десятилетий, писатель запланировал создать трилогию. Если первый роман, «Люди на болоте», Иван Мележ посвятил первоначальным мероприятиям советской власти на Полесье в двадцатые годы, то второй, по мнению автора, должен был отразить процесс коллективизации, а третий — события Великой Отечественной войны. Однако по мере дальнейшей наработки материала и обращения к историческим источникам, по мере откровенных разговоров с очевидцами событий 1930-х годов, автору стало очевидно, что такое сложное явление, как коллективизация, нельзя было отразить бегло, в одной книге, упрощая историческую действительность. Рассказывая о тех событиях, невозможно было бы оставить без внимания многочисленные перегибы, которые калечили судьбы и жизни людей. Многоплановое освещение процесса коллективизации требовало и более полного отражения общественно-политической жизни начала 1930-х годов, психологической атмосферы того времени, что, в свою очередь, подводило к проблеме культа личности, репрессий в отношении деятелей культуры. Такое увеличение задач в освещении исторических процессов этого периода внесло существенные изменения в авторскую концепцию следующего романа «Дыхание грозы». Сам Иван Мележ высказал свой взгляд на тогдашние события следующими словами: «В трудные тридцатые годы брало начало не только хорошее, но и злое. В том, что происходило тогда, было немало такого, что вызывало ненужную остроту отношений, рождало несправедливость, обиды, приводило к неоправданным жертвам». Большей свободе автора в отражении прошлых событий способствовало и временное раскрепощение общественной мысли в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Таким образом, замысел Ивана Мележа осветить жизнь полесских крестьян на переломе эпох постепенно приобрел более широкий размах и трансформировался в размышление над историей Отечества в переломный период истории. Разработка следующих романов, которые бы охватили настолько широкий спектр задач, требовала от автора много времени и большого писательского мастерства. Иван Мележ тщательно заботился, чтобы не только факты, но и мысли, и психологическая атмосфера того времени были отражены с максимальным сходством с реальностью. Он писал: «Я очень и очень беспокоюсь, удастся ли мне с достаточной глубиной показать взаимосвязи между временем и человеком». Иногда на полях его рукописей можно встретить замечание о том, что какая-то фраза в устах героя больше соответствует современному стилю мышления (то есть, 1960-м — 1970-м годам) и поэтому должна быть переработана. Именно из-за этого работа над каждым следующим романом цикла продолжалась долго. К сожалению, многое писатель так и не успел воплотить в жизнь. Опубликованный сюжет «Полесской хроники» остановился на самых первых днях 1930 года.

Многие сюжетные линии неоднократно перерабатывались. Возникали, исчезали и трансформировались задумки целых разделов и даже романов. В неопубликованном наследии писателя остались планы дальнейшего развития событий «Полесской хроники». Следующие две книги, по мнению Ивана Мележа, должны были охватывать первую половину 1930 года и отображать сцены раскулачивания в Куренях, исключение из партии председателя райисполкома Ивана Апейки и секретаря партийной ячейки Гайлиса, а потом — критику допущенных перегибов, снятие с должности Башлыкова и реабилитацию Апейки. Окончательно автор планировал довести цикл романов до времен Великой Отечественной войны. Материал, изложенный в записях, набросках Ивана Мележа, чрезвычайно важен для понимания целостного характера «Полесской хроники» и замысла автора в отражении судьбы главных героев. Не менее интересными представляются и отдельные размышления автора, изложенные на страницах его записной книжки.

Они позволяют нам понять, чем руководствовался писатель при отображении тех или иных событий, разработке отдельных сюжетных линий. Конечно, использование недоработанного наследия писателя может быть воспринято критически, так как оставшийся материал часто не систематизирован и не доведен до конца. Однако многие сцены, отдельные диалоги носят настолько разработанный и законченный характер, содержат настолько важные мысли, что можно не сомневаться: они шли от самого сердца автора, и если бы писатель осуществил их публикацию, то они бы заняли ключевое место во всей «Полесской хронике».

Сюжет романов не просто раскрыл действительность того времени, а в значительной степени отразил и гражданскую позицию автора, его взгляды на многие проблемы государственно-политического строительства в 1930-е годы. Конечно, взгляды Ивана Мележа не оставались однородными на протяжении всех двадцати лет, в течение которых автор работал над романами «Полесской хроники». Свидетельством этому является динамика размышлений автора над развитием сюжетных линий произведения. Первоначально изменения в общественно-политической жизни СССР создавали возможность более полно донести свою мысль до читателя. В первой половине 1960-х годов Иван Мележ планировал затронуть в «Полесской хронике» тему политических репрессий: в его записях встречаются упоминания о дальнейших трагических судьбах Ивана Апейки, Гайлиса, Миканора. Но в 1970-е годы, когда критика сталинизма заметно утихла, автор решил сосредоточиться на сценах раскулачивания начала 1930-х годов. Именно поэтому многие мысли, первоначально высказанные в более открытой форме, мы можем найти лишь в архиве писателя, а не на страницах романов. Но даже несмотря на это, публикация «Полесской хроники» стала мужественным гражданским шагом Ивана Мележа. Его романы стали одними из первых в советской литературе, в которых была осуществлена попытка критического переосмысления событий, происходящих на рубеже 1920-х и 1930-х годов, — хода ключевых мероприятий советской власти.

* * *

Романы «Полесской хроники» отражают историю полесской деревни, историю белорусского народа в целом в сложный, переломный период, когда под влиянием внешних обстоятельств менялся исконный образ жизни людей, вызывая у них смешанные чувства: удивление, равнодушие, а иногда и сопротивление, неприятие нового. К сожалению, часто изменения не только быстро приходили, но и насильственно насаждались. Если первые мероприятия советской власти затрагивали лишь отдельные стороны жизни людей, то коллективизация, осуществленная на принудительной основе, разрушила традиционный уклад жизни на Полесье, ворвавшись при этом в самую чувствительную для крестьянина сферу — сферу собственности на землю. Отображение этого противоречивого периода в истории белорусской деревни вынуждало автора не только детально прорисовать исторические подробности, но и выработать собственную позицию в отношении данных событий, дать им историософскую оценку.

При работе с первоисточниками, в ходе бесед с очевидцами Иван Мележ все больше убеждался в том, что освещение в романе процесса коллективизации не могло быть решено в рамках одномерных схем и подходов. Этот процесс, как и другие явления в общественно-политической жизни БССР того времени, требовал взгляда с нового ракурса. Детальное знакомство с тем периодом создавало представление об истории Отечества 1930-х годов не только и не столько как об успехе мероприятий советской власти, сколько как о полосе страданий и испытаний. Но вместе с тем автор рассматривал этот трудный час как момент, в который проявляются и лучшие качества, присущие белорусскому народу. Свидетельством тому являются следующие строки из его записной книжки: «Говорили о собственнической душе крестьянина... А почему никто не сказал о его чрез-

вычайной самоотверженности? Почему никто не сказал, что коллективизация требовала от крестьянина чрезвычайного, несравнимого ни с чем самопожертвования? Отдать землю, отдать инвентарь, все приобретенное всей жизнью — не имея твердых гарантий, за исключением слов обещаний, — сколько на это нужно самоотверженности! Кланяюсь вам, люди тридцатого года!»

Самоотверженность, проявленная во время коллективизации, подчеркивалась писателем как неотъемлемая черта, которая выступает свидетельством непобедимости, стойкости, силы народного духа. Именно она давала право говорить о пережитом в 1930-е годы как о настоящем подвиге народа. Автор подчеркивал, что это качество проявилось и в другие драматические моменты, в том числе во время Великой Отечественной войны: «Самопожертвование, величие души трудового народа. Вот о чем не говорили. А сколько же ее было и какой большой, когда годами делали, не получая взамен ни копейки, в войну, когда, забыв все обиды, отдавали последнее партизанам, рисковали смертельно, шли на смерть! Велик ты, правда, велик душой, народ!»

Даже в 1960-е годы нечасто говорили о большой цене, заплаченной за осуществление сплошной коллективизации. Однако еще реже поднимался важный вопрос: а можно ли было вообще избежать этого? Отражая переломный период в истории полесской деревни во всей противоречивости и драматичности, Иван Мележ поднял его одним из первых. Автор обратил взгляд на переломные исторические события не сквозь призму высоких идей или государственной нужды, а с точки зрения простого человека. Его записи в дневнике, как и опубликованные страницы «Полесской хроники», пронизаны мыслью, которая нам кажется сейчас вполне естественной, но которая не озвучивалась в те времена: слишком большую цену заплатил народ за воплощение идеи. Таким образом, в «Полесской хронике» Ивана Мележа проявился гуманистический подход к осмыслению переломных, драматических моментов нашей истории — тот взгляд, который стал доминирующим в последней трети двадцатого века и воплотился в произведениях Василя Быкова, Алеся Адамовича, Янки Брыля и многих других белорусских авторов.

Конечно, Иван Мележ никоим образом не пытался опровергнуть необходимость самого процесса коллективизации. Он также считал этот процесс исторически целесообразным. Однако главная идея, которую стремился донести автор, — это неизбежный крах результатов насильственной реализации политики. Хорошо известно о том, что в самом начале 1930-х годов, когда коллективизация еще не получила окончательно всеохватывающий характер, нередки были случаи, когда наспех созданные колхозы распадались. Такой случай имел место и в родной деревне писателя — Глинищи, — что и было показано в третьем романе «Метели, декабрь». В одном из неопубликованных романов Иван Мележ уже планировал рассказать, как принудительно созданные колхозы стали массово распадаться после критики на официальном уровне политики перегибов. Причем автор хотел донести мысль, что сельскохозяйственные кооперативы распались не в результате вредной деятельности кулацких элементов, а потому, что само обобщение имущества крестьян изначально было, по сути, декларативной акцией. В набросках писателя к четвертой части «Полесской хроники» встречаются такие слова Апейки: «А как же его, мужика нашего, не жалеть? Мы же от него требуем, чтобы он отдал самое важное. Землю, плуг, хлеб. То, чем он, жена, дети его живут. Чем жили его отец, дед, прадед. В чем основа его жизни. Требуем, чтобы отдал он нам все это — под честное слово. Ведь счастье колхозное, которое мы ему желаем, для него — басня только. А он наслушался басен. И по старым — знает цену басням. Что бы мы ни говорили, для него это — басня. Ведь жизнь эта, которую мы желаем, ему неизвестная, нереальная. Он не трогал ее. Ее надо было бы ощутить. Вот если бы он подержал ее в руках — тогда бы другое было...» Осуществлять задуманные преобразования без насилия и без пустой декларативности — чрезвычайно важный завет Ивана Мележа и результат рефлексии автора над историческим процессом.

Конец 1920-х — начало 1930-х годов, когда осуществлялась коллективизация, характеризовался усилением тоталитарного режима, что наложило отпечаток на психологическую атмосферу в обществе того времени. Иван Мележ очень ответственно отнесся к задаче отобразить ее как можно точнее. Неслучайно, стремясь подчеркнуть возрастающую напряженность и нетерпимость в обществе, в своих записях он поставил себе следующую установку: «Дать от автора — психоз».

Это драматическое время, к сожалению, способствовало людям с черно-белым видением мира. Борьба за чистоту идеи стала прекрасной возможностью расправиться со своими оппонентами, сделать карьеру. В таких обстоятельствах первыми жертвами становятся честные, ответственные люди. В доверительной беседе с Иваном Апейкой один из персонажей романа точно описал метод, которым пользуются разного рода карьеристы: «Модно становится изобличать, кричать, лупить — под маркой принципиальности! Модно и выгодно. И риска никакого, и смелым показать себя можно! Лучше всех! Архиборцом, архибольшевиком!» Такая психологическая атмосфера создала благоприятные условия для тех, кто был готов достичь показателей любой ценой — путем насилия, репрессий, отбросив прочь народное и даже человеческое.

Период коллективизации, к сожалению, стал хорошим шансом для разного рода карьеристов. Благоприятный момент наступил для такого «архибольшевика», как Галенчик. Ключевым героем четвертого романа, по замыслу Ивана Мележа, должен был стать Дубодел, полная беспринципность и жестокость которого проявилась бы далее, при организации процесса раскулачивания в Куренях. Работая над четвертой книгой, Иван Мележ обозначил себе задачу при отображении такого рода карьеристов: «Показать, как разворачивается дрянь в такие моменты. Как способствует дряни такой момент».

В отличие от Галенчика и Дубодела, секретарь райкома партии Алексей Башлыков характеризовался не только карьерными устремлениями, но и искренним желанием выполнить возложенную на него задачу. Однако и он понимал жизнь упрощенно, видел мир преимущественно в черно-белых красках, что не являлось случайным в его характере, а было обусловлено его предыдущей судьбой, и прежде всего, недостатком образования. Чрезмерная жестокость, избыточная принципиальность Башлыкова в осуществлении поставленных целей привели к нетерпимости и безразличию к человеку. Но сам Иван Мележ одновременно выделил и положительные черты своего героя, подчеркнув всю противоречивость этой личности: «Трагедия Башлыкова — трагедия человека честного. Который хочет соответствовать идеалу времени». Нетерпеливость, равнодушие присущи и организатору колхоза в Куренях Миканору. Башлыков и Миканор искренне стремятся выполнить задание партии, но их жестокость — это результат неопытности, неспособности работать с людьми, нежелания прислушиваться к проблемам другого человека.

То, что такие люди (или «горячие», неопытные, как Миканор или Башлыков, или карьеристы, как Дубодел и Галенчик) стали руководителями, — это трагедия того времени. Это в основном молодые люди, массовый приток которых в партию произошел во второй половине 1920-х годов. Многие из них были горожанами и не имели представления об особенностях работы на селе. Именно на таких — молодых, фанатичных, амбициозных, без достаточного жизненного опыта и критического мышления — в масштабе всего Советского Союза была сделана ставка Сталиным и его соратниками с целью закрепления своих позиций в партии и подавления оппозиции со стороны большевиков «старого поколения» (к которым можно отнести Ивана Апейку и Гайлиса). В этот период, когда с трибуны партийного съезда был объявлен курс на сплошную коллективизацию, такие люди, как Башлыков, как Дубодел, готовые достичь показателей любой ценой, поднялись на вершину своей карьеры. А между тем писатель подчеркивал, как много в организации любого дела зависит от человека, от личности руководителя. Определяя лейтмотив своего романа «Дыхание грозы», Иван Павлович сам себе пометил:

«Основная коллизия (дилемма) времени и книги (книг) — человек и дело. Дело, какое бы совершенное ни было само по себе, зависит от людей, которые его делают: от их ума, их совести, их сердец. Эти люди могут высоко поднимать дело, могут извратить его, калечить его».

Обращение Ивана Мележа к проблемам общественно-политической жизни начала 1930-х годов, к той трагедии, которую принесла народу насильственная коллективизация, обусловленная становлением тоталитарного режима, подтолкнуло писателя к тому, чтобы подчеркнуть потери, которые понесла и культурная элита Беларуси в то время. Если в Советском Союзе в целом пик репрессий ассоциируется с 1937 годом, то в БССР первые аресты интеллигенции начались еще в самом начале 1930-х. В атмосфере подозрительности и нетерпимости жертвами травли и издевательств становились лучшие творческие силы народа. Иван Мележ осознавал, какой тяжелый удар по национальной культуре был нанесен в те годы. В его записной книжке остались следующие строки: «Если болезнь подозрения и недоверия лихорадила многие города и поселки, многие края и земли, то особенно высокую температуру болезнь это подняла на белорусской земле. Кроме всех прочих здесь были еще два обстоятельства, способствовавшие болезни: близко была граница, государственная граница, тот мир, который угрожал, который посылал шпионов и диверсантов. Здесь особенно важно было обезвредить всякую нечисть, сделать порядок, здесь был передний край, самый передний край. В той обстановке недоверия, когда уже не только проявляли бдительность, а подозревали все всякое, когда во всем искали потайной, скрытый смысл, естественно, опасения, подозрения стало вызывать национальное, за которым стал представляться призрак национализма. Обычные национальные особенности в жизни, в быту, культуре белорусов стали в глазах некоторых чрезмерно заумных деятелей того времени сливаться с буржуазным национализмом. Под подозрение попадали многие из тех, кто работал на славу и радость народа, кто верой и правдой служил Советской власти. Немало ни в чем не повинных людей было объявлено националистами и арестовано… Под знаком защиты народа, Советской власти наносились народу и Родине болезненные, безвозвратные потери».

Иван Мележ обратился к теме трагической судьбы белорусской интеллигенции, молодых загубленных талантов в середине 1960-х годов, одновременно с некоторыми другими авторами, в частности, с поэтом Аркадием Кулешовым, который создал цикл стихотворений «Монолог». Поэт Алесь Маёвый, появившийся на страницах романа «Дыхание грозы», стал собирательным образом, в котором можно было узнать молодых авторов 1930-х годов, например, Владимира Дубовку, Язэпа Пушчу. Есть свидетельства, что писатель интересовался жизнью, привычками, характерами этих литераторов во время работы над книгой. Автор не делал Алеся Маёвого одним из главных персонажей «Полесской хроники», и эта сюжетная линия не является центральной в романе. Однако в то же время она выделяется самодостаточностью, что позволило писателю в полной мере отразить ту трагедию, которая постигла многих представителей творческой элиты, выросшей на волне белорусизации 1920-х годов.

В образе Алеся Маёвого Иван Мележ отразил судьбы многих молодых белорусских поэтов-самородков. Алесь — типичный сельский парень с искрой таланта, который смог утвердиться как творческий человек, войти в культурную элиту страны, сохранив при этом деревенскую искренность, прямоту и любовь к родной земле. Алесь — активный человек, который не стоит в стороне, когда видит несправедливость. Он тверд и принципиален до конца. Иван Апейка, учитель Алеся, заметивший молодого парня и развивший его талант, любовь к творчеству, к высокому искусству, в глубине души даже гордится тем, что воспитал человека, похожего на себя: «Пригляделись бы — человек! Именно такие — с характером, с совестью, с твердой принципиальностью — основа во всяком большом деле. Именно они — сыновья и внуки тех, кто когда-то шел и на каторгу, и в ссылки из-за своих убеждений. Именно такие могут выстоять в периоды

трудных испытаний, устоять, не поколеблются; такие не будут отсиживаться в тени. Именно они, а не те, кто и сейчас, в мирное время, отсиживаются, отмалчиваются, прячутся, которые готовы, вопреки своей заячьей совести, «разумно» смотреть на все, более всего опасаясь какого-либо риска». И далее автор устами Ивана Апейки делает следующий вывод: «Именно в таких неспокойных, открытых, принципиальных — сила народа, сила партии. Живая сила». К сожалению, в тоталитарной системе 1930-х годов именно такие люди чаще всего становились объектами обвинений, предательства и репрессий. И дальнейшие судьбы как Алеся Маёвого, так и Ивана Апейки, отраженные в неопубликованных частях «Полесской хроники», точно свидетельствуют об этом.

Иван Мележ оставил нам набросок трагической развязки судьбы Алеся, которую планировал отобразить в одном из следующих романов. По сюжету, когда весной 1930 года Апейка зашел навестить своего бывшего ученика, то застал там лишь хозяйку дома, которая сообщила ему страшную новость:

«— Забрали.

— Как — забрали? — Апейка все же не ожидал этого.

Она не ответила.

— Давно?

— Полмесяца…»

Трагическую судьбу Алеся Маёвого разделили многие молодые поэты и писатели того времени. Белорусской литературе были нанесены тяжелые, непоправимые потери.

Выступая в роли не только художника, но и исследователя, писателю было чрезвычайно важно выявить и показать, как человек действует в сложных драматических обстоятельствах, часто подталкивающих к совершению поступков вопреки совести. А обострение психологической атмосферы в обществе в начале 1930-х годов многих людей ставило перед таким сложным выбором. В подобной ситуации оказался и учитель Алеся Иван Анисимович Апейка.

Апейка занимает особое место в галерее героев «Полесской хроники». Как подчеркивал академик Владимир Гниломедов, «много своего, самого заветного вложил писатель в этот образ. Этим образом писатель утверждает свой идеал положительного героя, героя нашего времени. Поиски характера у Мележа являлись одновременно и поисками идеала». Кажется, именно устами Ивана Апейки автор доносил до читателя свои наиболее значимые мысли. Во время работы над романом «Дыхание грозы» именно разработка и воплощение этого характера казались Мележу важнейшей задачей. «Для меня самая трудная задача — художественно решить образ Апейки», — отмечал писатель.

Сложное время, в котором довелось жить и действовать герою, обусловило и драматизм его судьбы. Внутренние убеждения Ивана Анисимовича вступили в глубокое противоречие с официальной линией партии по осуществлению принудительной всеобщей коллективизации. Он совсем по-иному видел принципы, которые должны лежать в основе как общественных отношений, так и системы управления: «Но ведь сила наша — не в бездумной дисциплине, сила — в коллективном разуме и — в коллективной совести. Дисциплина должна быть слита с совестью, с убеждением. Даже военная дисциплина лучше, если она сознательная. Тем более это нужно комсомольской, партийной». По сути, Апейка исходит из принципа демократического подхода к организации процесса управления, в противоположность жесткой централизации. В итоге герой был вынужден делать очень сложный выбор между тем, чтобы поддаться всеобщему стремлению выполнить и перевыполнить доведенные сверху плановые показатели, с одной стороны, и собственной совестью, с другой. И в противоположность большинству партийных работников, которые, двигаясь в общем русле, без особых размышлений поддержали генеральную линию партии, Апейка остался верен своим убеждениям. Иван Анисимович остался последовательным и тогда, когда от его решений зависела судьба отдельных людей: рискуя даже своей должностью

председателя райисполкома, он вступился за бывшего царского офицера учителя Горошку, за брата Евхима Глушака — Степана, за Алеся Маёвого и других.

В следующем, четвертом романе «Полесской хроники» Иван Мележ планировал рассказать, как Апейка был обвинен в правом уклоне, снят с должности и исключен из партии. Но этот непредвиденный поворот в жизни не только не ослабил убеждения Апейки, а наоборот, даже усилил их. Сразу после принятия решения об исключении Иван Анисимович выражает намерение отстаивать свои взгляды до конца. Наилучшим образом Апейку характеризуют собственные слова, которые остались в набросках писателя: «Есть люди, которые считают за доблесть, что они умеют не рассуждать. Партия сказала, партия решила!.. Нечего рассуждать!.. А я хочу думать, хочу понять все, почувствовать, как свою правду! Должен быть убежденным во всем, а для этого я должен понять все, почувствовать, как свою правду! Умом и сердцем! Настоящий большевизм и есть уверенность! Мы, большевики, — от убеждений.

В этом наша особенность и наша сила! Сила! Ибо нет ничего сильнее твердых убеждений! Я большевик не по билету, а по убеждению! Был таким и буду таким!» Этот монолог Апейки — настоящий вызов честного человека тоталитарной системе, это голос Гражданина, внутренне свободного человека. Личность Апейки как руководителя четко выделялась на фоне большой серой массы руководителей-приспособленцев, которые не имели ни достаточного опыта, ни смелости и которые, таким образом, только усиливали общую атмосферу посредственности, подозрительности и недоверия, укоренившуюся в обществе в то время.

В конце концов, по замыслу Ивана Мележа, судьба Апейки сложилась светлее, чем у Алеся Маёвого: после публикации статьи Сталина «Головокружение от успехов» и официального осуждения политики «перегибов» Апейка был восстановлен в партии. Однако, несмотря на разные судьбы учителя и ученика, их объединяет то, что они оба перед лицом собственной жизненной драмы, обусловленной внешними обстоятельствами, остались внутренне непоколебимыми. Через судьбу и внутренние убеждения этих персонажей Иван Мележ стремился показать, что сила духа человека сильнее даже самых жестких обстоятельств. Именно в таких людях, как Апейка и Алесь, по мнению автора, проявляется огромный духовный потенциал народа. В этом контексте еще раз хочется привести вышеупомянутую цитату: «Именно в таких… — сила народа… Живая сила».

Подобную внутреннюю борьбу, но при других обстоятельствах, переживает еще один персонаж — Ганна Чернушка. Это любимый женский образ писателя. Подобно тому, как все труднее и труднее в атмосфере нетерпимости и травли становится таким честным людям, как Апейка и Алесь Маёвый, все более невыносимо становится и Ганне жить в доме нелюбимого мужа Евхима. В конце концов, она решила бежать и нашла свое новое пристанище в соседней деревне Глинищи. Жажда свободы подтолкнула ее вырваться из семьи Глушаков, но для этого ей пришлось решиться пойти наперекор тем прочным, архаичным обычаям, которые издревле существовали в Куренях. Смелый поступок Ганны стал настоящим вызовом многовековой традиции деревни. Автор отмечает, что когда она все-таки вырвалась из семьи Евхима, «в Куренях пошли слухи, что Ганна не только не побоялась, а посмеялась с него. Среди разговоров о Ганне были такие, что старики, говорили, не помнили, чтобы в Куренях когда-нибудь какая-нибудь жена бросала человека, да еще такого, как Евхим…» Шаг, на который пошла Ганна, был обусловлен ее внутренней духовной эволюцией, ее внутренним стремлением к свободе, пониманием невозможности дальнейшего подчинения нелюбимому человеку. Иван Мележ отмечал, что в судьбе, действиях, переживаниях героини он воплотил свои представления «о счастье, о любви, о самопожертвовании». В этом образе автор прославил стремление человека к свободе, решительность, готовность двигаться к новому, действовать, изменить жизненные обстоятельства.

Недаром Иван Мележ столько внимания уделил характерам и судьбам Ивана Апейки, Алеся, Ганны. Писатель стремился довести до своих современников и последующих поколений, что будущее народа — именно за внутренне свободны-

ми, активными, неравнодушными личностями. Счастье каждого человека зависит прежде всего от его личных усилий, а судьба народа в целом обусловлена тем, насколько глубоко в обществе установится вера человека в собственные силы.

Если же человек не стремится выстроить свою судьбу и жизненный путь собственными усилиями, а старается приспособиться к окружающим обстоятельствам, то будущее такого человека не может быть определенным, а во многом зависит от случайностей. Иван Мележ в «Полесской хронике» показал, как быстро меняются обстоятельства, и то, что сначала казалось преимуществом, быстро стало недостатком в последующем. Так, в перспективе ошибочным оказался шаг мачехи Ганны Чернушки, настоявшей на том, чтобы ее падчерица вышла замуж за Евхима, сына кулака: согласно дальнейшему сюжету «Полесской хроники», оставшемуся в набросках писателя, семью Глушаков раскулачили, а вместе с этим позор постиг и семью Чернушек. Таким же образом и Василь, который не смог в нужное время сделать правильный выбор в пользу любимой девушки, а вступил в брак с дочерью Прокопа, которую никогда не любил, после проведения коллективизации оказался и без земли, и без семейного счастья.

В «Полесской хронике» Иван Мележ прежде всего стремился прославить образ человека трудолюбивого, активного, а не пассивного. Противоречивым в этом плане является характер Василя: с одной стороны, он человек очень трудолюбивый, но с другой — недостаточно решителен в важные, ответственные моменты. Когда жизнь поставила его перед сложным выбором (связать жизнь с любимой девушкой либо увеличить свой земельный участок), то герой очень долго колебался, а так и не решился сделать последний, решительный шаг в сторону Ганны, проявил пассивность в самую ответственную минуту. Фактически последний шаг вместо него сделала сама жизнь, сам ход последующих событий (сначала Василя опередил Евхим, потом Ганна одна решилась бежать в Глинищи). Причем в минуты отчаяния герой осознавал свой недостаток, свою нерешительность: «До каких пор же оно все это будет, — что крутишься на одном месте. Что никак не наберешься твердости, чтобы повернуть или сюда, или туда. Чтобы решить твердо и чтобы не оглядываться. Чтобы не жалко было или того, или другого! Когда же это станет жить так — что на душе легко!..»

Другими качествами обладает Иван Анисимович Апейка. Историзм проявился в размышлениях этого героя о тех изменениях в жизни полешуков, которые должны наступить после осушения болота: «Сколько же здесь мыслей передумано, среди этих седых зарослей, сколько надежд умерло, сколько разочарования и злости истлело! Люди думали, рвались душой, а жизнь шла своей размеренной, весомой поступью, безразличная, безжалостная к людским грезам и стонам! Шла, пока однажды не повернули ее, не изменили ход: мокрое болото видело тогда, пожалуй, толпы вроде незнакомых, захмелевших людей; его кроили заново, спорили, радовались, брались за грудки. Когда перекроили, утихло, и все как бы снова пошло ровной, вечной дорогой, с теми же заботами, беспокойством, с тем же стремлением». Апейка решительно призывает к переменам, которые улучшат жизнь крестьян. Неслучайно это столкновение двух мировоззрений, двух позиций к жизни — активной и пассивной — во время первой встречи Апейки с Василем вызвало довольно резкие слова в адрес последнего: «Для вас, для вашего счастья, стараются, гибнут люди. А вы, вы — за себя постоять не умеете!.. Ты — не бандит, ты — крот, который копается в своей норе. И только одну свою шкуру бережет. А там — хоть трава не расти! Пусть другие принесут тебе счастье на блюдечке!..»

Описывая поведение Василя и других персонажей, писатель исследовал психологию людей, которые в течение длительного времени находились в зависимом положении, социальное положение которых ранее не позволяло решать свою собственную судьбу. Такая ментальная особенность большей части населения поспособствовала тому, что властям удалось осуществить коллективизацию насильственными мерами, редко встретив организованное сопротивление. Иван

Мележ в своих записях отмечал, насколько терпимо сельские жители БССР отреагировали на насильственное вмешательство в их исконный уклад жизни: «Коллективизация у нас прошла спокойно. Без особых выступлений. Главное, что проявилось, — извечная покорность крестьян. Если прижали — покорно пошли. Веря в душе, что не погибнут. Всякое было раньше — не пропали. Не пропадем и сейчас, может. В одних была вера, во вторых — иллюзии, что все прекрасно и сразу пойдет вверх, у других — большинства — смирение, покорность». Анализируя тогдашние события с позиции сегодняшнего дня, становится очевидно, что политика насилия и репрессий как раз и имела успех потому, что в качестве фундамента опиралась на это «смирение» или, говоря сегодняшними словами, неразвитое гражданское сознание большей части населения. И к сожалению, исторические реалии двадцатого века, тоталитарная система, сложившаяся в 1920-е — 1930-е годы, только способствовали дальнейшему существованию психологии зависимости и пассивности.

В приведенных словах писателя звучит сожаление об этом «извечном смирении» и мысль о том, что такие черты характера, как безынициативность, пассивность, необходимо постепенно преодолевать. В «Полесской хронике» через отражение характеров и судеб своих героев Иван Мележ стремился доказать, что каждый человек должен научиться брать на себя ответственность, брать жизненную нить в свои руки. Жизненная позиция человека непосредственно влияет на его собственную судьбу, а позиции множества людей вместе, сочетаясь, — на историческую судьбу народа. Писатель подчеркивал, что и в среде осторожных жителей Куреней рождаются инициативные, одаренные, творческие люди, которые имеют все возможности войти в элиту на новом этапе развития общества. Свидетельством тому являются наиболее любимые Мележем образы Ивана Апейки, Алеся Маёвого, Ганны Чернушки, которые плоть от плоти связаны с родной деревней, с родной землей. Писатель искренне верил, что именно такие люди — стойкие и одновременно честные, рассудительные, ответственные — должны стать основой общества будущего.

Задача, поставленная автором при написании цикла романов «Полесской хроники», — рассказать о событиях 1930-х годов в национальной белорусской истории — была крайне сложна. Необходимо было не только показать ошибки и драматизм прошлого, но и одновременно подчеркнуть то положительное, что было сделано в это время. Сам Иван Мележ настаивал, что к истории нельзя относиться однобоко, особенно к ее трагическим моментам: «Не могу не сказать о том ощущении, которое гнетет душу, когда видишь, с какой легкостью некоторые обращаются с предметами, требующими особой осторожности и ответственности. Когда читаешь некоторые бойкие стихи или статьи о культе личности, так и хочется сказать их авторам: не развлекайтесь этим, это — не для развлечений, особенно — литературных, в этом — большая боль. На это нужно иметь особое право — право выстраданности, право взрослого сердца и мудрости! Тем более этим нельзя ни кокетничать, ни спекулировать!» Писатель достойно справился с поставленной задачей. Свидетельством высочайшего мастерства Ивана Мележа стало то, что в 1972 году он был удостоен высшей государственной премии СССР — Ленинской — именно за цикл романов «Полесская хроника». В том же 1972 году ему было присвоено звание Народного писателя БССР.

* * *

Каждое поколение ищет в истории ответы на свои вопросы, вырабатывает собственную оценку минувших событий. Взгляд Ивана Мележа на процесс коллективизации уже отличался от взгляда современников той эпохи. Это нашло свое отражение и на страницах «Полесской хроники». Автор поставил вопрос о цене проведенных преобразований для населения, показал, насколько болезненными они были для крестьянина. Но писатель не сомневался в необходимости прове-

дения самой коллективизации. Ведь Иван Мележ был сыном своего времени. Он верил в то, что на основе коммунистических идеалов жизнь можно изменить к лучшему, учтя исторический опыт и ошибки, отобрав все лучшее. В «Полесской хронике» писатель доказывал необходимость отстаивания своих убеждений, показывал недопустимость предательства во имя карьерных устремлений.

Но идеалам Ивана Павловича не суждено было реализоваться в советское время. Действительность существенно разошлась с теми мыслями, которые автор хотел донести. Чувству внутренней свободы, которым писатель наделил своих любимых персонажей, противоречила сама советская командно-административная система, хоть и отбросившая свои наиболее жесткие формы, характерные для 1930-х годов, но пронизывавшая общество и после двадцатого съезда КПСС. Человеку с сильным чувством гражданской ответственности часто приходилось нелегко в таких условиях. В 1970-е годы безразличие, декларативность, карьеризм, описанные в «Полесской хронике», постепенно становились все более распространенными явлениями «застойного времени». Они размывали фундамент самой советской системы. В то время как с высоких трибун говорили о наступлении стадии «развитого социализма», о построении такого сообщества, как «советский народ», в реальности общество постепенно теряло свой внутренний стержень, свой духовный потенциал — ту силу, которая позволила людям пережить ужасающие 1930-е годы и Великую Отечественную войну. И как результат, сама советская система оказалась недостаточно внутренне устойчивой, чтобы противостоять вызовам нового времени. Ведь история безжалостно искореняет все декларативное, пустое и потом жестоко наказывает за проявленную в свое время стратегическую недальновидность. Безусловно, Иван Мележ видел эти пороки, и его заветы были прежде всего адресованы именно современникам, адресованы 1960-м — 1970-м годам.

В набросках к следующему роману Апейка произносит очень проницательный монолог (который наверняка должен был бы стать одним из центральных, кульминационных монологов всей «Полесской хроники», но автор не успел его опубликовать): «Вся соль, по-моему, в том, чтобы нам поверили. Поверили, что то, что мы делаем, — толковое, надежное. Чтобы дело это стало делом сердца людей. Трудно это, печально, и нетерпение нас печет, но ничего не поделаешь. Надо — чтобы поверили! Единственное средство: убедить, добиться, чтобы поверили! Только там, где вера, где душа, — будущее надежное! Только там человек будет считать все своим, кровным! Не чужим, господским!.. Большая вещь: вера, вера народа!»

Иван Мележ очень большое значение придавал вере народа, складывающейся из веры каждого человека в собственные силы, в собственные возможности, в собственное будущее. Вера — мощный двигатель, который помогал людям в самые трудные времена переживать тяжелейшие испытания. Именно она является источником самоотверженности, которую отмечал писатель в своих записях. Отойти от пассивности и осуществлять свершения во имя сегодняшнего и будущего дня — важный завет писателя. А для этого каждый человек должен поверить в собственные силы и начать действовать. Прославляя в «Полесской хронике» лучшие качества народа, его самоотверженность, Иван Мележ доказывал, что народ непобедим, когда обладает большим духовным потенциалом.

Однако очень опасным является и злоупотребление верой народа. К сожалению, история двадцатого века была достаточно наполнена многочисленными невыполненными обещаниями, великими идеями нереалистичного характера. Это приводило к тому, что люди теряли веру в свои возможности, в собственное будущее, что толкало человека в бездну пассивности и равнодушия.

В настоящее время необходимо по-новому осмыслить события, описанные в «Полесской хронике», и те заветы, которые нам оставил писатель. За последние два десятилетия — короткий по историческим меркам период — произошло много перемен: это и создание суверенной белорусской государственности, и формирование рыночной экономики после семидесяти лет существования совет-

ской социально-экономической системы, и вхождение в информационную эпоху. Адаптируя гражданские взгляды писателя к реалиям сегодняшнего дня, можно сделать следующий вывод. В сегодняшних условиях устойчивым может остаться лишь прочное гражданское общество, которое возникнет только в результате его постепенной самоорганизации, внутренней эволюции. Именно в крепком гражданском обществе наилучшим образом воспитывается ответственность человека за свою судьбу и за судьбу государства. Воспитание прочной национальной идентичности также может базироваться только на основе сильного гражданского общества. И это единственный путь противостоять тем многочисленным вызовам, с которыми общество и государство может столкнуться в этом столетии.

Важным императивом, которым руководствовался в свое время писатель во время создания романов «Полесской хроники», было обращение к истории, к нашим историческим корням. Работая над циклом романов, писатель сформулировал такой завет своим читателям: «Знать, кто мы. Не забывать, откуда мы вышли. Только тогда, когда мы будем знать, откуда мы, какими были, мы можем знать, кто мы. Знать цену себе, своей жизни». Теперь эти слова звучат особенно актуально, когда мы, двигаясь в общем русле мировых процессов, постепенно вступаем в новую — информационную эпоху. Часто говорят о том, что процессы глобализации, всеобщей информатизации космополизируют человека, создают условия для его отрыва от исторических корней. Но эти процессы также создают дополнительные возможности. Это возможности подчеркнуть свою особенность, свою национальную идентичность с помощью новейших информационных средств. Информационная революция создает для всех равные возможности. Но то, насколько полно они будут использованы, зависит от гражданского сознания населения, от патриотического чувства, которое вызревает в сердце каждого человека. Еще в 1960-е — 1970-е годы в своей главной работе жизни — «Полесской хронике» — Иван Мележ доступным языком рассказал о белорусах, об их культуре, драматических моментах истории и силе народного духа. В первой половине 1980-х годов по сюжету «Полесской хроники» белорусский режиссер Виктор Туров создал восьмисерийный художественный фильм «Люди на болоте». Произведения Ивана Мележа еще в советское время были переведены на десятки языков мира, что позволило ознакомиться с ними читательской аудитории в разных уголках Земли.

На страницах «Полесской хроники» в речи своих героев Иван Мележ отразил еще одну культурную особенность полешуков — их особый язык, восточнополесский диалект. Писатель вспоминал, что долго решался на то, чтобы «ввести в роман их настоящий, пусть, может, и странный для других язык… И сразу почувствовал, как мои герои ожили, стали теми людьми Полесья, которых мне хотелось видеть и слышать». К сожалению, колорит этого восточнополесского языка несколько теряется при переводе. Будучи не только писателем, но еще и общественным деятелем, занимая должность секретаря Союза писателей БССР, Иван Павлович Мележ старался обратить внимание на важность бережного отношения к национальному языку. Он оставил следующий завет: «Язык — это большое народное сокровище. Его нельзя не уважать, как нельзя не уважать родной народ».

Замыслы автора по мере написания «Полесской хроники» менялись, перерабатывались, но неизменным оставался один принцип, которым он руководствовался с самого начала: «Мне хотелось написать книгу в полном смысле народную, которая бы прославляла народ, его подвиг, была бы пропитана большим уважением к нему и заботой о нем». В своих книгах Иван Мележ стремился утвердить веру в будущее белорусского народа. Показательно, что весь цикл романов писатель намеревался завершить следующими словами Василя, вернувшегося после окончания Великой Отечественной войны на пепелище родных Куреней: «И все-таки мы будем жить. Нас — не уничтожить. Ибо мы — народ!» И этот пафос восстановления, веры в силы народа выражает главную заповедь, которую писатель хотел передать будущим поколениям.

Михаил ВИШНЕВСКИЙ

Научные идеи и повседневные наблюдения

О социальной философии А. А. Зиновьева



Александр Александрович Зиновьев.

Современная социальная философия не отличается богатством и разнообразием новых идей. Поэтому целесообразно внимательно отнестись к опубликованным в последние десятилетия работам Александра Александровича Зиновьева, имеющим неоспоримое мировоззренческое значение и, что также очень важно, написанным ясно и доходчиво. В этих работах настойчиво подчеркивается необходимость разграничивать научное исследование общественных явлений и их субъективную оценку, ни коим образом не смешивать науку и идеологию. Науку отличает прежде всего объективная беспристрастность, т. е. познание объектов такими, какими они являются сами по себе, независимо от симпатий и антипатий исследователя к ним и не считаясь с тем, служат результаты исследований интересам каких-то категорий людей или нет. Правда, неукоснительно выполнять требование, чтобы социология была строго научной в смысле полной объективности и беспристрастности, весьма непросто, что и демонстрируют сочинения самого Зиновьева.

Беспристрастность, как справедливо отмечает он, означает отсутствие эмоциональной вовлеченности в отношения между людьми, избегание поспешных и категорических оценок. Приходится, однако, признать, что ему не всегда удается оставаться беспристрастным и, обсуждая, несомненно, волнующие его вопросы, отстранять эмоционально насыщенные оценочные суждения. Так, коммунизм, каким тот реализовался в СССР, он связывает с преобладанием отношений коммунальности на всех уровнях общественной жизни. При этом Зиновьев утверждает, что ничем не отграничиваемое действие законов коммунальности ведет к процветанию лицемерия, насилия, коррупции, бесхозяйственности, обезлички, халтуры, хамства, лени, обмана, серости, служебных привилегий, превознесению ничтожеств и подавлению ярких дарований, господству скуки, тоски и застоя[1]. Понимая причины обличительного пафоса всех этих характеристик, можно все же усомниться в строгой их беспристрастности.

Вместе с тем, знакомясь с работами Зиновьева, нетрудно заметить, что некоторые его оценки с течением времени претерпели весьма значительные измене-

[1] Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность / А. А. Зиновьев. — М.: Центрполиграф, 1994. — 495 с.

ния. Перелом наступил с началом перестройки в СССР. До этого он заявлял, что «борьба против коммунистической тенденции — в интересах всех»; в последующем он высказывал неподдельную тревогу по поводу того, что западный тип общественного устройства («западнизм») одержал окончательную победу над коммунизмом и лишил последний шансов развиваться и трансформироваться в соответствии со своими внутренними закономерностями.

В обобщающей монографии раннего периода формирования его социально-философской концепции, названной «Коммунизм как реальность» и написанной в ФРГ в 1980 году, он рассматривал коммунизм как антипод цивилизации. В дальнейшем он пересматривает свою позицию и формулирует вывод о том, что коммунизм и западнизм — это два варианта развития в рамках западной цивилизации[1]. Теперь он уже открыто заявляет, что в коммунистическом типе общественного устройства есть немало достоинств, и во всяком случае признает за ним право на самостоятельное развитие, прерванное усилиями внутренних и внешних противников.

В поздних работах Зиновьева излагается концепция, претендующая на преодоление принципиальных недостатков как принятой в СССР и других странах коммунистического типа официальной марксистско-ленинской доктрины, так и многочисленных обществоведческих сочинений западных авторов. Эти труды, по его убеждению, будучи любопытными в деталях, в целом совершенно не годятся «для научного понимания важнейших социальных феноменов современности — реального коммунизма, реального западнизма и величайшего перелома в социальной эволюции человечества»[2], который произошел во второй половине XX века и представляет собой сокрушительное поражение коммунизма.

Главное внимание Зиновьева привлекают человеческие объединения, их историческая судьба. Очевидно, такие объединения весьма разнообразны, и размытое обычно понятие общества он «приберегает» для характеристики вполне определенного их типа. Для того, чтобы дать обоснованное определение тех человеческих объединений, которые представлены современными высокоразвитыми странами, задающими основной вектор общественного развития наших дней, он вначале выделяет из множества человеческих объединений те, которые называет *человейниками*. Затем он определяет специфическую сущность таких *человейников*, как *общества*, и далее обсуждает переход от эпохи обществ к эпохе *сверхобществ*, в которой мы теперь живем. *Человейники* более низкого уровня, чем общества, выступают как предобщества, а более высокого — как сверхобщества.

Человейником Зиновьев называет не всякое объединение людей (они ведь бывают случайными и временными), а такое, члены которого устойчиво живут совместной исторической жизнью. Они воспроизводят себе подобных, вступают между собой в регулярные связи, занимают в этом *человейнике* различные позиции, выполняют определенные функции, что и обеспечивает самосохранение *человейника*. Различные *человейники* могут иметь более или менее сложное строение. По убеждению Зиновьева, никакого единого универсального фактора, определяющего структурирование, функционирование и эволюцию *человейников*, не существует. Тем самым отбрасываются монистические (материалистические либо идеалистические) истолкования социальной действительности.

Человейники рассматриваются как многомерные образования. Они организуются и эволюционируют одновременно в разных направлениях или измерениях. Каждое из их измерений имеет свои закономерности, не сводимые друг к другу. Все эти измерения, вместе с тем, переплетаются, взаимно проникают друг в друга. Только теоретическим путем, посредством абстракции их можно выделить в «чистом» виде и в наиболее характерных проявлениях.

---

[1] Зиновьев А. А. Фактор понимания / М.: Алгоритм, ЭКСМО, 2006. — 528 с.

[2] Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу / А. А. Зиновьев. — М.: Центрполиграф, 2000. — 638 с.

Каковы же эти измерения или, как их еще называет Зиновьев, средства социальной организации *человейников*? Он полагает их общеизвестными и называет в этой связи власть и управление, деловые «клеточки» и соответствующую им сферу хозяйства, а также сферу религии и идеологии. Совместно они обеспечивают единство *человейника* и условия жизнедеятельности всех его членов. Для этого между данными измерениями или, как он еще их называет, факторами устанавливается взаимная согласованность, достигаемая путем их «притирки», приспособления друг к другу. Все компоненты социальной организации должны рассматриваться в комплексе, иначе возникает путаница, сопровождаемая бессмысленными спорами о словах.

В разных *человейниках* роль указанных факторов может быть неодинаковой. В одних может доминировать власть, в других хозяйственная сфера, в третьих — религиозная сфера. Зиновьев проводит отчетливое различие между деловым и коммунальным аспектами *человейника*. «В первом люди делают все то, что необходимо для их существования, вырабатывают, сохраняют и совершенствуют трудовые навыки и средства труда, создают материальную культуру. Во втором аспекте люди совершают поступки в зависимости от того, что их много, что их интересы не совпадают, и они вынуждены с этим считаться».

В примитивных *человейниках* эти аспекты еще нераздельны; в дальнейшем они обособляются, хотя определенное их единство продолжает сохраняться. Так, отношения начальствования и подчинения имеют одновременно и деловой, и коммунальный, а также и менталитетный аспекты. В *человейниках* западного типа деловой аспект доминирует над коммунальным; наоборот, в *человейниках* коммунистического типа коммунальный аспект преобладает над деловым. В экономике вообще доминирует деловой аспект, а в государственной жизни — коммунальный. Выделение менталитетного аспекта Зиновьев связывает с другим измерением *человейника*. Этот аспект охватывает возникновение и развитие верований и религиозных культов, а затем и философии, науки, искусства. В современных *человейниках* данный аспект достигает масштабов двух других основных аспектов.

Деловой аспект не сводится только к добыванию и производству материальных ценностей, а охватывает и создание культурных ценностей, средств развлечения, средств управления людьми и вообще все, что человек совершает более или менее регулярно и что признано как полезное, удовлетворяющее какие-то жизненные потребности людей. В коммунальном аспекте люди поступают в соответствии с законами *экзистенциального эгоизма*, или рационального расчета, продиктованного соображениями собственной выгоды. Такие поступки Зиновьев находит совершенно естественными. Для их регулирования в *человейнике* вырабатываются и закрепляются традицией или какими-то другими путями правила (нормы) поведения, способы принуждения к соблюдению этих правил и наказаний за их нарушение. Законы экзистенциального эгоизма диктуют удовлетворение человеком своих интересов за счет других людей, а также стремление помешать конкуренту добиться успеха; они порождают враждебное отношение к людям с выдающимися способностями, которые создают угрозу «серостям». Но люди в процессе социализации приучаются маскировать свои действительные мотивы. Совместно они вырабатывают средства обуздания буйства коммунальности (религию, мораль, идеологию, право). Тем не менее, если человек хочет достичь успеха, он должен отрешиться от внутренней моральности и развить способности к моральной мимикрии.

Законы рационального расчета, полагает Зиновьев, действуют и в отношении *человейников* в целом, ибо эти объединения людей выступают как своеобразные коллективные личности. Целые страны ведут себя так же, как и отдельные люди, ставя на службу коллективному эгоизму политику, дипломатию, исследователь-

ские центры и т. д. и прикрывая свои цели и действия лицемерными объяснениями и декларациями.

Человейник, как утверждает Зиновьев, «возникает, организуется, живет и эволюционирует одновременно на трех уровнях — на микро-, макро- и суперуровне». Объекты первого — это отдельно взятые люди и их объединения в виде различных социальных ячеек, или *клеточек*. В каждой из них, если она насчитывает хотя бы несколько человек, выполняется функция управления через выделение руководителя. Разделение людей на начальников и подчиненных видится Зиновьеву самой глубокой основой неравенства в распределении социальных позиций и жизненных благ. Каждый *человейник* имеет клеточную структуру. Клеточки могут быть деловыми, выполнять производственную функцию; они могут выполнять также и другие функции. Положение человека в клеточке, к которой он относится, определяет его положение в *человейнике* в целом.

Макроуровень *человейника* характеризуется основными сферами, охватывающими весь этот *человейник* и состоящими из социальных клеточек, выполняющих соответствующие функции. Основные сферы соотносятся с ключевыми аспектами *человейника* (коммунальным, деловым и ментальным) и выступают соответственно как сферы власти и управления, хозяйства, менталитета. Возникают данные сферы в результате разрастания и дифференциации соответствующих аспектов *человейников*. В высокоразвитых современных обществах это сферы государственности и права, экономики, идеологии. Если предобщества возникают стихийно, без осознанного намерения и плана, то в образовании обществ, по мнению Зиновьева, значительную роль играют сознательные факторы. Это не означает, конечно, что все люди четко понимают происходящее. Усилия людей целенаправленны в том смысле, что они вытекают из объективной необходимости, диктующей формы преобразования прежней организации социальной жизни и связанные с этим конкретные задачи.

Все компоненты данной организации связаны между собой; у разных обществ они неодинаковы. При описании социальной организации *общества* в теоретически «очищенном» виде нужно, по мнению Зиновьева, начинать со сферы государственности (власти и управления), ибо определение других сфер предполагает ссылку на государство и невозможно без нее, тогда как государство можно определить и само по себе. Обосновываемое в обсуждаемых здесь работах понимание государства радикально расходится с марксистской социально-философской концепцией и базируется на осмыслении современных реалий жизни общества. Они же показывают, что борьба антагонистических классов и стремление экономически господствующего класса к установлению своей политической власти не играют существенной роли в происходящих в наше время процессах возникновения новых государств. Примеры — распад СССР и Югославии.

Государство многомерно и многоаспектно. Оно «возникает и для самого себя, и для привилегированных классов, и для всего общества. Ошибочно раздувать какой-то один из этих аспектов в нечто абсолютное и всеобъясняющее». Если нет государства, то нет и общества, хотя здесь важны также и другие процессы. Правда, государственность — хотя и необходимый, но не достаточный признак общества. Функция государственности состоит в том, чтобы обеспечить жизнь и самосохранение общества как целого. Это целое есть необходимое условие удовлетворения частных интересов (в разной степени и не всех). Такова совокупная тенденция. Поскольку появляется группа людей, занятых поддержанием и укреплением целостности общества, выражающая интересы целого, эта группа получает возможность заботиться и о себе посредством заботы об общественном целом.

Высшая власть в обществе — это власть политическая. Ее функцией является власть над всей совокупностью власти в обществе и через нее над обществом как целым. Таким путем система власти приобретает характер государственности

в ее развитом виде. Вместе с государством и в неразрывной связи с ним возникает право. Государственная власть имеет монопольное право на законодательную нормативную деятельность, а также право суда и право наказания за преступления против закона.

Экономика, по Зиновьеву, представляет собой особый тип хозяйства, специфический именно для общества, т. е. функционирующий при наличии государства и права. Государство придает хозяйственным отношениям и деятельности узаконенную форму, сообщает этим отношениям целостность, вводя денежную систему, регулярный обмен и т. д. Оно служит экономике, поскольку экономика служит ему самому.

Идеологическая сфера тоже функционирует в рамках государственных форм жизни определенного общества, становясь тем самым элементом его социальной организации. Данная сфера складывается в силу того, что жизнь общества имеет тенденцию к дальнейшему усложнению, и нужно сформировать определенным образом сознание составляющих его людей, нацелив его на сохранение целостности общества.

На заре человечества функцию идеологов выполняли колдуны, целители, шаманы; позже — служители религии. В наши дни это философы, социологи, писатели, журналисты и другие производители «духовной пищи», судя по всему, не вызывающие особых симпатий у автора обсуждаемых работ. Идеологическая сфера опирается на государственную организацию общества, поддерживается ею, служит ей и сама использует ее в своих интересах. Заполняя сознание людей строго определенным идейным содержанием и обучая соответствующим способам работы сознания, идеологическая сфера делает основную массу людей, составляющих общество, неспособными мыслить самостоятельно и критично и направляет их на выполнение предназначенных для них социальных функций. По-иному, полагает Зиновьев, сознание в людях не пробудить — оно ведь не дается человеку от рождения и должно быть сформировано. Вот его и формируют таким, каким оно нужно для данного общества (управляемого, напомним, государством). Те, кому удается вырваться из идеологической «клетки», рассматриваются как аномальные элементы. Большинство же людей, благодаря деятельности идеологической сферы в обществе, имеет усредненное и стандартизированное сознание.

Идеологию не обязательно фиксировать в виде четко сформулированного и систематизированного учения, как это было в великих религиях или в марксизме-ленинизме. Как правило, достаточно, чтобы крупицы идеологии были рассеяны повсеместно в источниках общедоступной и широко используемой информации. В главном вся эта информация внутренне согласована, ее фрагменты подкрепляют друг друга, что и характерно для весьма мощной идеосферы современных западных стран.

Идеологический способ мышления рассматривается Зиновьевым как антипод научного. Идеологи не ставят перед собой задачу выработать объективное понимание мира; они скорее создают искусственную схему миропонимания, которая навязывается людям в качестве неоспоримой и непререкаемой. Данное мышление пристрастно, оно оправдывает социальную организацию своего общества и защищает ее от врагов. Вымышленный мир, сконструированный идеологами, построен так, чтобы не мешать людям в их повседневной жизни. Скорее он даже помогает жить, избавляя от многих раздумий и сомнений, предлагая готовый набор общепринятых правил поведения, критериев оценки явлений социальной действительности. Отказ от привычной идеологии порождает у людей растерянность и тревогу.

Зиновьев полагает, что не все явления, возникающие в процессе эволюции человечества, могут быть ассимилированы обществами или удержаны в их рамках. Отсюда он заключает, что возможен качественно новый, более высокий, чем

общество, уровень социальной организации, который он называет *свехобществом* и полагает, что этот уровень уже является реальностью. Сверхобщество видится им как диалектическое отрицание общества. Оно возникает в среде обществ, на их основе, с использованием их материала и опыта и, вместе с тем, имеет иную социальную организацию, чем общества. Эпохи обществ и сверхобществ как бы накладываются друг на друга. Здесь имеет место не только диалектическое снятие общества, но и отрицание отрицания, предполагающее возврат по ряду признаков к начальной исторической эпохе — предобществу.

В рамках западной цивилизации, отмечает Зиновьев, развились две линии социальной эволюции человечества — западнистская и коммунистическая. Они конкурировали между собой, непримиримо боролись за роль лидеров и за мировую гегемонию и были важнейшими зонами роста в эволюции современного человечества.

Западнизм — это социальный строй стран западного мира. Начало ему положило успешное развитие западноевропейских народов, которые затем распространили свое влияние на другие страны и континенты. Слово «западнизм» введено Зиновьевым потому, что другие, привычные определения — капитализм и демократия — он находит неполными, односторонними и полагает, что они стали в наше время скорее идеологическими выражениями, нежели научными терминами. Демократия не исчерпывает западнистскую государственность, которая включает также мощную и довольно стабильную часть, состоящую прежде всего из административно-бюрократического аппарата, не связанного с действием принципов демократии. Формируется данная часть путем назначений, а не через выборы, и работает она на основе приказов, негласности, беспартийности. Именно эти люди составляют преобладающее большинство кадрового состава западнистской государственности. Вообще предназначение системы выборов видится не в том, чтобы реализовывать идеалы демократии, а в том, чтобы отбирать в органы власти каких-то людей, действия которых будут признаваться легитимными.

Характеризуя социальные клеточки, представленные в обществе, Зиновьев различает те из них, которые создаются решением властей, и те, которые возникают по инициативе частных лиц и организаций. В западнистском обществе есть и те, и другие, но клеточки, порожденные частной инициативой, составляют подавляющее большинство и играют ведущую роль, что и позволяет охарактеризовать данное общество как частно-предпринимательское. Жизнь таких клеточек всецело посвящена делу, для которого они созданы. Коллективами в строгом смысле этого слова они не являются; нет в них и внутриклеточной демократии, характерной для коллективов в коммунистическом обществе. В деловых клеточках царит деловая диктатура. «Западное общество, будучи демократическим в целом, т. е. политически, является диктаторским социально, т. е. в деловых клеточках». Потребности в непосредственном общении с другими людьми, в личных неделовых контактах здесь удовлетворяются вне сферы трудовой деятельности, вне ее первичных клеточек.

Западнистская экономика достигла небывалых высот. Вместе с тем в этой сфере, как отмечает Зиновьев, происходят огромные изменения, которые означают, что чрезмерное развитие экономики породило сверхэкономику как один из элементов сверхобщества. Западное общество практически полностью состоит из собственников того или иного рода; отношения собственности переплелись и невероятно усложнились, равно как и отношения по поводу управления производством. В этих условиях различия между частными и государственными предприятиями во многом утрачивают социальный смысл; а ведь из этих различий обычно исходят, противопоставляя экономику капиталистического и коммунистического общества.

Идеологическая сфера в западных странах является даже более мощной, чем она была в коммунистических. В области идеологии западное единство стало

складываться раньше, чем в экономической и политической сферах. Эта идеология, будучи растворенной во всех формах культуры и поэтому как бы незаметной и ненавязчивой, плюралистична в том смысле, что она состоит из множества учений, идей, направлений мысли, которые нередко противоречат друг другу, особенно если они предназначены для интеллектуальной элиты. Тем не менее, данный плюрализм предполагает внутреннее единство, подобно тому, как, скажем от себя, конкурентная борьба в экономике подчиняется общим «правилам игры» и направляется общей заботой о прибыли.

Идеологический плюрализм является элементом гражданской демократии, выражением характерных для нее разнообразных «духовных» потребностей. Вместе с тем идеология западнизма как целостность имеет внегрупповой и внеклассовый характер. В этом отношении ее положение в обществе сходно с положением государства. Она живет и развивается, поскольку есть множество занимающихся ею людей, имеющих стабильное положение в обществе, влияние в нем, а производимая ими продукция устойчиво пользуется спросом. В последнее время, когда коммунизм как альтернатива западнизма оказался повержен, западнистская идеология переняла у коммунистической самооценку защищаемого ею общества как вершины социального прогресса. Стали даже высказываться суждения о «конце истории».

Система ценностей западнизма, восхваляемая и пропагандируемая его идеологией, выпячивает на первый план то, «что в течение многих веков считалось пороками и наихудшими проявлениями свойств человеческой натуры». Подобно тому, как в деловой сфере символическая и производная экономика берет верх над реальной и основной, в системе ценностей господствующее положение приобретают символические и производные ценности. Создатели фундаментальных ценностей культуры привлекают гораздо меньше внимания широкой аудитории, чем герои развлекательных сюжетов; исполнители намного популярнее, чем творцы. Система ценностей западнизма переросла в систему соблазнов, транслируемых с помощью средств массовой информации. Уровень жизни населения в целом вырос, но соблазнов стало намного больше, и это делает жизнь многих людей исполненной страданий.

Идеалы здесь вообще не играют никакой роли. В истории человечества, как полагает Зиновьев, они овладевают людьми лишь на непродолжительное время и в порядке исключения. Таким исключением «была ситуация с коммунистическими идеалами. Мне даже кажется, что никаких других общественных идеалов в строгом смысле слова вообще не было и нет. Падение влияния коммунистических идеалов означает просто торжество заурядного, будничного, прозаического, прагматичного и т. д. западнизма».

Реальный коммунизм, по убеждению Зиновьева, представляет собой особый тип общественного устройства, классическим образцом которого является социальный строй Советского Союза в лучшие его годы. Советский общественный строй сложился вовсе не в результате насилия, а вследствие действия объективных законов организации больших масс населения в единый социальный организм при вполне определенных — и весьма неблагоприятных — исторических условиях. Основы прежнего социального строя дореволюционной России развалились; разоренная страна была отсталой и преимущественно крестьянской. При создании нового строя классы частных собственников действительно были ликвидированы. Все взрослое трудоспособное население было организовано в стандартные ячейки — деловые коллективы, через которые получалось вознаграждение за труд, необходимое для жизни. Была создана единая централизованная система власти и управления, а также единая плановая экономика, контролируемая и управляемая государством, по отношению к которому все члены трудовых коллективов стали наемными работниками.

Сформировалась централизованная и унифицированная система образова-

ния и воспитания молодежи, государственная идеология и соответствующий идеологический аппарат. Население получило полный комплект минимальных социальных благ. Для защиты страны от внутренних и внешних угроз были созданы мощные карательные органы, органы общественного правопорядка, вооруженные силы. Государство не только не умерло, а значительно укрепилось. Не исчезли и деньги. Социальное неравенство приняло новые формы, связанные прежде всего с различием статуса управляющих и управляемых. Уровень благосостояния населения остался невысоким в сравнении с преуспевающими западными странами. Производительность труда тоже отставала от лучших мировых показателей.

Коммунизм, с точки зрения Зиновьева, не возникает путем самоорганизации масс, а строится при решающей роли системы власти и управления в объединении людей. Именно структурирование системы власти и управления, а не экономика как таковая, образует здесь основу социального структурирования. Последнее происходит преимущественно в коммунальном аспекте и благодаря этому также и в других аспектах. После революции 1917 года перед страной встал вопрос о выживании. Необходимая для этого социальная организация создавалась из обломков прежней при направляющей роли профессиональных революционеров, знакомых с учением марксизма. В России существовала давняя традиция сильной государственной власти, способной удержать единство полиэтничной страны с огромной территорией и редким населением. Новая власть в целом была принята населением. Эта власть использовала привычные для него традиции коллективного действия. С самого начала она стала превращаться в *сверхгосударственную-коммунистическую*. В стране в силу особых исторических условий сразу начало складываться сверхобщество как господствующий элемент жизни. Идейные основы этого сверхобщества составляло учение марксизма, сложившееся в рамках западной цивилизации. В свою очередь, многие люди на Западе рассматривали русскую революцию как начало революции в западном мире и поддерживали ее.

Сталинскую власть Зиновьев рассматривает как подлинное народовластие, которое и породило террор и другие эксцессы. Люди пришли во власть «снизу», профессиональный аппарат государственного управления еще предстояло создать. Для управления социальной стихией нужна была сверхвласть с ее волюнтаризмом, прямой связью масс и вождей, культом личности верховного вождя. Благодаря вовлечению практически всего трудоспособного населения в демократически функционирующие коллективы множество людей приобщалось к публичной социальной жизни. Коллективистская жизнь охватывала все значимые аспекты существования людей, создавала социальную основу нового общественного строя. Стержень государственной организации и всей общественной жизни составляла коммунистическая партия. Когда этот стержень был разрушен, рухнула и вся общественная система советского коммунизма. Зиновьев уверен в том, что это не было естественной смертью; жизнь коммунистического общества была искусственно прервана усилиями внешних врагов и внутренних предателей.

Опыт советского коммунизма показал, что сформировавшееся здесь сверхгосударство, охватывающее и регулирующее все стороны жизни страны и подчиняющее это регулирование и управление задаче обеспечения жизнедеятельности социального целого, при определенных условиях необходимо и возможно. Такое всеобщее огосударствление создает немало проблем и трудностей, но оно обеспечивает и серьезные преимущества, особенно в критических ситуациях (пример — Великая Отечественная война). Цели государственного управления экономикой здесь не являются чисто экономическими, а имеют, прежде всего, социальный характер. Рассуждения о неэффективности коммунистической экономики базируются на применении к ней тех оценочных критериев и

показателей, которые выработаны в рамках совсем другой, капиталистической экономики. Собственно экономическая эффективность коммунистического хозяйствования ниже капиталистического, а вот социальная эффективность, полагает Зиновьев, выше.

Советская идеология стремилась привить людям гуманистические ценности. Предпринимались небезуспешные попытки включить в их систему ценность трудовой деятельности. На Западе люди работают лучше, но труд здесь, как правило, ценностью не считают. Коммунистическая идеология включила в свой состав тезис о самоценности человека труда, но этот тезис пришел в противоречие с законами человеческого общежития, не признающего равенства (и равной ценности) людей. Стремление «иметь» в основном возобладало над стремлением «быть». Западная идеология в конечном итоге получила и здесь благодатную почву для широкого распространения.

Многие люди осуждают духовный упадок западного общества, пытаются бороться с ним. Но, как отмечается в цитируемой работе, это не просто упадок, а существование в другом диапазоне норм, отличном от норм традиционного общества. Этот новый диапазон норм характеризует, по словам Зиновьева, формирующийся своеобразный этап в эволюции западных *человейников* — сверхобщество. Западное общество не является моральным в своей основе, как и любое другое общество. Если мораль препятствует расчетливому прагматизму, она здесь без колебаний отодвигается в сторону. Мораль, правда, сохраняется в мелочах, и притом без риска создать какие-то неудобства и в расчете, что она будет видна со стороны.

Во всех сферах социальной организации западного общества происходит постепенное перерастание ее рамок; благодаря этому, как пишет Зиновьев, изменяется общая социальная ориентация западного мира. В экономической сфере главную роль начинает играть уже не сам факт обладания собственностью и даже не ее размеры, а положение в необозримо сложной системе собственности, аналогичное положению в системе отношений коммунальности. Важной оказывается в конечном итоге причастность к реальному руководству, как это и характерно для коммунальных отношений. Многочисленные проблемы в экономике вынуждают государство действовать наподобие коммунальной власти, активно вмешиваясь в текущую экономическую жизнь страны, в международные экономические связи. Политическая власть срастается с экономической опять-таки с преобладанием коммунальных аспектов и функций. В целом происходит возрастание роли законов коммунальности.

В средствах массовой информации, в художественной и специальной литературе иногда появляются материалы о существовании в системе власти западных обществ некоего феномена, выходящего за рамки государственности и фактически управляющего ею. По существу речь идет о западнистском сверхгосударстве. Десятилетия борьбы западного мира против коммунистического лагеря потребовали создания структур, координировавших и практически осуществлявших эту борьбу, и привели к их разрастанию и громадному усилению. После разрушения коммунизма данные структуры отнюдь не исчезли и не утратили своего влияния, ибо Запад должен был закрепить свои новые позиции в мире и давать ответы на возникающие новые вызовы.

Деятельность, о которой здесь ведет речь Зиновьев, не имеет никакого отношения к демократии и несовместима с подлинной гласностью; не случайно главную роль в ней играют спецслужбы. Необходимость координации усилий западных стран, направленных на защиту своих общих интересов, привела к формированию международной правящей элиты, и вместе с тем, к появлению многочисленных формальных и неформальных структур, в которых заняты сотни тысяч человек. Все эти люди фактически направляют деятельность современных западных государств, не имея на это, как правило, полномочий, предусмотренных

действующими законами. В сфере сверхгосударственности нет политических партий, как нет здесь и разделения властей; зато действует принцип секретности, а публичность сведена к минимуму.

Западнистская экономика переросла государственные границы и сферу действия национального законодательства. Армия юристов в крупных и сверхкрупных корпорациях работает над тем, как грамотно преодолевать юридические препоны, в частности, сокращать выплату налогов. Экономические гиганты действуют внутри западных стран как своего рода «автономные общества со своей социальной структурой, подобной структуре коммунистической страны». Подчиняются они только глобальному денежному механизму, который превратился в доминирующий фактор жизни западного мира.

Характерной чертой современной западной культуры становится неудержимый поиск новых и оригинальных форм. Ею овладевает едва ли не маниакальная идея изменений и новизны. Общество с восторгом принимает это стремление к новому любой ценой. Цена же оказывается довольно высокой. Искусство становится раскованным; ломая все жанры и стили, оно ставит на поток производство вызывающих и скандальных образов и сюжетов. Формируется идеологическая установка, согласно которой, искусство должно стать авангардом социального прогресса. Поскольку старые политические идеи исчерпали себя, радикализм переходит в область культуры. Если социальные структуры управляются экономическим принципом рациональности, то в культуре доминирует иррациональность. «Буржуазные» ценности отвергаются; отбрасывается самоконтроль и самодисциплина. Вместо отражения реальности культура призывается безоглядно творить новое.

Зиновьев полагает, что все это характеризует сверхкультуру западнизма. Она имела первоначальной предпосылкой классическую западноевропейскую культуру, которая была ориентирована на образованных и мыслящих людей. Но масштабы культуры в западном обществе изменились, как изменилось и ее положение в обществе, ее роль в жизни людей. Культура стала адекватной массовому потребителю, и уровень ее радикально понизился в сравнении с ее классическими формами. Новые технические средства производства культуры стали могильщиками социальных, моральных и эстетических ценностей традиционной западноевропейской культуры. Доминировать стал бизнес. Рыночная цена вытеснила эстетическую оценку. Новаторство стало поверхностным и мелочным; сложилась культура посредственностей и для посредственностей.

Подводя итог своему исследованию, Зиновьев делает вывод о том, что «социальная организация западнистского сверхобщества как целое есть диалектическое отрицание социальной организации западнистского общества. Она удерживает вторую в снятом виде». Вместе с тем она является отрицанием отрицания по отношению к социальной организации предобществ, выступая как бы возвратом к дообщественному уровню, но на более высоком этапе развития. Подразделения и функции социальной организации, которые в предобществе были слабо или вовсе не дифференцированы, а на стадии общества достигли предела дифференциации, здесь вновь переплетаются друг с другом, как бы сливаясь в единое целое. Происходит нечто наподобие возрождения догосударственных, доправовых, доэкономических и т. д. форм жизни. Поэтому многие авторы пишут о конце демократии и «свободного капитализма», моральной деградации и гибели культуры в современном западном мире, об упадке западной цивилизации. На самом деле все эти явления, полагает Зиновьев, свидетельствуют о переходе от эпохи обществ к эпохе сверхобществ.

Новая эпоха требует новых людей, и они действительно появились. В этих новых людях наблюдается ослабление и снижение роли тех человеческих качеств, которые раньше считались добродетелями с моральной точки зрения. Теперь уже достойная жизнь достигается благодаря более надежным средствам,

чем прежняя «человечность». Таковы причастность к власти, деньги, умелое применение достижений науки и медицины, и вообще все то, что называют прогрессом. Деградация человека стала платой за прогресс сверхобщества, породивший своеобразного сверхчеловека, внутренне свободного от моральных и прочих человеческих ограничений.

Эмоциональная сфера этого сверхчеловека тоже ослаблена, хотя он отличается высоким мастерством имитации эмоций и чувств, умеет изобразить радость, веселость, бодрость, интерес к разным пустякам. Такой человек выглядит психологически упрощенным в сравнении с другими типами людей, зато он достигает высокого профессионализма в узкой сфере деятельности и умеет целесообразно реагировать на современные жизненные обстоятельства. Его внутренняя пустота компенсируется внешней функциональностью. Все, что избыточно с точки зрения выполнения деловых функций, ушло из его внутреннего мира. Вся бытовая жизнь «западоида» стандартизирована и формируется соответствующими специалистами. Индивидуальность здесь так же избыточна, как и для муравья.

Итак, «западоид» есть высший продукт эволюции человека. Это — искусственно выведенное существо, а не результат чисто биологической эволюции. Он действительно сверхчеловек, а сверхчеловек «в каком-то отношении есть деградация человека. Никакой прогресс не дается даром». Конечно, гуманисты прошлого мечтали не об этом. Но такой социобиологический робот стал абсолютной необходимостью существования западного мира. Этот мир живет очень сложной жизнью. Многие его функции могут выполняться только особым образом сформированными людьми. Не любые народы способны производить в достаточном количестве таких людей.

Западный мир в целом справился с этой задачей, породив в массовых масштабах сверхчеловека, который не просто должным образом ограничен, но и гордится этой своей ограниченностью и свысока смотрит на всех других людей, упиваясь своим превосходством. Западные народы развили в себе силы и способности доминировать над другими народами, покорять их. Для этого выработана идеология, стратегия и тактика всеобщей западнизации как особой формы колонизации. До недавнего времени у западнизма был конкурент — коммунизм. Теперь его нет. Сам же западный мир, в силу его внутренней социальной организации, не может, по мнению Зиновьева, изменить направление эволюционного процесса.

Таково, в весьма сжатом изложении, основное содержание обсуждаемой социально-философской концепции, развернутая версия которой дана в монографии «На пути к сверхобществу», а затем и в других работах. Поучительность обсуждаемой концепции в том, что она объясняет многие важные явления общественной жизни. Так, мы привыкли требовать от идеологии теоретической оформленности, ясной экспликации. Зиновьев же убедительно показывает, что идеология западнизма только выигрывает в плане практической действенности благодаря отсутствию жесткой кодификации. Это полезно было бы иметь в виду тем, кто занят поисками отчетливой формулировки белорусской национальной идеи.

О далеком историческом прошлом концепция Зиновьева говорит немногое, и притом довольно отвлеченно. Вспомним хотя бы понятие *человейника*, которое применимо и к предобществу, и к обществу, и к сверхобществу. А вот когда речь заходит о том, что происходило в течение XX и в начале XXI века, мысль исследователя обретает весьма отчетливую определенность и остроту. «Нерв» этой эпохи составляла борьба между коммунизмом и западнизмом. Правда, наряду с западной, существуют и другие цивилизации, которые едва ли безболезненно и без борьбы откажутся от своей самобытности и своих особых интересов. В работах Зиновьева незаслуженно мало места отведено, например, Китаю. Обсуждаемая концепция выиграла бы от более широкой ассимиляции в ней

материалов геополитики. Вопросы культуры тоже представлены в ней весьма бегло и довольно сумбурно. Если считать социологию всеобъемлющей наукой о социальной действительности, то она должна поглотить политологию, экономические науки, правоведение, культурологию и многое другое. Было бы весьма любопытно и поучительно, с точки зрения решения задач образовательной деятельности, создать такую широкую понятийную систему. На деле, однако, определенная дифференциация научных знаний об обществе представляется все же неизбежной.

Научные обществоведческие труды Зиновьева, при всей их внешней логической строгости, очень близки к его социологическим романам и нуждаются в них как существенном дополнении и иллюстрации. Может быть, это способно привлечь внимание современной читающей молодежи к предложенной им новой форме социальной философии, которая соединяет научные идеи и повседневные наблюдения, последовательные рассуждения и грустную иронию или даже сарказм. В многоголосье социально-философских учений прошлого и наших дней работы Зиновьева, отличающиеся не только теоретической глубиной, но и, так сказать, педагогичностью, призваны занять достойное место. Правда, как отмечал И. М. Ильинский, «зиновьевская социологическая концепция пока не востребована ни профессионалами-социологами, ни педагогическим сообществом»[1]. Значительный интерес к ней проявили прежде всего политические деятели преимущественно «левого» направления. В относящихся к ней высказываниях философов заметно соединение уважительного отношения с элементами удивления. Активное включение социально-философских идей Зиновьева в современный социально-философский дискурс пока не наблюдается. Даже в международных чтениях, проходивших в Москве через год после его смерти и посвященных его памяти, некоторые выступления видных ученых и философов излагали их собственные разработки и лишь косвенно затрагивали его учение. Над включением его в содержание социально-гуманитарного образования предстоит еще немало поработать.

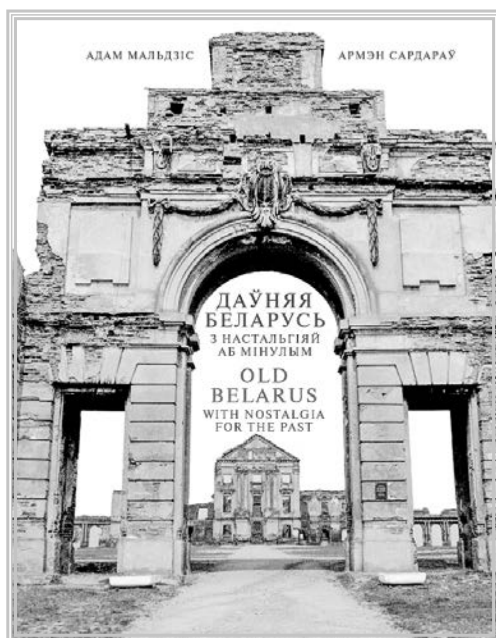
---

[1] Зиновьевские чтения. Материалы I Международной научной конференции. М., 15—16 мая 2007 г. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. — 208 с.



С точки зрения рецензента

Мысли о прошлом



Мы чаще думаем о прошлом, чем о будущем.

И это понятно: о прошлом думать легче, оно реальнее будущего; оно было, его не нужно, напрягаясь, моделировать в сознании; оно обогащает нас уже готовыми формами и образами.

В «реальном» прошлом очень много фантомов и мифов, которые радуют наши национальные чувства, и очень много тяжелого, о котором порой не хочется знать.

И то, и другое, конечно же, имеет свое значение; первое питает романтическое творчество, второе наполняет документальной правдой (а может быть, и документальным вымыслом!) пространство реалистической прозы.

Есть в прошлом и нечто третье, оно находится между мифом и документом, оно одновременно и сказка, и правда.

Думаю, как раз об этой сказочной правде и вели свои беседы писатель Адам Мальдис и архитектор Армен Сардаров; беседы интересные, содержательные, на основе которых и сложилсь красочная книга-альбом «Даўняя Беларусь (З настальгіяй аб мінулым)».

Что узнает читатель из этого издания?

Многое.

А прежде всего получит ответ на извечный вопрос: что это за народ такой — белорусы, и чем он отличается от других народов?

Авторы живописуют, как наши предки жили и работали во время оно, например, во времена королевы Боны, как торговали, что строили, как одевались, что сеяли.

А еще — как выглядели города, местечки, деревни и что, собственно, белорусского и небелорусского было в них?

А также читатель узнает, чем занимались наши крестьяне и жившая рядом шляхта, когда появилось особое сословие — белорусские мещане, представители которого, как известно, были искусными мастерами и торговцами.

Есть глава, посвященная женщине, любви, свадебному обряду.

Ведется также разговор о духовенстве, магнатах и вообще о белорусской элите, о которой в советской школе, не секрет, говорилось мало.

А тема культуры и веры буквально пронизывает это прекрасное издание.

Труд Адама Мальдиса и Армена Сардарова, если так можно сказать, родственен «Земле под белыми крыльями» Владимира Короткевича и напоминает очерковый роман латышского поэта Иманта Зиедониса «Курземите».

И Короткевич, и Зиедонис искали свое, национальное, и не забывали, что свое вырастает из общей почвы…

Дух толерантности и поэзия терпения — вот что свойственно нашему народу, и на это прежде всего обращают внимание читателя авторы «Даўняй Беларусі», как и на то, что их в основном интересуют «мирные» акценты белорусского бытия, начиная с XII и заканчивая XVIII столетием.

А. Сардаров напоминает нам о том, что архитектура белорусских местечек была своеобразной, в центре их нередко находились и костел, и церковь, и синагога, и мечеть.

Да, именно такой (уживчивой!) была давняя Беларусь, и говоря стихами, она:

Усіх сустракала вясёла;
Адзінага славіла Бога;
Жыла між царквой і касцёлам,
Мячэццю і сінагогай…

Кстати, о стихах.

В этом поэтичном по своей сути фолианте звучат строки Янки Купалы и Максима Богдановича, что привносит в повествование лирические ноты.

Да, альбом «Даўняя Беларусь» имеет не только историческое, но и поэтическое звучание; это достойная, интеллигентная и очень нужная книга.

Ее с удовольствием прочтут и школьник, и преподаватель вуза, водитель и банковский работник.

Это издание для всех.

Должен отметить, что редакционно-издательское учреждение «Літаратура і Мастацтва» (ныне — «Издательский дом «Звязда». — **Ред.**) издает нужные (адресные!) книги.

Недавно прочел блестящую работу все того же Адама Иосифовича Мальдиса «Белорусские сокровища за рубежом», вступительное слово к которой написал Павел Якубович.

Все, что в последние годы за подписью Адама Мальдиса появлялось на страницах «Советской Белоруссии», собрано в книгу, которую выпустило в свет издательство «Літаратура і Мастацтва».

И каждый может узнать из этого замечательного сборника, где находятся наши национальные сокровища: в каком зарубежном городе, в какой стране можно увидеть книги Франциска Скорины, слуцкие пояса, письма Наполеона Орды, картины, рукописи, фарфор, мебель — наконец, бесценные музейные экспонаты, собранные в свое время Иваном Луцкевичем.

Необходимо отметить, что Адам Мальдис не только следит за судьбой утраченного, но настаивает на том, что все эти богатства должны быть возвращены нам, и дает некоторые необходимые советы белорусской власти, как правильно действовать в этом направлении…

Слышал я от многих: Мальдис знает все. И поэтому мне всегда хотелось Мальдиса читать, быть на его выступлениях и никогда не хотелось с ним спорить.

Разве поспоришь, например, с его утверждением, что «Устава на валокі» не менее значительна, чем отмена крепостного права или реформы Столыпина? Или с такой его психологической репликой: белорусская толерантность со временем превратилась в равнодушие…

А вот еще его мнение — княгини из Полоцка и Витебска научили своих мужей (литовских князей) старобелорусскому языку!

Все очень логично.

Что подкупает в работах Адама Мальдиса?

Неспешность и обстоятельность, ясность мысли и глубина знаний.

А еще — назову это по-своему — белорусский профессионализм.

Адам Мальдис умеет рассказывать, потому что любит то, о чем говорит.

А говорит он о Беларуси...

Работы его притягательны, ибо насыщены позитивной энергией.

Адам Мальдис говорит просто о сложном, а именно: Беларусь — серд-

цевина Великого Княжества Литовского; Беларусь и тогда уже имела свою государственность, культуру и язык, поэтому годы 1918, 1919 и 1991-й в нашей истории неслучайны…

Соавтор Адама Мальдиса архитектор Армен Сардаров задумал эту книгу и обогатил ее прекрасным иконографическим материалом.

Фотографии А. Сардарова порой напоминают графические листы Рыгора Ситницы — вот стена крестьянской избы, вот русский угол этой же избы, далее старые ставни, окна, покривившаяся дверь…

Все укрупнено, хорошо видно, объемно — каждая щель, трещина, паз.

Благодаря фотографическому воздействию, каждая деталь получает неожиданный, может быть, даже космический смысл.

Армен Сардаров показывает мощь крепостной кладки, геометрию кирпичей, своеобычную гармонию валунов и при этом не скрывает, что на обломках старых архитектурных памятников лежит печать запустения — вот руины Кревского замка, а вот руины Новогрудского…

Фотохудожник напоминает: у нас есть что восстанавливать; конечно же, верит: мы восстановим утраченное.

От себя добавлю, что пример Мирского замка в этом смысле показателен…

Книга «Даўняя Беларусь» — праздннична, она хорошо скомпонована и оформлена, а также имеет нелишнюю англоязычную «подсветку».

Художник Владимир Шолк оформил альбом в свободных, легких, светлых, дышащих тонах.

Такое художественное решение словно говорит: да, наши мысли о прошлом неизбывны, но эти мысли не должны быть печальными.

Думаю, что художник верно угадал чувства и настроение Адама Мальдиса и Армена Сардарова.

Леонид ***ДРАНЬКО-МОЙСЮК***



С точки зрения рецензента

Дорогу молодым

Однако, как же быстро растут наши дети, особенно которые не свои. Так и хочется тут же вспомнить присказку о цветах на чужих подоконниках. Да уж! Стремительно быстро и совершенно неожиданно для постороннего глаза вчерашние тинейджеры превращаются в твоих равноправных собеседников и коллег. Вот и Лера Саротник, точнее, уже Валерия Васильевна, уже совсем взрослая молодая девушка, уже полноправный член Союза писателей Беларуси и все такое прочее.

Кажется, еще вчера милая девчушка-школьница с роскошной косой бегала ко мне на лекции по теории перевода, мечтала о поступлении в иняз, грезила переводами изящной словесности и даже робко пробовала себя на поприще переводчика чужих стихов (еще старшеклассницей опубликовала на страницах журнала «Всемирная литература» подборку собственных переводов Теда Хьюза), а глядь, за спиной у вчерашней школьницы уже диплом о высшем образовании — переводчик худлита. Плюс к этому и собственный худлит успел подсобраться: многочисленные публикации в самых различных периодических изданиях. Плюс два поэтических сборника. Первый, под названием «След дождя», увидел свет в 2012 году в рамках проекта «Минские молодые голоса», который курирует Минское отделение СПБ.

Второй сборник вышел совсем недавно, в 2015 году, в издательстве «Харвест» в серии «Молодая поэзия Беларуси». Красивое название — «Море в конверте», запоминающийся яркий псевдоним — Валерия Радунь. Кстати, и первый сборник тоже вышел под этим же псевдонимом. Что ж, целых два сборника собственных стихов — это ли не повод для серьезного и обстоятельного разговора о творчестве молодой поэтессы?

К тому же, при внимательном прочтении обеих книг сразу же виден явный прогресс по части качества. Выражаясь медицинским языком, положительная динамика налицо.

С динамики, пожалуй, и начну. Искренность и исповедальность — вот то главное, что, как мне кажется, присуще поэтическому миру Валерии Саротник, и то первое, что бросается в глаза и подкупает своей абсолютной естественностью, той натуральностью, в которой нет и тени фальши или притворства. Искренняя исповедальность (объединим два качества в одно) стихов Валерии может многое сказать вдумчивому читателю о характере и даже о внутреннем мире самой поэтессы. Особенно если читатель настроится на ту же поэтическую волну, на которой и писались стихи.

Отрадно, что в своих стихах Лера благополучно избежала слезливой сентиментальности, истеричной надрывности и прочих эмоциональных всплесков, которыми грешат иные молодые барышни, подвизающиеся на ниве поэтического слова. Ведь когда чувства через край, всегда делается немного страшновато за их носителя. Здесь же, напротив, благородная сдержанность, лаконичность, порой даже немного суховатая, и никаких роз, мимоз и прочих хризантем, которые отцвели уж давно. В столь нетипичном для юной девушки эмоциональном минимализме лично я вижу не только хорошее воспитание, которое научило Валерию умению контролировать собственные чувства и держать их в узде, но и первые проявления уже самостоятельного авторского стиля, пусть еще в процессе формирования и своего становления.

Что ж, самое время начинать делиться собственными впечатлениями от прочитанного. Вопреки очевидной логике, начну не с начала, а с конца, с самого последнего стихотворения, давшего название всему сборнику. Итак, о «Море в конверте» по прочтении стихотворения «Мой капитан апрельский ловит сачком мотивы…».

Почти бытовые интонации, нарочито приближенный к разговорной речи неторопливый монолог поэтессы:

Она у себя на даче разводит море —
Совсем ручное, только чуть-чуть
пугливое….

И далее:

Она присылает мне море
в открытом конверте,
У моря нет ни ошейника, ни поводка,
И я очень рада, признаюсь,
но все же пока
Еще не знаю, что мне с ним делать,
поверьте —
Ведь морю тесно
в моей трехлитровой банке,
Оно шумит, и требует минимум — тазик.
И я, украдкой, чтоб ветер его не сглазил,
Несу ему таз из брони от старого танка.

И тут же мгновенная смена настроений, и вместо милых и необременительных бытовых подробностей неожиданно серьезное и даже немного печальное итоговое умозаключение.

Жизнь продолжает течь,
не желая скорбеть и спорить,
И у меня теперь есть ежедневный
личный прибой,
Утлая лодка, Хемингуэй и
«Праздник всегда с тобой».
А мой капитан на даче разводит море.

Согласитесь, смелая метафора. Ведь все мы уже давным-давно привыкли к тому, что на дачах, как правило, разводят клубнику с малиной. На худой конец, огурцы с помидорами. А тут целое море! Неизбитый образ, еще не затасканный и не замусоленный по десяткам других виршей, такой же свежий и непредсказуемый, как и само море.

Закрываю глаза на некоторую корявость отдельных строк (хорошая редакторская правка им совсем не помешала бы!) и возвращаюсь к первым страницам сборника. И снова приятная встреча. Триптих «Ночь». По части явной рассогласованности некоторых строф у меня, как у предельно въедливого читателя, есть свои претензии, но по глубине и даже афористичности мыслей только желание восхититься и тут же процитировать их. Например, вот это:

Ночь учит думать, плакать, искать…

Или вот это:

Ночь, словно бритва Оккама,
Отсекает
Ненужное…

А вот стихотворение, которое так и просится, чтобы его процитировали целиком. Что я с удовольствием и делаю.

Дворняжке

Не надо бить хвостом, не надо плакать,
Есть у меня проверенный ответ —
Пойдем, как будто ты моя собака,
Пойдем, как будто я твой человек.
Пойдем. Как будто мы гуляем вместе.
Пойдем. Как будто палку ловишь ты.
Пойдем. Ведь так гораздо лучше, если
Нам впору выть от общей пустоты.

Интонационно точки, как мне кажется, все же сильно снижают накал чувствований. Да и последние две строки нуждаются в более тщательной шлифовке. Например, лично я категорически отказываюсь понимать, что это такое «общая пустота». Ведь абсолютного вакуума, как известно, не бывает. Но при всех моих претензиях, весьма, впрочем, немногочисленных, считаю стихотворение бесспорной удачей. Оно, в моем восприятии, совсем немного, почти чуть-чуть, недотягивает до известного стихотворения Ивана Бунина «Одиночество», одного из моих самых любимых, финальная строчка которого «Хорошо бы собаку купить…» так больно перекликается с этим многократно повторенным *«Пойдем»*. Но ей же богу! Восклицательный знак лишь усилил бы настроение вселенского одиночества и собственной неприкаянности, которым мучается героиня стихотворения.

А вот с финалом другого стихотворения «На крыши тишины ложится иней» не согласна уже категорически.

И крыльев нет.
Останется — смириться.

Кто бы (или что бы) ни подразумевались под этим «останется», небо ли, собственное ли сердце героини, но строчка очень невразумительна. Почему бы не написать просто так: «И надобно смириться»? Гораздо ведь понятнее делается общий смысл поэтического «мессиджа», как теперь принято выражаться.

Зато уже на следующей странице читателя поджидает приятная неожиданность. Снова целая россыпь неизбитых метафор и образов.

Проснувшись от кисломолочной
Картины этого мира,
Зевнув, потянулась квартира…

«Кисломолочная картина мира», а ведь здорово! Как хороши в своей афористичности и вот эти две строки, уже из другого стихотворения.

Мы живем на планете-странице,
На одной из страниц Книги Книг.

Еще понравился почти сказочный персонаж с забавным прозвищем «Неспать».

Неспать приходит,
садится на самый край
Кровати и курит,
как грустный сапожник.

И вот это стихотворение, которое сразу же легло на душу, хочется процитировать целиком.

Луна
Одна
Над полем льна
Едва видна.
Вольна,
Пьяна.
Допив до дна
Остатки сна,
И острием веретена
Мелькает в нитях полотна,
Что за ночь выткала она.

И еще одна бесспорная удача! Процитирую все четыре строфы, ибо они того стоят.

Щербатый светофор
Висит над перекрестком.
И липовый забор
Построился по росту.
Стоп — красный свет-гранат,
И всюду люди, люди.
Автобусы цитат
И поезда аллюзий.
Трамвая интертекст,
Машины плагиатом.
Из всех подручных средств —
Один листок измятый.
Всего один листок —
Сценарий незавидный.
И лиц чужих поток,
А твоего не видно.

Прочитала стихотворение, бесспорно, очень хорошее, и почему-то вдруг взгрустнулось. Наверное, потому, что сильно постарела, и глаз «замылился», и уже не в состоянии видеть окружающий мир так образно и ярко. И сами собой всплыли в памяти знаменитые строки Юнны Мориц: «Хорошо — быть молодым…» А ведь и действительно, хорошо! Потому что только в молодости пишутся такие строки:

Напрасно ли я
Верю в апрель
И все еще жду?

Да нет, моя девочка, хочется воскликнуть, дочитав до это места. Совсем даже не напрасно верим мы в вечное обновление жизни, которое всегда (лично у меня!) тоже ассоциируется с апрелем. Просто временной запас у каждого разный. И какое счастье, что у тебя, Лера, впереди еще так много апрелей и есть еще уйма времени для всего на свете. В том числе и для того, чтобы писались новые стихи и постоянно оттачивался их уровень. Вопреки твоему пессимистичному заявлению о том, что

…И давно никому не нужны
Безыскусность и простота…

Именно эти составляющие и стали основой твоего будущего творчества. И все же не бойся, хотя бы иногда, давать волю собственным эмоциям. Пусть, опять же, вопреки твоему же собственному признанию «*Я слишком мало говорю и слишком многое глотаю…*», чувства свободно выплескиваются наружу и разливаются широкой полноводной рекой, как это всегда бывает в апреле.

В тот день, когда окончатся слова,
Я выйду просто так на перекресток,
И стану снова вещи называть,
Но только домом — день, а морем —
звезды.
И океаном — полчища машин,
Людей — ростками в золотистом поле.
А ты со мною будь, и запиши,
Чтоб жизнь не называли больше ролью.
Чтоб не играли больше напоказ,
Прилежных и причесанных маньяков.
Ведь каждый день, за разом раз,
Мы забываем о природе знака.

Хорошо! Разве что слово «маньяк» выбивается, на мой взгляд, из общего строя. Речь-то ведь идет о том, что все мы (ну, или почти все) остаемся в душе своей самыми заурядными обывателями. И играем вовсе не в маньяков, а в «приличных людей», таких, как все прочие, или даже еще лучше, чем эти «все прочие». А вот насчет природы знака очень своевременное напоминание. Кому, как не поэту, особенно остро чувствовать и понимать таинственную природу знака, преображающего невзрачные подробности повседневного существования в высокое Слово? Вот уж воистину, Слово — Бог!

А вот еще находка, после которой так и хочется воскликнуть: «Молодец, Лера! Так держать!»

Когда успел ноябрь набрать в корзину
Две горсти звезд и спрятать в темноту?
Зачем теперь он спрашивает зиму:
«Так может, я сегодня не уйду?»

Или вот это!

Давай молчать.
Молчать — не говорить,
Так даже проще.
Так порой слышнее.
Молчи. Молчу.
Давно пожать хочу,
Что в тишине с тобою мы посеем.

Правда, если честно, я бы предпочла другой финал, более драматичный, на мой взгляд, и более логичный, с точки зрения чувствований: «Что в тишине с тобой мы не посеем». Но у поэта, как известно, своя логика, идущая от собственного сердца. Ему и решать.

Ну, а нам, читателям, остается лишь сопереживать поэту, радоваться его удачам и сокрушаться, если таковых нет. А также ловить острым взглядом всяческие мелкие огрехи, которые — увы! — неизбежны в большинстве современных «самиздатовских» книг, когда автор — сам себе режиссер. Ибо обстоятельная и суровая редакторская правка пошла бы сборнику только на пользу. Тогда бы я не «выколупывала» придирчивым оком вот такие занозы.

Потому что за *маской честности*
Этот город боится нас.

Пожалуй, все же «под маской честности» звучит более по-русски. Ведь маску напяливают на лицо и из-под нее смотрят на окружающий мир, а вот прячутся за занавеской, за запертой дверью и тому подобное.

Или вот: *«Зима кругом лохмотьями повисла…»*

По-моему, подчеркнутое слово так и просится, чтобы его заменили на другое, более точное. Например, «вокруг». А слово «кругом» уж больно ассоциируется с военной командой: «Кругом, марш!»

И впиваются «колючими стеклами звезд» все же прямо в сердце, а не *под* сердце, как написано. Понимаю, так надобно было для сохранения размера, но метят всегда в сердце, а вот ноющая боль от сердечных драм, она действительно может быть и под сердцем. И мать дитя свое тоже носит под сердцем.

Впрочем, хватит об ошибках, неточностях, сбитых рифмах и прочее. Ведь по-настоящему творческий, ищущий человек всю свою жизнь, изо дня в день, творит свою собственную работу над ошибками, в том числе и над языковыми. А потому когда такой человек молод, когда он или, как в нашем случае, она еще только-только в самом начале своего долгого и — надеюсь! — успешного творческого пути, то пожелать молодой поэтессе можно только одного.

Так держать, Лера! Вперед и выше! Все выше, и выше, и выше…

Воистину прав Юрий Тынянов, воскликнувший однажды: «Выше голову, ровней дыхание! Жизнь идет, как стихи».

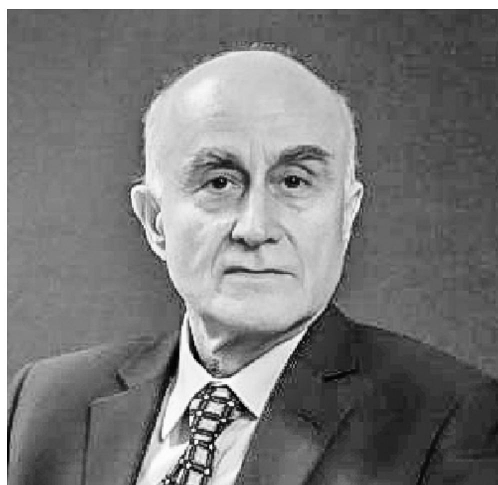
С нетерпением буду ждать появления твоих новых стихов.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Литературное содружество

В почете ли дружба литератур?..

Тема художественного перевода, взаимоотношений национальных литератур сегодня, пожалуй, как никогда актуальна. И об этом мы решили поговорить с представителями разных литератур, разных научных школ из России и других стран Содружества Независимых Государств. Сегодня в гостях у журнала «Нёман» — Казбек Султанов, заведующий отделом литератур народов Российской Федерации и Содружества Независимых Государств Института мировой литературы Российской Академии наук, профессор Московского государственного университета имени М. Ломоносова.



— Казбек Камилович, есть ли, на Ваш взгляд, сегодня связи между литературами постсоветского пространства? Можно ли рассматривать их как целостное явление? Или уже слоган «Дружба народов — дружба литератур» давно не в почете?

— В развенчании «дружбы народов» зашли так далеко, что с водой выплеснули ребенка — саму идею взаимопонимания людей и культур, не сводимую к идеологическому конструкту по причине своей принадлежности к разряду вечных ценностей. В силу назревшей исторической необходимости несложно было списать «дружбу» по графе «коммунистическая утопия», куда труднее оказалось заново открыть сущностный смысл межкультурного диалога.

В современной дискурсивной практике диалог часто выступает в роли культурного трюизма, или как выразился А. Пятигорский, «коммуникационной затычки», но будем держаться исконного смысла, точно представленного в энциклопедии «Культурология. XX век»: «форма речи, разговор, в котором дух целого возникает и прокладывает себе дорогу сквозь различия реплик».

Упомянутые Вами связи сегодня не столь очевидны и поощряемы, как в недавнем советском прошлом, но суть в том, что они принципиально неотменяемы и потребность наших национальных литератур друг в друге — величина постоянная. Сужение коммуникативного пространства, взаимная глухота, маргинализация идеи диалога — все эти атрибуты ранней постсоветскости никого и ничем не обогатили.

Вырываясь из-под советского патернализма, национальная мысль на волне этнокультурного реванша стала утрачивать, с одной стороны, навыки

конструктивной национальной самокритики, с другой — готовность к диалогическому взаимодействию. Кризис идентичности в советскую эпоху плавно перешел в кризис коммуникативности в эпоху постсоветскую. Не обошлось и без взрывного обострения извечных культурных оппозиций «свой — чужой», «мы — они». В начале 90-х годов возникло странное ощущение какой-то ускоряющейся разобщенности… Мы стали спотыкаться на пороге, за которым начинался другой национально-культурный мир, раздражаться при встрече с другой ментальностью — как тут не вспомнить по аналогии то раздражение, которое вызывала горская сакля (дом) у завоевателей: «Глаза нам только сакля колет: / Зачем она стоит у вас, / Не нами данная…» (из поэмы Т. Шевченко «Кавказ»). Активизировались культурные предрассудки и предубеждения, стандарты этнической неприязни по схеме, запечатленной еще Н. Карамзиным в «Письмах русского путешественника»: французы легкомысленные, итальянцы коварные, англичане угрюмые…

Помню подавленного Расула Гамзатова, вернувшегося с шумного и безрезультатного форума, организованного М. Горбачевым с целью примирения армян и азербайджанцев. С каким же трудом далось ему выступление! Давняя дружба со многими азербайджанскими и армянскими писателями не позволяла решительно встать на одну из сторон. Он попытался подняться над схваткой, призвал на помощь общие гуманистические ценности, но так и остался неуслышанным: слишком велики были накал эмоций и взаимная неприязнь, чтобы миротворческий пафос дагестанского поэта достиг своей цели.

В постсоветской борьбе за идентичность межлитературные связи оказались в тени — и как внутрилитературный фактор, и как предмет исследования. Но сегодня лучше понимаешь, что приоритет самобытности и различия не должен подавлять встречное культурное движение как заведомо чуждое и «отменять» то чувство, которое Гете называл «мужеством ощущать себя частью целого», что межкультурный диалог — не благое пожелание, а, если хотите, залог выживания каждой национальной литературы в современном мире.

Не стоит забывать, что принцип «concordia discors» — единство несходного — издавна присутствует в мировой гуманитарной мысли от античности до Гумбольдта, от Платона до Льва Толстого с его «сопрягать надо».

— В таком случае, нужна ли вообще консолидация литературных сил разных народов и стран?

— Не нужна прежде всего та профанация великой идеи консолидации, о которой безошибочно сказал Н. Трубецкой: «“Братство народов”, купленное ценой духовного обезличения всех народов, — гнусный подлог». Но жизненно необходима сама идея, если, конечно, условием диалога становится необезличенность и он реализуется как взаимно обогащающая встреча «особенного» с «особенным» или собеседование идентичностей, обладающих презумпцией равноценности независимо от «длины» исторической родословной.

Консолидация литературных сил внутренне соотносится с представлением о динамической самоидентификации, не только озабоченной поиском культурно-ментальных архетипов, но и небезразличной к Другому и вообще к ситуации «культурного пограничья».

Недавно на страницах журнала «Вопросы философии» я столкнулся с призывом «вернуть Россию в ее исторические границы» и перестать «размазывать в многообразии культур и цивилизаций» свое «Я». Подобная сетка смысловых координат не предусматривает место для консолидации, диалога и тем для более для «участного мышления» (М. Бахтин). При этом автора статьи нисколько, видимо, не смущает то обстоятельство что «изгнание» диалогического принципа и фактора культурного многообразия неминуемо оборачивается для национальной культуры бесперспективым изоляционизмом.

А. Тарковский в стихотворении, посвященном памяти Н. Заболоцкого, написал о «сети пульсирующих жил», а затем в статье о проблемах перевода вновь акцентировал любимую мысль о сетевой, корневой общности разнонациональных художественных усилий: «поэзия разных времен и разных народов пронизана вдоль и поперек особой связью, той сетью нервов, которая придает взаимную жизненность произведениям искусства, хотя давно уже утрачены из виду связи причин, их породивших».

Ощущение этой глубинной «особой связи» и «сети нервов» входит в состав самоактуализации и самоидентификации, хотя адепты популярного ныне этнокультурного подхода (например, в северокавказском литературоведении) предпочитают ставить знак равенства между произведением и всего лишь манифестацией ментальной специфики. Особая межлитературная связь отсылает к качеству неизолированности, к авторскому предвосхищению нового духовного горизонта, побуждающему к трансгрессии, к выходу за привычные пределы, к поиску неизведанных возможностей. Поэтому переживание встречи с другой культурой, обещающей возможное расширение жанрово-стилевого диапазона, — это такой же ресурс самобытности, как и национальная характерность.

Еще одна ссылка на диалектику «локального» и «универсального», если речь идет о природе межлитературной консолидации: каждая литература самодостаточна, но столь же очевидна ее связь с общими основаниями человеческой культуры — неслучайно философы говорят об «универсальном механизме смыслополагания», который реализуется через национально-литературную вариативность.

— А может ли вообще иностранная литература быть важной составляющей в формировании суверенных, независимых ценностных ориентиров, чем озабочены сегодня строители новых государств?

— Характер и интенсивность рецепции «чужой» литературы предопределяют тот или иной историко-культурный контекст. Литература и культурное сознание, например, пушкинской эпохи жадно впитывали творческие импульсы французской литературы, но вряд ли что-то подобное можно сказать об общественной жизни в эпоху «Бесов» и предреволюционных настроений.

Нет смысла говорить о некоей обязательности воздействия, но неизменным был и остается тот факт, что литературное слово существует в системе притяжений — отталкиваний, формирующих спектр ценностных ориентаций. Межкультурная циркуляция идей и художественных новаций, инициированная воздействием «иностранной литературы», — неотчуждаемый фактор национальной литературной практики и становящегося национального самосознания. Те же, которые думают, как писал В. Жирмунский, «возвысить свою родную литературу, утверждая, будто она выросла исключительно на местной национальной почве, тем самым обрекают ее даже не на «блестящую изоляцию», а на провинциальную узость и «самообслуживание».

Но с другой стороны, есть инстинкт самосохранения литературы, призванной отстаивать базовые ценности национального бытия. Особенно сегодня, когда набирает обороты процесс глобальной транскультурации и складывается так называемая «панлитература» — наднациональное дитя глобализации, литература бездомная, обезличенная, общая для всех в том смысле, что базируется на «эксплуатации» стереотипов массовой культуры.

Есть, наконец, чувство границы, по ту сторону которой расположились угроза унификации, логика саморазрушения и дискредитации самого феномена «национального», и следовательно, духовной индивидуальности и суверенности национальной литературы.

В этом контексте вспоминается айтматовский иноходец Гюльсары, который поначалу никого не подпускал к себе. Ему казалось, что он навсегда свободен и другого не дано. Он останется вольным и не позволит себя

оседлать, но однажды волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, но вдруг возмущение и ужас охватили скакуна: сколько он ни бился, петля затягивалась все туже...

— И если усилия переводчиков, тех, кто старается налаживать литературные связи, не бесполезны, необходимы обществу и читателю, то что сегодня надо сделать в первую очередь?

Продолжить упомянутые Вами усилия, исходя из их безусловной необходимости и позитивной ценности. И не уставать на этом пути, сохраняя взаимный интерес вопреки нынешнему торжеству интереса-выгоды, вопреки постмодернистской экспансии ценностного релятивизма. Не будет межкультурного диалога в его разнообразнейших версиях (переводы, контакты, «круглые столы» и т. д.) — получим «войну идентичностей», о которой, кстати, сегодня уже говорят.

Советский мультикультурный проект обанкротился в силу своей идеологической передозировки, но идея активизации нового диалогизма остается насущной: «Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии» напоминает о том, что «пространство между анонимным универсализмом и этноцентричным шовинизмом огромно и открыто» — открыто для межкультурного диалогического взаимодействия.

…Однажды во мне проснулся глубокий, как оказалось, интерес к белорусской литературе благодаря книгам Владимира Семеновича Короткевича и нескольким встречам с ним (он дружил с моим отцом в годы их пребывания на Высших литературных курсах). Прошедшие годы нисколько не ослабили то незабываемое по силе впечатление, которое произвели на меня «Дикая охота короля Стаха», «Седая легенда», «Черный замок Ольшанский». Хорошо помню и стихи Аркадия Кулешова, особенно его московский двухтомник в переводах Я. Хелемского.

Я уже не говорю о Василе Быкове… Выступая недавно с докладом «Литература и война», я затронул проблематику «лейтенантской прозы» советского периода и сразу обратился к слушателям: «Если вы хотите знать, что такое человек на войне, то читайте «Мертвым не больно», «Альпийскую балладу», «Дожить до рассвета», «Сотникова».

Полезно или бесполезно это состоявшееся приобщение к другой литературе, которая навсегда стала близкой? Вопрос риторический…

*Беседовал Алесь **КАРЛЮКЕВИЧ.***



Литературное содружество

Таджикская тема в белорусском Интернет-пространстве

В Беларуси прикладывается много сил и стараний для развития белорусско-таджикских литературных связей. Одним из действенных рычагов в реализации этой работы является Сайт Издательского дома «Звязда». В его электронном пространстве существует портал «Созвучие: литература и публицистика стран СНГ». Отдельная страница — «Литературный Таджикистан». **Адрес в Интернете — sozvuchie.zviazda.by|tags|tadzhikistan.**

Более года сотрудники Интернет-портала «Звязды» при помощи общественных модераторов из Беларуси и Таджикистана наполняют Интернет-страничку «Литературный Таджикистан». За это время выставлено около 40 материалов — как литературно-художественных произведений, так и информационных сообщений.

Представлена и книга «С именем Отчизны» («Созвучие сердец: Беларусь—Таджикистан»), в которой помещены (на русском языке) произведения поэтов и прозаиков Таджикистана и Беларуси. Из таджикских авторов — Абдулхамид Самадов, Мумин Каноат, Лоик Шерали, Кароматулло Мирзо, Гулрухсор Сафи, Гулназар Келди, Мехмон Бахти, Аскар Хаким, Мавджуда Хакимова, Ато Хамдам, Камол Насрулло, Фарзона, Джонибек Акобир, Зульфия Атои, Низом Косим, Мансур Суруш, Сергей Сухоян, Рано Мубориз, Леонид Чигрин.

Отдельно на русском языке помещены проза и поэзия Ато Хамдама, Рахмата Назри, Ато Мирходжаи Неру, Мехмона Бахти и других писателей Таджикистана. Практическая польза такой страницы заключается прежде всего в том, чтобы переводчики из других стран, владеющие русским языком, могли видеть, как развивается современная таджикская литература, что можно в ней выбрать для перевода. Да и литературоведы, литературные критики из других стран смогут познакомиться с современным таджикским литературным процессом.

Конечно, пока что Интернет-страница «Литературный Таджикистан» не выполняет этих задач. Работа по их реализации только начинается. Поэтому белорусская сторона и обращается к таджикским писателям с предложениями о сотрудничестве. «Созвучие» ждет новых произведений писателей, продолжающих традиции великого Рудаки.

Активно сотрудничает с порталом «Созвучие» прозаик из Душанбе — Леонид Чигрин. Через Интернет-страницу «Литературный Таджикистан» читатели всего мира (разумеется, русскоязычные) могут познакомиться с его произведениями — повестями и романами «Власть Соловецкая», «Мятеж», «Гаремная затворница», «Таежный робинзон».

Радует, что на странице «Литературный Таджикистан» помещен и перевод стихотворения Франциска Скорины на таджикский язык. Переводчик — народный поэт Таджикистана Саидали Мамур. Большую помощь в контактах сайта «Созвучие» с таджикскими писателями оказывает добрый друг белорусской литературы Ато Хамдам. Он — частый гость в Беларуси. Благодаря его стараниям в Душанбе увидели свет книги белорусских писателей Алеся Бадака, Миколы Метлицкого, Юрия Сапожкова, Георгия Марчука. А в Минске на белорусском языке издана книга Ато Хамдама и Леонида Чигрина «Подвиг Эмомали Рахмона».

Безусловно, на Интернет-странице «Литературный Таджикистан» должно быть как можно больше материалов, рассказывающих о том, что сегодня происходит в литературе Таджикистана, материалов, показывающих и историю таджикской литературы. Таких, как, к примеру, статья «Будь, как Памир, вершин часовой…» — в которой речь идет об интересе к таджикскому поэтическому слову белорусского поэта и переводчика Сергея Панизника. Но все это требует тесного партнерства белорусской и таджикской сторон, доброго содружества национальных союзов писателей. На что и надеются организаторы и разработчики Интернет-сайта «Созвучие: литература и публицистика стран СНГ».

Кирилл ЛАДУТЬКО

Авторы номера

ЛЕВАНОВИЧ (Леонов) Леонид Киреевич. Родился в 1938 г. в д. Клеевичи Костюковичского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор многих книг прозы и публицистики. Лауреат Литературной премии им. Ивана Мележа и премии Федерации профсоюзов Беларуси. Живет в деревне Петрилово Вилейского района Минской области.

МАКАРЕВИЧ Василий Степанович. Родился в 1939 г. в д. Купленка Крупского района Минской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, критик, публицист. Автор многих книг поэзии. Лауреат Литературной премии им. А. Кулешова. Живет в Минске.

БЕККЕР Юлия Валерьевна. Родилась в 1974 г. на станции Домна Читинского района Читинской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. С 2012 года ведет блог. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич. Родился в 1948 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств и Академии поэзии (Москва). Лауреат нескольких международных литературных премий. Живет в Минске.

СИЛЕЦКИЙ Александр Валентинович. Родился в 1947 г. в Москве. Окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Москва). Автор шести книг, а также около сотни рассказов, опубликованных в различных сборниках и журналах. Лауреат нескольких международных конкурсов на лучший фантастический рассказ. Живет в Минске.

АНТИПИН Андрей Александрович. Родился в 1984 г. в с. Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Москва», «Юность». Автор книг прозы «Капли марта», «Житейная история». Лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш современник». Живет в Иркутской области.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна. Родилась в Москве. Окончила Московский институт аналитической психологии и психоанализа, Институт психотерапии и клинической психологии и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Прозаик. Публиковалась в журналах «Парус», «Наш современник» и др. Лауреат V Международного форума славянских литератур «Золотой Витязь», молодежной премии журнала «Наш современник». Живет в Москве.

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич. Родился в 1985 г. в г. Салават (Республика Башкортостан). Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Ведет авторскую рубрику «Дневник читателя» на сайте «Росписатель». Печатался в журнале «Новый мир», в сборниках «Шесть часов вечера каждый вторник» и «Новые писатели». Победитель III Литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют». Живет в Москве.

КИСЕЛЕВ Сергей Андреевич. Родился в 1950 г. в Вологодской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру при Белорусском государственном университете. Кандидат филологических наук, доцент. Автор поэтических сборников «Дорога домой», «Родник», «Светлый вечер», «Одинокий путь», «Осенние цветы». Умер в 2014 г.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже. Совместно с **Оленкой де Веер,** французской писательницей и астрологом, написаны два романа — «Девушки и единорог» и «Дни мира». Позже Оленка де Веер написала третью часть этой трилогии — «Третий единорог».